# КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1926

КНИГА
ОДИННАДЦАТАЯ
НОЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

# КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 11

НОЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД


1-я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА — ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит 69930
Гиз 17076. Тираж 9.500.

## Разин Степан.

Роман.

*(Продолжение).*

**А. Чапыгин.**

### XXIV. Заговорщики.

В шатре атамана светел огонь — свечи на сундуках мотаются, гда хмельные широкие, грузные гости двигаются на коврах, настлан- х по всему шатру. Князь Семен Львов сидит рядом с атаманом, справа кмаз, поодаль Мишка Черноусенко, приземистый Яранец и Федька лудяк, молодой, бойкий, с яркими глазами, с лицом, покрытым на ках и подбородке сухим паршем. Старик Вологжанин в новом дареном тане из синей камки помогает наливать вино в чаши атаманскому начею Федьке Самарскому. Федька обносит гостей чашами:

— Скоро будем в гости к твоей суженой, Федор, скоро, — говорит нарцу атаман.

— Ой, не забили б ее к тому времю, батько!

— Не забьют... Возьмем Астрахань, а там приглядишь кого — боярыне оженю.

— Очень уж я люблю Настю, батько!

Хмельной воевода, отряхивая привычно курчавую, рыжеватую бороду ой рукой, другой, с чашей, раньше чем пить, чокаясь с атаманом, сказал:

— Не иди-ко ты, Степан Тимофеевич, на город! Пожди к себе и твоим м царской милости, да пожди в обрат посланных в Москву — отдаст ь вины ваши и незачем будет внове зачинать погром... Скажу тебе, и зачнешь — крепко стоять придетца: есть у воевод московских обу- ное по-иноземному войско и пушки уж не те, лучшие, а кое ваше во- женье? — лук — стрела, топор да нож...

— Что есть, князь Семен! Наша сила в дружбе братцкой — мы и на- ом возьмем, коли не раскочимся кто куда.

— Ой, худо навалом противу выучки! Пожди, Степан, сказываю, царя своих соколов.

— И то ждал до сей поры я, князь Семен, да вот послушай, как ра чествуют моих послов — гей, Лазарь!

Из дальнего угла встал, шагнул к атаману высокий смуглый в к
зацком жупане.

— Скажи, есаул, всем и князю, как вы шли царю бить головамі

— Шли вот! — тряхнул черной бородой, склоняя вперед голоı
есаул, — конно мы сошли на Москву... И как положено, ведаю я, послоı
станишников на двор ставят, от царя им корм и питье даетца до порı
пока не позовут на стрету.

— А с вами как?

— Нас же стретили дьяки, да кои бояра — имен не ведаю. Как сошл
мы с коней, всех взяли стрельцы и повели на земский двор... Ведомо
что на земский двор водят не послов, а за губные делы... Познав такое
в дороге сшел я от караула... Един день ютился по заставам, да сред
всяких людей по кабакам и послышал, что наших, окромя Лазунки, о
тоже сшел со мной, — в тюрьму свели заковав, а я угнал сюда... Хре
щусь, — что поведал здесь, то необлыжно! — Есаул отошел.

— Пьем, князь Семен! Боле тебе о царевой чести к моим посла
сказывать нече...

— Экой народ! Бояре от страху свою злобу чинят... пожог на Руси
сами кличут... — покачал головой князь, выпил и добавил: — а н
Степан Тимофеевич, пью еще на дорогу и иду...

— Эй, наливай, виночерпий!

— Знаю, атаман, будут тут меж вами говоры об Астрахани по
ступах, так видом своим чтоб не чинить помехи...

— А давай еще, князь Семен, опрокинем по чарапухе доброй
Быть же тебе среди нас не прещу — не доводчик ты.

Выпив, князь встал, поклонился. Разин сказал, как бы вспомни

— Гей, князь Семен! Будешь ли стоять против нас за город?

Воевода, в дверном разрезе шатра мутнея в красном кафтане, ответи

— Идешь на город, Степан Тимофеевич, сам ведаешь, врагов счита
не надо... Я же подумаю как быть.

— Добро! иди думай, да скажи Прозоровскому: «закинь город кр
пить! город казацкой и мы его поделим на сотни».

Из сумрака за шатром Львов проговорил:

— С тобой, атаман, говорить лекко, лежит к тебе сердце! — с Пр
зоровским мой язык нем...

— Соколы! когда возьмем город, рухледь княжую Семена бере
и его не убить.

— Ведаем, батько, князь Семена не тронем!

Разин встал, и есаулы тоже. Всем налили ковши водки, атаман по
нял свой ковш над головой:

— Бояра крест целуют, когда клянутца, мы же будем клятву де
жать, приложась к ковшу!

— Да здравит атаман!

— Перед боем созвал я вас, браты, на беседу, а докучать буду оди

— Слушим!

— Сполним, атаман!

— Всяк из вас, есаулы, атаманы молодцы — соколы вольные, но от, кто служит мне — кинь до поры волю! дай волю мне... Ране сего не нимал я воли со своих есаулов — то было в Кизылбашах клятущих... Не сняв с есаулов воли, утерял богатырей, — так клянитесь, что воля аша есть моя.

— Клянемся, Степан Тимофеевич!

— Клянемся, батько!

— Клянемся хоть помереть с тобой!

— Добро. Гей, бахарь, пей и ты, дид, с нами да играй!

— Чую, батюшко, а где мой ковшик? от дело старое, не удалое...

— Ха! какой же ты виночерпий — иным наливал и ковш утерял? пей оли из сапога да вместе.

— Пошто, бог храни, бахилой пить? ево он неладной — нашел!

Выпив расселись вновь, старик забренчал домрой в углу за сундуами. Его худо было слышно, да и не слушали в говоре хмельном и выриках.

— Чикмаз!

— Тут, батько!

— Пьем! Яранец, Федько Шелудяк! Пей, Лазарь; и ты, Черносенко, не отстань! А где Красулин?

— Пока что у приказа дозор ведет!

— Чикмаз! завтре же заваривай дело со стрельцы.. Медлить буде. Іослы мои в тюрьме у царя.

— Зачнем! Перво жалованное от воеводы стребуем.

— Дуже! Я же стану заводить струги в Балду реку — опас, что, рознав замыслы наши, на дали будут нас бить из картаульных пушек, ак ближе двинемся...

— Тут тебе, батько, где ближе к городу, Курятников укажет!

Вологжанин подпевал, тренькая домрой:

А князь Митрея нынече нет во дому.
Он уехал во славны во городы,
За заморскими купли товарами.
Ты пойдем, Фалилеевна, пир пировать,
Во столы столовать!

Полы шатра колыхнулись, из темноты, смело шагнув, вынырнула оренастая фигура казака с глубоким шрамом на лбу. Разин вскинул а казака хмельные, злые глаза.

— Тебя, куркуль, кто позвал на пир к атаману?!

— Мимо тебя некуда мне, батько! через кумыков по горам с Дона шел...

— Как козел лазишь по горам, то мне ведомо — пошто самовольтвом бег из Персии?

Казак не ответил, его взгляд скользнул по богатырской фигуре стрельа, глаза сверкнули радостью, двинувшись он тронул стрельца за плечо.

— Чикмаз! друг, здорово ли живешь? — и попятился от угрюмог взгляда приятеля.

Чикмаз, поглаживая сивую бороду, неохотно ответил:

— Живу не тужа — старого не хуже!

Атаман грузно поднялся, взвякнула, сверкнув золотой цепью сабля.

— Говорю тебе я, пес! ты же с речью к иному липнешь. Пошт самовольством сшел?

— Воли своей, батько, я никому не отдаю! сшел, было так надо мне. ныне пришел служить — шли меня в огонь, в воду, пойду не жмаря очи

— Мы все здесь вольные, но кто служит мне, — о воле молчит.

Казак еще отступил, нахмурил упрямый со шрамом лоб, бодну головой в рыжей шапке, повторил:

— Служу, коли хочу — не хочу, уйду! не продаю волю...

Разин скрипнул зубами.

— Сатана-а!

Ударил тяжелой рукой в упрямое лицо, казак завертелся на месте стукнув затылком в упору шатра, отскочил, упал ничком и, быстро сдер нув шапку, поднялся, зажал рот, капала кровь. Атаман сел:

— Еще раз на глаза падешь — убью!

Казак, сплюнув кровью, пятясь, исчез неслышно.

Вологжанин наигрывал, подпевая:

Экий чорт у вас были ни плотнички.
Водяной, молодцы, не работнички,
Не просекли окошечка малого,
Штобы мне младой выскочити,
Фалилеевне вырыснути-и...

Разин тряхнул головой.

— Гей, Федько! наливай. Завтре, соколы, ближьтесь к делу.

— Зачнем, атаман!

— И как ты подведешь струги к стенам, да гуляй-городы поста вишь, мы тогда в набат ударим — знак, чтоб козаки лезли на стены, наш их тогда примут, пока что начальников со стен уберут!

— Добро, Чикмаз! А ну — пьем! гой, дид! играй плясовую, над душу стряхнуть.

Я за князя Митрея замуж нейду!
На косого косолапого глядеть не могу!

— Чую, ба-а-ть! вишь пропащая струна лгет?..

Старик начал снова настраивать домру.

* * *

В сумраке широкой палатки, в малиновой шелковой рубахе бе пояса, большой человек лежал на ковре. Над его головой с треском горел на табурете, крытом камкой, сальная свеча. Казак, плюясь кровью

вошел в палатку, сгибаясь у входа. Васька Ус, не подымая головы от ковра, сказал:

— Еще коли скажите атаману: пущай без меня пирует! на Астрахань же иду как все, не отстану шагом.

— Лавреич, это я, Шпынь!

Ус повернул хмурое, бледное лицо, махнул рукой:

— Меня тут, Хфедор, все к атаману на пир зовут, мне же не до пира... Сядь ближе! Кто-те лицо смазал? Удал вишь, а напоролся!

— Ты не был, я же был на пиру у атамана! ен приветил.

— Хо, ладно умыл! Утеретца пошто не дал?

— Кабы саблей? — ладно.. Долонью в рожу, от вольного человека за то худой ответ!

— Ты чуток ли ухом?

— По ухам не били, да в рожу нынь лишь невзначай имал, зато сам много бил!

— Задуй свечу! мне неохота себя шевелить с места, огонь трешшит. Без света мене виду — будто сплю. Придут, притаишься... говор и в хмаре учуем.

Шпынь загасил огонь. В темноте голос Васьки Уса приказал:

— Сядь к голове, ближе — чуй!

— Тут я...

— Как в былое время, Хфедор, идешь ли со мной?

— Иду, Лавреич! хоть на смерть.

— Дуже гарно, хлопец! знать судьба вместе нам быть?.. Я задумал против Разина итти... Ты слушь, много ушей кругом, чтоб кто?

— Говори! чую всякой скорох.

— Пошто на него мое сердце разожглось — скажу иной раз... Так вот — будем мы с тобой по тихому к ему прибиратца до головы вплоть... Эх, не далась любовь, — давай Москва почесть!

— Сказывай, Лавреич!

— Нынче Астрахани быть под Разиным, воевода же Астраханской, проведал я, гонца в Москву налаживает, стрельца какого-то с грамотой: «что-де Астрахани конец»! Тебе перво делать так: возьми у меня сухарей в дорогу, денег, коли надо заправ — свинцу, пороху и гони в Москву! Степями не мочно — сам знаешь — татарва режется; берегом рек — везде засеки Разински... поедешь в Тарки. В дороге, — путь гончего воеводина тот же, пристань к ему... сам он тебе рад будет — горы не пройти незнаему без вожа, а ты того гончего в пути кончи... воеводину грамоту подери и будешь от меня первой доводчик царю. На Москву станешь, иди в разбойной приказ к боярину Пушкину, он у царя свой... иным боярам не сказывай слова, Пушкину обскажи, «что Астрахань, Черной Яр, Царицын под Разиным». Самару-де, Саратов взять ничего стоит... Обещай Пушкину, а коль припустят и самому царю от меня, что голову Разина я им пришлю на Москву с тобой же, но со сговором, чтобы царь меня и тебя не обделил

честью, да прощением прежних убойных дел... Знаю, они на радостях, избыв крамолу, дадут много!

— Чего ждать, Лавреич? За обиду свою, бой по роже и грозу на меня в Яйке, где чуть не посек — я атамана хоть сею ночью кончу!

— Тихо говори... и чуй, нет ли кого?

— Чую... нет!

— Одно время с Дону шел царю служить, старшина послала на крымцев... хмельной я был, подговорил робят, что поудалее, и два села путем спалил, разграбил... Девок, баб изнасилили, скотину угнали, продали татарам, а после дела стал думать, как хоронить концы? и наскакал я дорогой той зимовую станицу, шла в Москву... к ей пристал, да у царя из рук отрез доброй сукна имал на жупан... и здесь — ты слушай... Извороты знаю — уйдет Разин, меня оставляет атаманить Астраханью, бояра народ затейной, а ну как им наша послуга не подойдет? Гляди, найдутца воеводы самолично имать Разина? Нас же сочтут ворами... тогда, покуда они рать сбивают, я с Хопра, да Медведицы, с Украины тож, запорожцев кликну — соберетца сила и отсижусь с тобой в городе. Астрахань пушками, стенами крепка, хлеба много, запасы есть, и буду я князем Астраханским! А не сойдет, тогда поторгуемся с бояра, дать нам честь... самое худое — в горы уйдем к кумыкам...

— То можно, Лавреич! Все же убить атамана сердце горит.

— Ждать надо! Убьем — воевода останетца в Астрахани... доведет боярам — царю: «Вор-де вора убил, да еще почести хочет! заедино, мол, и этих извести в тюрьме, аль того хуже... Бояра народ верткой — слово скажут одно, да на другое поворотят.

— Вот тут ты правду молышь!

— Да еще — Разин завсе укрыт своими... на него все едино, что молятца, меня же он, знаю, насетца... обиду мою ведает... убьем, нас свои же на огне испекут, потому больше убить его — людей нет, ты и я.

— То вижу правда!

— Ежели вразумился, делай, Хфедор, как умыслю я... большего не хоти. Где конь?

— Мой конь на усторонье в покинутой татарской сакле спит!

— Не замаян много?

— Аргамак — золото! легок и корму несет мало, сам же — едино что стекляной, налитой...

— Хоронись и жди на учуге день, два. Вот ужо... — Васька Ус закряхтел, шаря под ковром рукой. Нащупав пальцы Шпыня, сунул ему малую кису.

— Деньги! Справ кой надо?

— Боевой справ в достатке. Сухари есть? — дай!

— Есть — зайдешь иной ночью, дам!

— А, ну! руку, Лавреич, и прости.

— Рука моя вот! знаешь меня?

— И ты меня знаешь: укажи, — не жмаря очей, справлю бой ли, пожог, все едино.

— Верь, Хфедор! с кем я верток так и сяк — с тобой же обчая дорога, без омману и лжи.

— Верю, Лавреич!

Из серой палатки черная тень человека легко скользнула в темноту; застыла, прислушиваясь к звукам кругом; но было тихо — лишь смутно шумели волны реки недалеко, да из шатра атамана слышались голоса и песни.

— Мне путь один, атаман! никого не боюсь, а ты знать будешь Федьку Шпыня... — прошептал черный, шагнув.

## XXV. В Астрахани.

На покосившемся с бревенчатыми перилами крыльце стрелецкого приказа хмурый от солнца стоял Чикмаз в красном кафтане с коротким топором в руке. По кафтану — синий кушак, за ним два пистолета, шапка сунута за пазуху. Из распахнутого зева широких приказных дверей несет вонью казармы — потом, навозом деревянных заходов и дымом табаку. Мимо Чикмаза по большому крыльцу топали ноги стрельцов; стрельцы, выходя на двор, не строились, как обычно, толпились кучами, кто где, и вопросительно взглядывали на решительную фигуру Чикмаза. Стрельцы чего-то ждали. В глубине сумрачных сеней под грузным телом затрещали ступени лестницы. Из дьяческих горниц, что устроены вверху казармы, сошел в сени рослый голова в белом полтевском кафтане, по кафтану поперек груди желтые боярские нашивки-галуны с ворворками (шариками), кистями и петлями. Голова, переваливаясь, шагнул на крыльцо, гордо покосился, сказал Чикмазу:

— Ты что — палач на помосте? Чего стал тут? Ведомо, что тебе, да Шелудяку Федьке воеводой заказано быть в городе...

Чикмаз, кинув взгляд на спину начальника, молчал.

Голова крикнул стрельцам:

— Мать вашу сапогом в брюхо! Чего путаетесь? Воров наслушались? берегись!

Крыльцо — три ступени вниз; у нижней стоят два стрельца в голубых кафтанах, курят.

— Сторонись, псы! дорогу дай.

— Кто-те поперег? — шагай!

— Немедля занимай караулы! ма-а...—начальник, матерясь, шагнул с верхней ступени. На солнце сверкнул топор. Голова начальника с открытым ртом, соскользнув, как и не была на плечах, завертелась, пачкая кровью плечо ближнего к ступеням стрельца, качнулась и упала на белый песок. Сплюнув на голову начальника, стрелец, пряча трубку, сказал:

— Стряпает Чикмаз! как блин башка глезнула.

Он подвинулся от крыльца, на сапоги ему, ползя по ступеням, пачкало кровью тело начальника.

Чикмаз повернулся лицом в сени.

— Гей, стрельцы! Я начал, кончайте брюхатых!

Из глубины приказа десятки голосов ответили:

— Чуем!

— Чикмаз — слышим!

— Бра-а-а-ты, с вами мы!

— Гой, братья! кто с нами, тех не тронь.

— Ла-а-дно-о!

Чикмаз, повернувшись к стрельцам, воткнул в бревно перил топор, высекая огня закурить, смахнул с правой руки кровь, приказал:

— Руби, браты, поперешный острог, едини дворы, бревна жги!

Пылили сапоги белым песком, десятки рук топорами валили тын, отделявший другой двор. Бревна волокли на середину двора, подрубив зажигали. Стоя на прежнем месте, дымя трубкой, Чикмаз громко проговорил:

— На эстих огнях поперечников наших спекем!

За поваленным тыном открылся обширный двор, на нем тоже толпились стрельцы. Так же, как Чикмаз, на крыльце казармы стояли двое: неуклюже широкий в плечах толстоголовый Курятников и тонкий в синем жупане рядом с ним Лебедев черноусый. Лебедев резким голосом кричал звонко:

— Гей, браты! Кабаки, что припечатал воевода — разбить.

Курятников, покашливая в руку, изредка махал отточенным бердышем, басил:

— Перво добыть водку — пить!

— В кремль! пущай воевода жалованье даст.

— За два года! пущай даст.

— То надо-о!

— Кабаки перво, эх!

— Водку добыть — пить!

— Преже с сотниками расправ!

— Браты! мы ж с вами-и? из стрельцов мы...

— Едино все: спустим, — к воеводе шатнете?

— С вами идем!

— Вали тын — жги-и!

На всех дворах, свободных от поперечного тына, зажглись костры

— С клопами да дьяками — пали съезжие избы!

— Не трожь построя! — где Красулин?

— Красулин с Олешкой, каторжным казаком, дальные громят!

— Дьяки сбегли — съезжие для расправу нам гожи.

— Добро, Чикмаз, — чуем!

— Ай-да, к кабакам!

— Стойте ище-е, чуйте!

Застучали копыта лошадей — в пыльном тумане двигалась конница, впереди ее все шире и ярче белел поблескивая колонтарь воеводы. Воевода с черкесами в пятьдесят и больше человек осадил перед приказом лошадей. На пыльной площади лошади фыркали, звенело оружие. Воевода в мисюрском шлеме, на кауром бахмате, украшенном золоченой сбруей с кистями, на коне—черкесский чалдар с седлом в жемчугах.

— Бой, што ли? — кладу пищаль к глазу.

— Стой, не стрели! — говорить ладит.

Воевода, гнусавя, громко заговорил:

— Служилые! Пошто воруете против великого государя? Что потребно вам?

— Жалованье!

— Пошто давно не даешь?!

— Сами наги, семьи с голоду мрут!

— Вишь мы в улядях — опорках, ты в чедыгах и жемчугах.

— Седни же выдам деньги! Уймитесь, идите в приказ...

— Отпирай кабаки!

— Водку добыть пить!

— В кабаках, служилые, много смятенья, воровской люд подметные письма чтет, хулит государя! Народ к бунту тягают воры.

— Спусти сидельцев из тюрем, да попа Троицкого!

— Пошто имал дворового князь Львова?!

— Дворовой дан на двор князю Семену. Поп Троицкой в монастыре.

— Сказывают, поп в тюрьму кинут?

— Кляп ему в рот забили, да уздой вознуздали-и!

— Поп ладной — дай попа!

— Тот поп воровской, служилые!

— Татарских мурз аманатов [1]) спущай!

— Стрельцов, сидельцов раскую! Аманаты не моей воли — то от великого государя.

— Спусти мурз! Таборы их ушли — пошто держишь?

— С нами не тебе говорить, воевода, — ты нам не начальник.

— Говорю с вами, что голов вы посекли по-разбойному, я выше голов!

— Посекли не всех!

— Стрельцов из тюрем пущу, жалованье дам — утихомирьтесь!

— Троицкого попа дай!

— Мурз татарских спусти!

— Водку дам! Не чините пожога, не мятитесь...

— Водку добыть! Эх, пить будем, браты-ы.

Воевода с черкесами повернули коней, уехали. Отъезжая в кремль, воевода приказал запереть город и по площадям послать бирючей. По всем площадям Астраханским пошли бирючи с литаврами. Народ спешил на

[1]) Заложников.

площади узнать, что приказывает воевода. Бирючи, ударив в литавры, кричали:

— Гей, астраханцы! Все те, кто поклонен великому государю Алексею Михайловичу всея Русии, да идет тот на воеводский двор в кремль.

Чередуясь с первым, кричал второй бирюч:

— Астраханцы! киньте домы и дела, идите, не мешкав мало, в кремль, призывают вас преосвященнейший митрополит Иосиф, Астраханский и Терский, да князь Иван Семенович воевода для ради крестного целования...

Толпы горожан с площадей шли Воскресенскими воротами в кремль. Войдя в кремль, толпа за толпой приворачивали, теснясь к часовне Троицкого монастыря, что у ворот рубленная, обширная, в шесть углов. Часовня не вмещала всех, но кто попал туда, тот спешно прикладывался к образам, зажигал купленную тут же свечу. Угрюмые лики святых бесстрастно глядели на мятущихся людей. Многие каялись вслух иконам и выходили. У выхода всех крестил никонианским крестом монах, большой и хмурый, как древние образа. На обширном дворе воеводы люди ждали. Жужжали голоса. Тут были среди горожан дети боярские, жильцы дворяне и капитаны немцы, стрельцы же, лишь которые остались верны присяге. Кроме большого дома воеводы, гостеприимного для иностранцев, сплошные рундуки с балясами [1]), лестницы снаружи из верхних палат на точеных столбах. Лестницы крыты тесом и жестью.

— Сходят?

— Что-то заговорят!

На нижнее крыльцо сошли митрополит с крестом в золотом саккосе. Митрополита вели под руки два священника, один из них поддерживал золотой крест. За митрополитом воевода в посеребренном колонтаре в шлеме и при мече. Когда сошли чины на открытое широкое крыльцо — горожане, кроме иностранцев капитанов, поклонились в землю.

— Саккос на преосвященном, дареной патриархами!

— Какими?

— Антиохийским, да...

— Чуйте, говорит что?!

Упершись на посох, сверкая на трясущейся голове митрой, усеянной венисами [2]) и лалами, митрополит говорил неторопливо и тихо, передав священнику тяжелый крест:

— О, людие православные! Великая беда, смятение идут на город наш. Стрельцы убили начальствующего ими голову Кошкина Ивана и иных слуг, верных великому государю, всех начальников... чают к бунту. Вас же, верные сыны горожане, и стрельцы, и капитаны, молю аз грешный раб Христов крепко стоять за дом пречистыя богоматери... Не убойтесь на этом свете подвига, кто же примет кончину безвременную, постояв за

[1]) Балконы.

[2]) Венис — драгоц. камень гранат.

святыни, а паче власти государевы, того взыщет господь в царствии небесном милостию...

— Будем, отец наш, стоять за город!

Замолчал Иосиф митрополит, заговорил воевода:

— Горожане! Капитаны, стрельцы! Ведомо вам уже давно, что круг города мятутца толпы казаков и беглых холопей Стеньки Разина, богоотступника! Сей воровской атаман попрал милости, прощение великого государя, его посланные уже есть ко мне, требуют сдать город! Его крамола сказалась седни — стрельцы избили смертно начальников, самовластно разбили царевы кабаки, пьянствуют и бунтуют. Ими послышано, что недально время, как увидим мы воров под стенами Астрахани с таранами и лестницами! Вас я молю вместе с преосвященнейшим Иосифом, отцом нашим, готовиться к защите! ладьте на стены котлы, смолу и что потребно огню! носите в башни камни и воду — стойте крепко за дом пречистыя богородицы! Я же исполню все, что в силах моих — выдам стрельцам жалованье и ждать буду, что они уймутца... Я исполнил их требованное только что — спустил тюремных сидельцев, не спустил лишь двоих: воровского попа Троицкой церкви и беглого холопа Семена князь Львова, кой мною повешен...

— Будем стоять крепко!

— Будем мы биться с ворами!

— Старайтесь! Он ужо, как тихо зачнет — сожмет поборами...

— Ту-у, молчи!

— Я не бунтую, а говорить нынче можно.

— Людие православные! Целуйте крест святой, что будете стоять за город...

Горожане расходились, по городу шли караулы, направляясь к главным воротам Астрахани. В часовне Троицы монахи готовились служить всенощную. Монастырский двор обширный с тыном, обросшим виноградниками — широкие ворота его всегда были открыты. Иные из горожан, особенно женщины, расположились близ часовни, ждали службы. В темноте город жужжал и жил. Недалеко от Вознесенских ворот, близ Спасо-Преображенского монастыря стрельцы из кабака выкатили бочки с водкой, пили на улице и, чтоб было светло, деревянный большойострой кабака зажгли. Горожане мимоходом из кремля пробовали тушить пожар, стрельцы отгоняли горожан:

— С пожогом нам веселее!

— Близ едина лишь стена монастырска, каменна!

— Город не пожжем, пейте с нами!

Многие из горожан приставали к стрельцам и пили.

* * *

Прясла кружечного двора горели огнями факелов, как черные свечи воткнуты факелы меж жердей — на пряслах стены. Целовальники, опасаясь побоев, сбежали, кинув двор на хозяйничанье стрельцов. В питей-

ной избе, за стойкой вели счет в свой карман «напойные деньги» — стрельцы. В огнях факелов по стенам и прилепленных к стойке сальных свечей скакали скоморохи с настоящими медведями и ряжеными козами. За длинным питейным столом появились среди стрелецких шапок бархатные, красные, с кистями сынков Разина. На столе зажелтели подметные листы: никто не читал их кроме переодетых воеводиных сыщиков. Сыщики подбирали осторожно письма, говорили меж собой:

— Рукописанье Митьки подьячего!

— Вор окаянной!

— Чуй, что бархатная шапка блудословит?

Бархатные шапки кричали похабные слова про воеводу, восхваляли богатство, щедрость и славу боевую грозного атамана: «как он, батько, плавает по синю-морю на кошме чудодейной и на ней же по небу летает».

— А, ждите! Седни в Астрахань залетит весь огняной.

* * *

Дозор по городу вел и понуждал горожан, кои не шли в работу к стенам, князь Михаил Семенович с конницей в черных бурках. Князь Михаил ездил с факелом в руке, с обнаженной саблей в другой, черкесы с фонарями, притороченными к луке седла и чтоб не гасли свечи, ехали шагом. Черный воздух был недвижим и тепел. Князь заскáкивал на черном коне вперед, бороздя сумрак мутным отблеском факела, панцыря и посеребренного шлема с еловцем [1]). Горожане, подвластные воеводе, таскали и возили к стенным башням воду, котлы и камни. Черный город, шлыкообразный вверху, по низу серел, то мутно белел в бродячих огнях. На стенах города зажглись костры, освещая рыжие башни и полуторасаженные зубцы стен. Под командой матерого, конного стрелецкого десятника с широким безволосым, безбровым лицом, Фрола Дуры, по городу кроме князя Михаила ездили конные стрельцы; от кабаков и с кружечного пьяные стрельцы шли в кремль. Воевода еще не запер ворота кремля, ждал с донесением нужных людей и сыщиков. Сойдясь на дворе воеводы, стрельцы кричали:

— Закинь, воевода, город крепить!

— Подай жалованье!

Прозоровский в колонтаре, сложив мисюрский шлем на синюю с узорами скатерть стола, сидел на совете в горнице. Против него за столом древний митрополит. Саккос и митра лежали, отсвечивая радугой драгоценных камней в огнях от свечей, на скамье в углу горницы. Поглаживая черную ряску с нагрудным крестом левой, правой рукой старик, привычно в крест сложив пальцы, двигал неторопливо по камкосиной скатерти, говорил, топыря на воеводу клочки седых бровей, тряся полысевшей головой:

---

[1]) Шпиль шлема, иногда с флажком.

— Ох, сыне! Давно надо было укрепить город... Ныне же нужное время, много нужное! Мятутца люди — чуешь, как ломят дом твой?

— Я, отец святый, ко всему худчему уготовлен.

— А паства, сыне? Твоя паства воинская, моя же — всечеловеческая... ту и иную мы распустили, яко негодные пастыри.

— Не иму вины в том, отче! В стрельцах не волен был — боярами да великим государем, не мне одному, всем воеводам указано — «порядков стрелецких чтоб не ведать»...

— А, худо сие! Воински делы правь, да воинскую силу не ведай... како так?

— Такова воля великого государя! Теи делы сданы головам, да пятидесятникам и иным — гей, подкрепитца нам дайте! — встав и подойдя к дверям горницы, приказал воевода: — еще прибавить огню!

Тихо, почти неслышно на зов князя вошла с поклонами воеводша, внесла на серебряном подносе хмельной мед, коврижки, виноград и белый хлеб. За хозяйкой также чуть слышно двигались две девицы черноволосые в нанковых сарафанах с повязками цветной тесьмы по головам. Поставили на стол два трехсвещника, зажгли свечи.

— Того жду, господин мой Иван Семенович!

Воеводша в зеленом атласном шушуне [1], в кике, по алому бархату золотые переперы (решетки), приложила бледное лицо к желтой руке повыше кисти, сказала чуть слышно:

— Благослови, преосвященнейший владыко, грешную...

Митрополит не взглянул на боярыню, он считал грехом останавливать глаза на женщинах, перекрестил перед ее грудью воздух и в сторону уходивших девушек перекрестил также. Воеводша поклонилась мужу, сказала:

— Господин мой, князь Иван Семенович! Слышишь ли? Стрельцы гораздо хмельны и огняны с факелами, лезут, шумны — имя твое поносят, ломят двери, жалованье налегают...

— Ой, Федоровна, боярыня, чую, денег нет дать им, а слово сказано — дать!

Митрополит поднял над столом желтую руку:

— Сыне мой, друже, Иван князь! Выди к бунтовщикам, вели итти им на двор к монастырю у часовни Троицы. Я же иду в монастырь, из своей казны дам деньги.

— Отец духовной! Много задолжен без того я тебе...

— Тленны блага земные, сыне! Живы станем, ту сочтемся, преставимся богу — господь зачтет.

Боярыня уходя не заперла дверей горницы, в двери почти вбежал юноша, земно поклонился воеводе, потом также митрополиту. Старик перекрестил подростка. Юноша сказал воеводе:

— Батя! Пусти меня оружного на стены — хочу быть ратным.

[1]) Род кофты без талии.

Воевода встал, погладил сына по темнорусым, длинным волосам, заботливо одернул на юноше измятую синюю чугу и, строго глядя в зеленоватые большие глаза подростка, ответил:

— Жди, Борис! Не пора итти из дому — не чуешь ты, как хмельные бунтовщики дом ломят?

Сын ушел, воевода вышел на балкон. За окнами мотались головы и факелы, с треском гудело дерево дверей, звенели заметы.

— Эй, пожога, пасись, воевода-а!

— С добра подай наши деньги-и!

Прозоровский перегнулся через балясы перил, крикнул в пестрый сумрак двора:

— Робята! Идите к часовне Троицы — из монастыря дадут деньги, а вы не мешайте молящимся.

— Добро!

— Хто молитца — пущай!

— Мы же будем кадить, у святых бороды затрешшат!

Митрополит, отведав кушанья, стоял, стучал посохом в пол, призывая слугу.

Воевода вернувшись тряс головой и кулаками:

— В иные времена, за скаредные речи и богохуленья быть бы многим на пытке... Нынче вот, молчать надо...

— Великие беды грядут на нас, сыне!

Вошел митрополичий служка, поклонился воеводе, взял вещи, саккос и митру, подошел к старику и поддерживая повел из дома. Воевода с трехсвещником, провожая митрополита, говорил:

— Мыслю я и надеждой малой утешен — выплатим деньги, многие утихомирят себя... Беда лишь в том, что воров из тюрем расковали, от этих не уберечься бунта... одного повесили на стене... Посланца воров...

— Сыне мой, не едины стрельцы... молись богу, да спасет нас! Горожане, не далек час, идя ко кресту, целуя святыню, злые лики являли... От горожан и иных многих погибель наша...

— Да, отец! Князь Семен — явной изменник: не идет с нами и нигде не являет себя работоборцем государева дела... Дом же его на балчуге, есть из его дома ворота тайные за город ко рвам... пасусь его, отче!

— То лишне мыслишь, Иван! Князь Семен не дерзнет с ворами итти...

— Благослови на ночь, святый!

— Не святый, аз грешный... во имя господа благословляю раба Ивана. Не мятись! Пути господни не прейдеши без воли его...

Проводив за двери митрополита, Прозоровский вернулся в горницу. Жена княгиня, видимо, ждала его, вошла следом за ним.

— Федоровна! Скажи дворецкому Тишке, чтоб приказал обрядить моего коня в боевую справу, да немедля конюшие привели бы бахмата на монастырский двор. Иду дать стрельцам жалованье, а после быть надо у стен города...

Боярыня заплакала, обняла мужа.

— Сумнюсь о тебе, хозяин мой, Иван Семенович!

— Не духом падать... крепиться надо, Федоровна! Пожили в грехах, должно что время пришло принять за то, что бог судил? Прости-ко.

Князь позвал двух домочадцев слуг, да подьячего Алексеева, вышел к часовне. Стрельцы на площади, раздвинув круги меж себя, плясали. Иные кричали, зловеще светя факелами, отсвечивая топорами:

— Кидай, черицы, молебны петь!

— Тяните панафиду воеводе!

— Жалованье дайте, коли же воевода казну растряс!

По монастырскому двору видно было — в широко открытые ворота шедших черных людей с сундуками и мешками.

— Браты-ы, гей!

— Казна еде-е-т!

— Ай, да певуны кадильные!

— Под рясой порток нет, да вишь деньги брячут?

На ширине монастырского двора поставили стол и скамью для воеводы, с боков на подставках фонари зажигали монахи. Воевода сел рядом с Алексеевым, из сундуков брал горстями деньги, клал на стол, считал; Алексеев на длинном, склеенном из полос листе записывал имя, отчество, прозвище и чин получателя. Получив деньги, стрельцы уходили со двора на площадь в круг пляски.

— Скушно по-суху ноги мять!

— Эй, браты! Кто денежной, ай-да на кружечной, там скоморохи и музыка!

Получившие жалованье ушли из кремля.

* * *

Объезжая с черкесами белый город, от белых каменных лавок и амбаров торговой площади армян, персов и бухарцев, князь Михаил разъехался в кружечный двор, окруженный огнями факелов. Вооруженные пьяные стрельцы на глазах князя прошли нестройной толпой по обширному двору в питейную избу. В сенях избы громкий голос пел хмельно и басисто, тонкие голоса подпевали, изредка на отдельных местах песни ударяли в накры [1]):

Волки идут за удалыми в ход,
Гей, выходите с ножами вперед!
Скормим бояр мы, дьяков отдадим,
Хижи, поместья, суды запалим!
Память боярам вчиним...

Ударили в накры, продолжали:

Будет пожива волкам здесь ли тут!
Чуют удалых, волки идут.
Жги! Пали!

[1]) Барабан. Бившие в накры назывались накрачеями (предшеств. барабанщика).

Снова били в накры.

Князя разозлила песня и вид пьяных стрельцов, он дал команду:

— Эй, не въезжая на двор кружечного, стройтесь кругом... не выпускайте с двора питухов! Покажу, как играть воровские песни... я доскачу конных стрельцов, разом здесь всех мятежников решим!

Сверкая панцырем и саблей, князь отъехал. Горцы на расстоянии друг от друга в десять локтей выстроились кругом двора. Отыскивая стрельцов на пожарище потухающем кабака, близ Спасо-Преображения, князь наехал человека в синем жупане и запорожской шапке, от головней пожарища шапка ярко рыжела. Человек, так показалось князю, воровски озирался, шел, подпираясь не длинным копьем. Заметив князя с факелом в панцыре, свернул в сторону спешно; князь поскакал — по воздуху веяла пышная борода, светился шлем с еловцем без забрала. Михаил Семенович крикнул:

— Стой, вор!

Князю показалось, человек прибавил шагу:

— Стой, дьявол!

Человек в казацком платье приостановился, повернул бледное лицо с пятнами:

— Пошто, князь Михайло, гортань трудишь? Я — астраханец Федька Шелудяк!

— Ты вор! В воровском платье.

— Хожу — какое сошлось.

— Лжешь! То рухлядь — дар от вора Стеньки?

— Не дарил? Не твое дело!

— А, вот! — князь поднял над головой тяжелую саблю с золоченой елманью [1]).

— Да, прими! Не жаль.

Шелудяк взмахнул копьем, древко фукнуло ветром кинутое сильной рукой. Сабля князя и тело с падающим факелом запрокинулись. Человек, оглянувшись, быстро исчез во тьме. Князь не упал с коня, ноги запутались в стременах, губы прошептали:

— Ра-а-ту-й...

Он все больше оседал затылком на спину коня. Конь остановился... Широколицый Фрол Дура со стрельцами разъехался в князя. Стрельцы с фонарями и факелами осветили место кругом, но никого не было. На коне, изогнувшись за спину, лежал Михаил Семенович. Древко татарского копья, поблескивая, желтело, его острее пронзило горло князю под подбородком, прошло до затылка, задержалось стальным подзатыльником шлема.

— Беда, парни! Вот беда, и кто тыкнул?

— Конной должно? Поганой: вишь, копье татарско!

— Парни, почуйте да сыщите, нет ли ездового кого?

---

[1]) Елмань — утолщение на конце сабли.

Стрельцы, рассыпая огнями, поехали в разные стороны. Фрол Дура снял князя, не слезая с коня, уложил младшего Прозоровского поперек седла, зацепил большим сапогом поводья княжеской лошади — забрав убитого и ведя лошадь, поехал ступью в кремль.

— Беда, беда! — твердил он.

Его нагнали стрельцы.

— Никакого следу!

— Ездовых никого, Фрол, никого...

— Знать планида такова? Эх, князь!

* * *

В кремле спешились стрельцы, внесли убитого в часовню, положили на полу ближе к алтарю у возвышения. Народ в ужасе толпился вокруг. Монахи, прилепив свечи в головах князя, зажгли их и кадили. Князь Михаил лежал с оскаленными крупными зубами, запрокинув голову, пышная борода закрывала рану, но кровь текла по плечам панцыря. Стрельцы на площади плясали, били в негодный воеводский набат [1]), притащенный со двора воеводы. Никто, кроме одного стрельца, не кинул взгляда, когда проносили в часовню убитого, а тот один сказал другому:

— Должно еще пятисотника кончили? Волокут на панафиду.

— Пляши! Битых дворян не мало будет.

На монастырском дворе кругом стола, где сидел воевода, шумели, спорили, даже грозили. Воевода молчал. Он ничего не видел, кроме протягиваемых рук, да Алексеева сбоку себя.

— Сколько дать?

Получив ответ подьячего, давал деньги, говорил одно и то же:

— Пиши, Петр, пиши — кому и сколько?

— Чую, ась, князинька, не сумнись.

Сзади Алексеева стоявший монах нагнулся к уху подьячего, шепнул:

— Убили крамольники Михаила князя! В часовне Троицы он — у гробницы преподобного Кирилла...

Алексеев вздрогнул, а когда воевода согнулся к сундуку, сказал:

— Мы, ась, князинька, раздадим... монахи помогут — я испишу... Ты вздохни к богу, в часовне, да скоро соборную откроют — в церковь пройдешь...

— Боюсь! Без меня тебя ограбят?

— Не тронут! Пьяны да еще порядок ведут... счет помнят...

— Ну, и ладно! Трудись, Петр.

Воевода протолкался к часовне, снял у входа шлем и, широко покрестившись, земно поклонился. Подымаясь от поклона, услыхал бой часов «двенадцать».

— Скоро, чай, свет?

---

[1]) Большой медный барабан.

Едва лишь окончили на раскате выбивать времясчисленье, как за стенами кремля от Волги забили дробно барабаны, и тут же в кремль упали три огненных примета, один примет закрутился на песке, два других пали на монастырские пристройки, начался пожар сараев. Раздался топот лошадей, в кремль заскакали конные стрельцы. Передний крикнул:

— Гей, сторонись! Где воевода?

— Вороти, служилой, к делу! Все знаю! — криком ответил воевода, спешно пробираясь к коню по монастырскому двору.

Раньше чем поворотить из кремля, стрелец еще крикнул:

— Разин пороками ломит Вознесенские ворота-а! Капитана Видероса убили свои же, чуй, — воевода-а!

Стрельцы уходили из кремля, горожане, женщины с детьми бежали в кремль. Светало. В соборной церкви заунывно благовестили. В ответ благовесту на стене где-то высоко воззвал зычный голос Чикмаза:

— Гей, браты-ы! Бей в башнях на-а-бат!

— Батько иде-е-т!

— И-де-е-т!..

В дальном конце города в угловой башне завыл набат, вслед набату выстрелили пять раз под-ряд из пушки — казацкий ясак на сдачу города.

## XXVI. Лазунка в Москве.

### I.

Темно. Заскрипели на разные голоса запираемые решотки и ворота города. На Фроловской башне пробили вечерние часы; как всегда — сторожа у московских домов застучали ответно в чугунные доски. Стало мертво и тихо. Тишину нарушит лишь иногда конный боярин, окруженный слугами с огнями, тогда по грязным улицам лоснятся желтые отблески. То протяпает, громко матерясь, волоча из грязи ноги, палач с фонарем и подорожной бумагой, да лихие люди, пятная сумрак, мелькнут кое-где, притаясь, выслеживая мутный блеск бердышей конной стражи проезжающих стрельцов. Только в Замоскворечьи шумит, поет и светит огнями немецкая слобода — там военные немчины гуляют, справляют свадьбы и, как говорят иные москвичи, «кукуют песни»!..

В верхнюю горницу, сумрачно светившую образами в лампадах, старик слуга ввел человека, смело ступавшего желтыми сапогами, обросшего курчавой бородой и волосами, падающими до плеч. Человек без сабли, но сабля скрыта длинным казацким жупаном, за кушаком пистолеты, из-под синего жупана при движении видны красные полы.

— Воззрись, матушка боярыня! Поди, чай, не признаешь?

— Ой, спужал! И как тебе, старому, не грех, на ночь глядя, волокчись прямо ко мне в женскую половину, да еще мужика чужого за собой тянуть.

— Чужой ли? Величаешь меня косоглазым, а я, вишь, прямо гляжу.

— Уж с кем это? Дай-ко, дай!

Близорукая полная старушка в летнем шугае шелковом, в кике без очелья [1]) подошла вплотную к гостю, гость выдвинулся вперед, слуга встал, сняв шапку у двери.

— Батюшка! Свет Микола угодник, да ведь это Лазунка?

Старушка кинулась на шею волосатому человеку. Верный старый слуга сказал:

— Ты, мать боярыня, поопасись!

— Чего такого, Митрофаныч?

— Вишь, сказывают люди, — признан гость наш давно в «нетях» [2]) от государевой службы... Не один раз про то сама слыхала...

— Чула, чула! немало люди с зависти на других лают.

Лазунка, обнимая старуху, спросил:

— По здорову ли живешь, матушка?

— А всяко есть, сынок! Ты, Митрофаныч, поди — спасибо.

— Пойду, мать, и молчать буду, благо в дому у нас холопей — я, да сторож Кашка!

Слуга ушел.

В другой горенке с открытой дверью разговаривали. Видно было в глубине ее у окна, где на подоконнике горели отсвечивая в слюдяных узорах рам три шандана масляных, две девушки — одна русоволосая, другая с черной длинной косой. Девицы рылись в сундуках, обитых по углам цветной жестью.

— Ты рухледь скинь лишню, сынок!

Лазунка кинул жупан с шапкой на лавку под окна. Под жупаном на нем красная бархатная чуга [3]), тканая золотом с цветами, казацкая шапка опушена соболем, с рудожелтым верхом. Рукоять казацкой не длинной сабли без крыжа блестела алмазами. Старуха подержала шапку в руках, оглядела чугу.

— Дитятко! Да тебе хоть на смотры государевы — рухледь-то, эво! — Чуга злащена, сабле и цены нет. — Взяла его за плечи и, снизу вверх глядя Лазунке в лицо, заговорила тихим голосом: — Нынче, милой, все вызовы воински заводит великий государь-от, дворяна, жильцы большие со всех городов едут на Москву конны, оружны, в пансырях, в бехтерцах... Вишь, вор, сказывают, убоец лихой на Волге объявился, города палит, воевод бьет, гонит, зорит церкви божии... И нынь по Москве всякому ходить опас от сыскных людей, рыщут — всякой люд в разбойной что ни день тянут... И народ худой стал! — тягло прискучило мятетца, по посадом сбираютца, а судят неладное — «налогу-де, тягло время сошло, кинуть». Имя-то, вишь, того убойца лютого с Волги не упомню...

[1]) Очелье — перед кики (кокошника) — в праздники привязывалось отдельно с жемчугами.

[2]) Дезертир.

[3]) Узкий кафтан с короткими по локоть рукавами.

— При чужих, матушка, ты меня сыном не зови — кличь Максимкой и будто я тебе родня дальня... И кой словом закинет, говори, — «приехал-де свойственник, боярский сын, беспоместной на государеву службу против Стеньки Разина».

— Стеньки! Стеньки вот и я упомнила... Годи-ка свечу запалю, при божьем-то огоньке сумеречно... Да еще одного в ум не возьму, пошто таишься?

— Митрофаныч тебе о том слухе верно сказал...

— Ой, страшишь меня старую! Ужли тем худым вестям веру дать? А корили злые суседи изменничьей маткой и сказывали: будто ты на Волге с саратовским хлебом, кои люди были, был с патриаршими монахами — «их воры побили, а ты-де к ворам сшел?».

— Потом, матушка, обскажу... Вот ясти дай, да та горница или — как ее — клеть на подклете цела ли?

— Как, храни бог, не цела? Куда ей деться?

— Там ко сну наладь... На Москве быть недолго... Гляну на тебя да про невесту Афимьюшку у тебя спрошу и коль что уеду скоро...

— Куда ты, родненькой?.. О невесте твоей говорить нече — ушла! И обидна я была на твою Фимушку: обносчикам всяким вняла, тебя — как попрекать зачала, лаяла вором...

— Должно, так сошлось?.. Нашла, вишь, пригожее?

— Ой, ты, дитятко, пригожее? А богаче нас и родовитее... И уж истинно, как твои послуги будут у великого государя да жалованье, а то мы тощи... Сестрицу вот, поди, худо помнишь — махонька была, нынче просватали... Вот я ее созову.

— Пока что не зови — с тобой побуду.

— Ино ладно! С девкой роют приданое, должно не собрали, а кончат перебор, выйдут, да огонь принесут.

— Сестрице тоже сказывай — будто я чужой.

— Дивлюсь, дивлюсь... Ладно, что от скудости нашей прожиточные люди не бегут, Дарьюшку с рук снимают, не брезгуют... Отец-от жениха — гость гостиной сотни, а дворянство наше захудалое, да вишь и патриарший двор нынче иной, патриарха Никона свели бояре, он кое и сам сошел... судили, расстригли, да на Бело-озеро послали... тепереча другой патриарх — Иоаким святейший... Да что я держу тебя голодом? Маришка!

— Не надо звать! Управься, матушка, сама...

— А и то? послужу на радостях сама, да, вишь, радость-то не долгая...

Старушка засуетилась, сбегала куда-то, вернулась, принесла лужоную братину.

— Тут мед инбирный, хмельной.

— Добро, родная моя!

— Еще калачи есть, да холодная баранина, ветчина, да брага есть.

Ушла и снова вернулась с едой.

— Все-то ум мне мутит... ужли, сынок, худому поверить надо? Я мекала, ты на свадьбе в столы сядешь, поживешь, да вижу — не столовщик?

— Время мало! Уйдет девка с Дарьюшкой, — погляжусь... Была-таки мала, невеста нынче — идет время! Она меня забыла, пущай не знает. Я же, родная, буду ей, как брат.

— Худо, сынок! Должно и впрямь есть за тобой неладное.

— Скажу потом...

— Кушай, кушай вволю!

— При девке тоже не забудь — зови Максимкой, — скажи, из Ярославля, по ратному зову.

— Скажу уж! Скажу...

Боярышня с дворовой девицей вышли из другой половины, принесли, поставили пылающие фитилями шанданы на стол.

— Неладно, матушка! Гляди будет охул на меня, что какой-то чужой, молодой боярин ли, сын боярский в горенке ночью...

— То, доченька, родня из Ярославля, Максимом зовут, дяди Ивана сын. А пустила сюда, что иные горницы холодные, да не прибраны, — мы скоро уйдем, бахвалить же ему некогда... Ты, Маришка, иди, да слов не распускай — я дочь свою строго держу.

Дворовая девица поклонилась и, боком, любопытно оглядывая Лазунку, вышла.

— Сядь-ко, Дарьюшка! Молодец-от — родня тебе, да и надобной: от брата Лазунки из дальних городов здравьицо привез с поклоном.

— И поминки тож! — Лазунка встал, порылся в глубоких карманах жупана казацкого, вытащил золотую цепочку с двумя перстнями золотыми в алмазах. — Вот от брата!

Боярышня поглядела на подарок, лицо вспыхнуло:

— Ох, и хороши же! Я, матушка, велю попу Ивану то в мою приданую роспись приписать.

— А куда еще? Не мне краситься ими.

— Уж и роспись есть?

— Есть, родной! Исписал ту роспись поп Иван Панкратов арбатский Николо-Песковской церкви... Хошь глянуть?

— Можно, мать-боярыня!

— Я, матушка, дам роспись тут же в сундуке.

Боярышня бойко кинулась в горницу, в сумраке нашарила сундук и со звоном замка отперла, рылась.

— Гораздо мед хмельной! Пей мене и тихо, — оглядываясь, прибавила: — сынок.

— Ништо, родная! С этого не огрузит.

— Обык на Волге-то? Ране не пил так... Ну, бог с тобой — кушай в меру...

Боярышня с тем же звоном замка заперла сундук, принесла к столу желтую полоску бумаги.

— Чти-ко, гостюшко, вслух.

Лазунка читал:

— «За дочерью вдовы дворянского сына Башкова девицею Дарьей Ивановой Башковой приданого:

Шуба отласная, мех лисей, лапчат, круживо серебряное, пугвицы серебряны.

Шуба тафтяная двоелишна, мех белей, пугвицы серебряны.

Охабенек камчатой, рудожелтой, холодной, пугвицы серебряны.

Шуба киндяшная, зеленая, мех заячей хребтовой, пугвицы серебряны.

Охабенек китайчатой, лазоревой, холодной.

Шапка, вершок шитой с переперы серебряны позолочены.

Шапка польская, бархатная, по швам круживо серебряно.

Треух объяринной на соболях.

Цепочка серебряна вызолочена со кресты.

Десить перстней.

Постеля с изголовьем и одеялом.

Одеяло заячиное, хребтовое покрыто выбойкою со цветы.

К ларцу девка Маришка со всеми животы и если будет мужня и дети ее на всю жизнь невесте в приданое ж».

— Тут не все! есть еще образа.

Лазунка подпил, живя на воле свыкся с иной жизнью, сказал:

— Все ладно, мать-боярыня, да пошто живой человек девка на всю жисть в приданое, против того, как шуба и шапка?

Боярышня сердито двинула скамьей. Глаза заблестели, брови наморщились.

— Я Маришку не спущу! Маришку мне надо, да так и молыть нынче не велят.

— Наездился он, вишь, по чужим городам — там так не водитца должно?.. С нами поживет, обыкнет, — сказала мать.

— Вишь от брата Лазунки... про Лазунку нашего — худо его помню — говорить не можно, не то что...

— Ну, пошто так, доченька?

— Так вот... не сказала тебе, матушка, — гостила я, помнишь, у сестер жениха?

— То где забыть!

— Так у их за стеной в гостях дьяк был и про меня пытал.

— Ой?

— «Есть-де слухи, что Лазунка, зовомой жидовином, сын боярской, что на Волге и еще какой реке не упомню — сшел к ворам, да нынче у Разина в есаулах живет! Так уж не его ли сестра замуж за вашего сына даетца?»

— Ой, ты, Дарьюшка!

— Чуй, матушка, кще — «нет», говорят жених потом и отец жениха, а сами перевели, говорю, на инос... Только дьяк, чую, все не отстает: «ежели, говорит, то его родня, так сыскать про нее надо? — великого

государя они супостаты! А те, мои новые родные сказывают ему: «нет, дьяче, — это не те люди!» Потом углядела в окно — его пьяного повезли домой... Я, матушка, боялась тебе довести сразу — осердишься, пущать не будешь иной раз, а вот гостюшко затеял беседу, то уж к слову... ты не осердись, родненька! — у нас на Москве теперь пошло худое... Маришка вон по торгам ходит, сказывала, что народ всякой чорной молыт: «Ватамана Стеньку Разина на Москву ждем, пущай-де бояр супостатов выведет, да дьяков с подьячими, тягло и крепость с людей снимет!». А за теи речи людишек бьют да казнят.

Лазунка сказал:

— Прикажи, мать-боярыня, опочив наладить — сон долит.

— Чую... сама налажу — не чужой. Поди-ка, Дарьюшка, к себе в горницу!

Боярышня поцеловала мать, низко поклонилась гостю — ушла. Лазунка проводил ее взглядом до двери, подумал:

«Красавица сестра! Не в пусте — жених заступу имеет — не даст в обиду с матерью — у купчины-отца денег много, от худых слухов, да жадных дьяков откупитца».

— Чего много думать? Скажи-ка, сынок, про дело лихое — какое оно есть за тобой?

— Завтра, матушка, нынь дрема долит.

— И то... времени будет говорить, вздохни от дороги — постелю.

— А допрежь скажу тебе — не те воры, что бунтуют, — те пущие воры, кто у народа волю украл!

— И где, Лазунка, таким речам обучился? Какая, сынок, народу воля? Мочно ли, чтоб черной народ тяглой боярской докуки не знал и тягла государева не тянул?

— Бояре ведут народ, как скотину, быть так не может впредь!

— Вот что заговорил? А святейший патриарх? Он благословляет править народом... Перед господом богом в том стоит... царь государь всея Русии заботу имеет по родовитым людям — чтоб жили не скудно, на то и народ чорной! Что чорной народ знает? Едино лишь бунтовать...

— Народ, матушка, бунтует не в пусте — волю свою попранную ищет! И ежели атаман на Москву придет, тогда не быть боярским да царевым порядкам...

— Ох, молчи ты! За такие скаредные речи тебя уловят, и мне замест почета пира дочерней свадьбы сидеть сиделицей в тюрьме, а то худче — на дыбе висеть.

— Наладь постелю, матушка! Злю я тебя и нам не сговориться...

— Так-то лучше! Упился нынь, за что и говоришь путаное бунтовское.

В горнице, где мать постлала постелю Лазунке, он долго и любовно разглядывал заржавленный бехтерец отца с мечом таким же, в изорванных ножнах, висевших на стене. В углу у коника на лавке нашел пару турецких пистолетов со сбитыми кремнями.

«Кремни ввинтить... возьму с собой? — подумал он ложась и решил:— с невестой кончено... мать стара, несговорна, сестра к моему имени страшна за свою жизнь будущую, а мне одно — завтре, лишь отворят решотки, итти, чтоб сыщиков не волочить к их дому!..»

II.

Чуть свет боярский сын оделся, готов был уходить.

Вошла мать.

— Проспался? Иное заговоришь, дитятко. И напугал ты меня, похваляя бунтовщиков вчера!

— Прости, матушка! иду Москву оглядеть... давно, вишь, не был, все по-иному теперь... застроено.

— Да ты чего прощаешься? Чай, придешь? Ты опасись, сынок, ежели в чем худом, не срами, не пужай нас с дочкой: сам знаешь — ей только жить, красоваться.

— Прости-ко, матушка! — есаул крепко обнял старуху, — тешься тем, что есть, и радуйся! не горюй о потеряхе...

— Ужли тебя потеряла? Ой, сынок... сердце, вишь, материне — горюет, слезу точит... И не дал ты мне порадоваться на себя... ну, бог с тобой!

В воротах старый слуга встретил Лазунку.

— Прости, Митрофаныч! — Лазунка обнял старика, пахнущего луком, а с головы лампадным маслом.

— Бог простит, боярин! Лихом не помни... я ж... — старик заплакал.

Лазунка, было, пошел, старик догнал его, остановил, зашептал торопливо:

— Матери-то не кажись... за нас идешь, а холопям жить горько... Так ты, боярин, ежели грех какой... я дыбы не боюсь!.. Приходи — спрячу, не выдам.

— Спасибо, старой!

III.

Пробравшись в стрелецкую слободу, Лазунка нашел пожарище, не узнал места и нигде не находил схожего с тем, которое искал.

— Прошло много годов, вишь, застроилось! — Он упрямо вернулся обратно, глядел под ноги — едва видны были вросшие в землю обгоревшие бревна. Выросли на пожарище деревья в промежутках больших кирпичных амбаров с дверьми, запертыми висячими тяжелыми замками. Лазунка шагнул дальше. За амбарами кусты, да остаток тына в бурьяне.

— Тут должно? — Он прошел тын, вросший в землю, пролез толщу бурьяна, вгляделся и увидал шагах в тридцати длинную, покрытую блеклой травой крышу. Подымался туман, крышу стало худо видно — он подошел вплотную: крыша длинная на заплесневелых столбах, меж столбами поперечные бревна поросли дерном.

— Теперь бы вход в этот погреб?.. — обошел кругом и входа не находил; все закрывал бурьян, в кусты бурьяна вели путаные многие тропы. Моросило мелким, чуть заметным дождем, в кустах бурьяна и кругом крыши вросшего в землю дома стоял густой туман, он все больше густел. Откуда пришел, Лазунка не знал — амбаров не было видно. Есаул остановился в раздумьи, в первый раз закурил трубку. Дома, чтоб не обидеть мать, не курил. Перед ним шагах в двадцати что-то хрустнуло от шагов, из тумана все явственнее двигался к нему человек; Лазунка, сжав зубами чубук трубки, ощупал пистолет.

— Знать не будет, что здесь я, — ежели сыщик!

Вглядываясь заметил: человек был молодой, шел на него уверенной походкой. Не доходя Лазунки локтей семи, остановился; был он в поярковой шапке с меховым отворотом спереди, в суконной темной однорядке красного сукна, кафтан запоясан под однорядкой розовым кушаком с кистями.

— Эй, станишник! тебе здесь чего?

Лазунка удивленный молчал: юноша, двинувший со лба на затылок шапку, ему казался Разиным, помолодевшим на двадцать лет, — черные вьются волосы, сдвинуты брови и руки, привычно Разину, растопырив однорядку, уперлись в бока.

— Ты не векоуша, я чай? Чего здесь ходишь?

— Ищу вот пути в дом.

— Пошто тебе туда ход?

— Сказывали мне, детина — здесь живет жонка, Ириньицей звать?

— Она зачем надобна?

— Я, вишь, дальной человек, не московской — поклон ей привез с поминками, а от кого, потом скажу!

Юноша подошел близко; он давно наглядел пистолеты за кушаком Лазунки и сквозь жупан приметил изгиб сабли.

— Ин ладно! Но ежели ты за лихим делом — пасись!

— Ты кто ж такой?

— Сын ей буду!

— Добро! — Пролезая в кусты бурьяна за юношей, Лазунка думал: «Должно что батьки сын? он же про то не обмолвился... схож много!».

В подвале, куда сошли они, в обширных сенях на укладке горела сальная свеча и только от ее огня между высокими сундуками можно было заметить низенькую дверь.

— Матка моя недужит... стонет, иножды плачет, а пошто, неведомо. — Прибавил, — гнись ниже, не юкнись!

Под ногами боярский сын почувствовал ступени, обитые мягким, пахнуло жилых воздухом, зажелтели огни. Юноша ввел его в высокую горницу с печью в углу и лежанкой. В правом углу переднем, у многих образов горели лампадки, а на столе старинном, потемневшем, из дуба деланном — в серебряном трехсвешнике зажжены и оплыли две свечи. За столом на высоких подушках в цветных наволочках лежала женская

голова с растрепанными, русыми с клочками седины волосами. В ворохе сбитых волос покоилось исхудалое желтое лицо, глаза закрыты, тело, едва заметное под тонким шелковым одеялом, казалось мертвым — изогнутое у шеи простерлось прямо и плоско.

— Ма-а-ма... чуй! тут тебя налегает кой станишник.

Юноша сказал негромко, перегнувшись над столом.

Женщина, не открывая глаз, не меняя положения, спросила полушопотом:

— Станишник, дитятко?

— Ты очнись!

Женщина молчала и не открыла глаз.

— К тебе я — от Степана Тимофеевича с Астрахани! — громко сказал из-за спины юноши Лазунка и видел, как после его слов по тонкому одеялу прошла мелкая дрожь.

Женщина медленно подняла руку, провела ладонью по лицу и, тяжело повернув голову, открыла глаза.

— Ай да глаза! — подумал Лазунка вглядываясь, он рылся рукой в глубоком кармане жупана. Поймав вытянул серебряную цепочку с золотым крестиком, на концах крестика сверкали, дробясь искрами, синие камни.

— Вот, атаман дать велел...

Женщина спрятала руку, не взяла креста и, левой голой рукой запахивая роспашницу, проговорила:

— Были бы груди на месте, и я не крылась бы, как лихой от караула... Крестик, голубь он мой... ох, вишь сокол бесценной, Степанушко, шлет данное ему в обрат — знать память ко мне потухла? С пути, гость дорогой, ты? Надо вот чего наладить кушать, да вишь стою худо... ноги не держат... лежу не мало время колодой... и болести нету, а будто-те вся таю, как у огня свеча, все-то в дому запустошила я... Васильюшко! Сходи, дитятко, в сени, вынь да принеси братину с ларя, коя с орлом, и кубок тоже... гость дорогой, хоть помри, а чествовать надо! — Женщина говорила певуче, ее глаза и голос покоряли все больше Лазунку, — и уж как ты дорог-то, господи!.. — Она грустно улыбнулась, опустя на пол ноги, села на кровати, — поди, дитятко!

— Чую, мама! — юноша бойко полез вверх в узкую дверь.

— А сядь-ко ты, гость голубь, вот ту, на постелю ко мне... Не бойсь, хвороба моя не прилипнет, от серца моя хвороть, не от прахоти тела.

Лазунка сбросил на скамью жупан и шапку, быстро отстегнул саблю, вынул из-за кушака пистолеты, торопливо совал их на скамью, один упал, стукнул по полу.

— И как сладко стучит пистоль. Будто было то вчера, — сокол Степанушко ронил их тоже, пинал под лавку... Теперь чую я подобно, едино лишь нога не шарчит... как вчера! А много годков ушло?..

Лазунка сел на кровать. Юноша вернулся с братиной да двумя кубками.

— Ах, ты, дитятко! Пошло два кубочка? Да нешто и мне пить с гостем... Пей-ко, голубь голубой, мед добрый, переварной с вишенью.

— Чуй, мама, я пойду... слободские робята с замосквой рекой кулашной заводят — так уж звали.

— Ох, не убили бы?

— Не убьют! Я однорядку, длинны рукава, как бой загоритца — кину.

— Поди, да береги себя, дитятко!

— Не сумнись! — Юноша ушел.

— Вот он у меня, то кулашной бой, то саблей вертит, пистоли оглядывает, кремешки к им винтит, а стрелить ладом не разумеет...

— Я мастер бить с пистоля, потому был боярской сын, так нам велели стрели учиться; обучу малого.

— Он в батьку Степана — ты ему вразуми — скоро примет, голубь...

— За тем дело не стоит — укажу!

— Пей! Тебе добро — мне же прибавил ты и грусти и радости.

— Батько Степан Тимофеевич велел тебя сыскать, а говорил: «там Лазунка примут замест родного».

— Ой, ты, а как же еще? Приму.

— Много о тебе говорил, называл единой тебя, любой из всех!

Лазунка лгал, но хотел почему-то делать это. Понимал, что всякое слово об атамане хозяйку оживляет.

— Сказывал про меня? Что же сказывал? Как он помнит меня? Люба, говоришь, ему?

— Люба, люба.

— Ой, голубь! и спасибо же тебе! Ой, на радостях еще укреплюсь я... Хоть плясать нынче гожа и песни играть? Давай же выпьем вместях? Не спуста Васинька два кубка принес, как чаял что...

Руки Ириньицы дрожали, она не могла поднять кованой серебряной братины. Лазунка встал, отодвинул свечи, налил два кубка.

— Стучим да побрякаем кубками за здоровье моего сокола ясна Степанушки! Вот... ахти, я грешная, помирала и вот ожила. Ой, голубь — ладно ты пришол!..

Они выпили меду. Ириньица подвинула к себе подушки, слегка прилегла на них спиной, говорила:

— О сынке спрашивал ли?

— Нужное время было! торопился я, ему же с есаулами говорить прилучилось — наказы дать... мало сказал о сыне...

— Да и где много? Васинька тогда в зыбке качался...

— О дедке, помню, каком-то сказал, — а твой где тот дедко? — «де мудрой старик, а помер мекаю я?» так молыл батько.

— Ой, ты, голубь! помер-то помер, да вот, как помер,—скажи! Любил он старика Григорея... В теи годы, когда Никон патриарх божественные книги переменил, старые жечь велел, мой дедко Григорей, царство ему небесное, будто из ума вышел: кричит, веригами звонит, в железах все

ходил, «что-де убойство великое, многи крови пойдут от тех Никоновых дел! и что-де не едино ли одно, како молиться? — право ли лево, альбо всей долонью, или же кукишом? ежели-де бог есть — всяко примет молитву, а нет его, хоть лбом о камень бей, корысти мало!» Я его и уговором ласковым от тех слов отводила, иножды всякой ругливой грозой — а вижу не иметца и теи слова кричал много раз народу на торгах. Сам древний, трясся весь, и народ лип к ему... А тут на кабаке, мне довели люди — сама не глядела — теи же слова кричал, от Никона сыщики были всюду — имали его тайно, явно-то народ мешал, свели с кабака на пытку... и на пытке тое ж кричал, не отрекся своего... Допросили, где живет, пришли вынять его рухледь, а с рухледью сыскали книги травные с заговорами, и древнего с теми книгами спалили живьем на дворе патриарша розряда против того как бы и колдуна... Уй, голубь, посля палов дьяк судного приказу ладил сыщиков созвать, да нас с Васюткой обрать ту... И что бы с нами стало, не ведаю, а страху приняла и, може, с того страху да еще с тоски по милом соколе легла... Только вишь злой наш мир, да есть добрые люди! — сыскалась застуна, о коей я не гадала... В пору, когда Степанушко мой был иман в пытошную башню боярином Кивриным и когда его брателку тот же злодей Киврин порешил сговорно с Долгоруким князем, — я тогда о Степане моем горюя шиблась к боярину, он же старой злодей мне в пытошной у стены скована его Степанушку показал и явно ему окаянному старику было, что сокола моего единого люблю и о Васиньке допросил, а хотел он разом порешить весь корень Степанушки... и из башни той злодей пытать меня повел... дьяку велел держать за руки крепко и титьки мне — вот! — Ириньица распахнула платье на груди — вишь, сокол, груди — ну — то, что волки грызли! клещми калеными выдрал сам, без палача, а палачу потом велел: «Бери-де и делай!», дьяк-от, кой держал меня допрежь свиданья, не велел мне пасть боярину на глаза, да проситься свести в башню, — велел итти в обрат, домой... я не такова — «хочу видеть сокола моего!», дьяк тот, вишь, любимой у боярина Киврина был и жил в его дому замест сына... полюбил он меня, пожалел ли как груди выдрали у бабы? только тогда в башне с боярином заговорил, крепко за меня упросил... Зовут того дьяка Ефимом, и по Ефимову прошенью Киврин меня спустил — только груди сорвал, а палачу не дал, рухледь мою стрельцы принесли, да свели меня за Москву реку... И позже, как спалили дедку Григорея, тот дьяк Ефим за нас с Васяткой встал против дьяка с сыщиками... Нынче тот Ефим дьяк коло царя, испросил царя, как тогда Киврина, нас не шевелить и то дело о нас кануло по сей пору... Ой, уж натерпелась я не за себя — мне самой-то, голубь, все едино! хворая... еще Степанушку бы глазком одним глянуть, да и помереть... За Васятку вот боязно — смел гораздо, горяч — суетца, не пасясь ни мало... На Москве же, сам поди ведаешь? — надо быть двоелишным... кто здесь смел — тот и улин!..

— Ладил я седни по городу ходить, людей глазеть да слушать — мне и атаману-то сгодитца — Москву знать.

— Сказывал сынок мой Васинька, что седни дождь, да сумеречно — против того и решотки ране времени задвинут, так уж ты, голубь, не ходи. А я наберусь сил, стол накрою, поешь — ходить будешь завтре, да одежду краше будет твою сменить — к такой светлой одеже прилепятца истцы ли, а то и лихие люди... надежь-ко посацкую, тогда ходи без опасу.

— Добро! Я то думал сам, не знал, где взять проще рухледь.

Ириньица кое-как встала, Лазунка помог ей из-за стола выбраться. Она накинула летний зеленый• капот распашницу, сходила в сени, принесла еды.

— Вот с дороги — не лишне.

— Я не нынче с дороги.

— А где ж ты был, голубь? меня, вишь, обошел перво.

— У родни был... — неохотно отозвался Лазунка, вешая голову.

— У боярской родненьки?

— Да, у матери с сестрой...

— Ой, поди боятца тебя?

— Боятца... и сам я к ним не пойду... потом если... когда...

— Все смыслю... либо со Степаном Тимофеевичем, аль бо с боярами быть!

— То оно...

— Ешь-ко, сокол! Мать родную потерять тяжело, кто скажет иное?.. Испей еще, да коли же мало хмелю, брага и водка есть. А после, как напитаешься, покажу забвенное, скрытое место, там сколь надо и жить будешь...

После еды Ириньица привела Лазунку к большому сундуку в углу за печью; он поднял крышку, она сказала:

— Отрой, голубь, рухледь в сторону от задней стены! — Лазунка отодвинул платье. — Вот тут щупай есть в гнезде защелка, нажми перстом. — Лазунка сделал так, как указано: задняя стенка боковая сундука опустилась вниз. — Теперь лазь туды!.. там внизу горенка. Жар сдолит в ей — отодвинь окошко — будет вольготной дух в горнице... у образа негасимый огонь, ежели с ним тебе сумеречно, свечи зажги... кровать, одевало, все есть... в ней хоронитца мое узорочье, да кои шубы собольи, а дверку подыми, она захлопнетца. Выдти, тогды защелку увидишь, спустишь дверку... тут в передней всякие люди залезть могут и те, коим корысть надобна — ту же горницу нихто не ведает и колодезь, водушка в ей есть... сделана же та горенка в давние времена от пожаров и лихих людей сугревы.

Лазунка забрал свои вещи, влез в сундук, нащупал ногами ступени, сошел вниз, подняв дверь на место. Горенка, куда спустился он, — не большая, в ней изразцовая печь в стене, вся горенка тускло сияла потертой золотой парчей, скамьи и лавки обиты дымчатым бархатом. На одной из стен висело медное зеркало старинное в серебряной раме. В углу образ хмурый греческого письма с зажженной лампадкой, поля образа в жем-

чугах по парче с диамантами в серебряных репьях [1]). Зеркало висело над укладкой. На укладке темного дерева четыре свечи. Лазунка зажег две, взял тяжелый подсвечник с огнем, потянулся к зеркалу. В желтом сверкающем на него глянул мохнатокудрый бородатый человек с острыми глазами в шапке. Лазунка улыбнулся, в ответ ему улыбнулось лицо из желтого. Зная, что это он сам, Лазунка все же сказал:

— А ведь это я? эх, и оброс же. Дивно, что признали меня мать с Митрофанычем?

Он долго внимательно разглядывал украшенное подземелье, отодвинул на сторону слюдяное узорчатое окошко — повеяло холодком.

— Вот где можно от всех ворогов убрести.

Подошел со свечей в руке к столу приземистому, с ножками, обитыми серебром, открыл на средине стола ларец с грузной крышкой: в ларце были золотые вещи — ожерелья, запястья, кольца, перстни. Вся золотая кузня унизана драгоценными камнями.

— Го-о! да хозяйка моя мало чем мене богата самого батьки?

Лазунка захлопнул ларец, пошел по горенке оглядывать стены, на одной из стен, ближе к печке висели собольи шубы, куньи шугаи, поволоченные зарбафом, камкой одамашкой, кики с жемчужным очельем, чедыги, низанные бурмицкими зернами.

— Добро, что дьяки не ведают ту горницу! быть бы хозяйке в тюрьме, узорочью расхищену.

В другом углу, так же как образ, висела большая парсуна [2]) поясная и к ней со свечей подошел Лазунка. Письмо темное: седой старик в горлатной куньей шапке в синем кафтане, по кафтану писан красный кушак с золотыми травами, концы кушака жемчужные, на кушаке рукоять ножа. Лазунка, любопытствуя, переходил от одной стены к другой и незаметно почувствовал в этой глубокой тишине усталость.

— Худо спалось! а дай прилягу? — погасил свечу, поставил на укладку и, откинув шелковое одеяло кровати, привалился к подушкам, не снимая шапки, которую надел влезая сюда, чтобы не нести в руках, крепко заснул. Проснувшись, он не знал, долго ли спал и ночь теперь или утро. Встал, нашел на полу упавшую во сне шапку, пошел вверх по ступеням, думая:

— Не спросил, как запирается дверь и как открыть с иной стороны?

Увидал вверху железный крючок, повернул его вправо, и дверь опустилась. Лазунка сгибаясь пролез в отверстие, выглянул: Ириньица ходила, прибирала горенку медленно, но бодро. Юноша сидел на лавке, одетый в свой прежний кафтан, шапка лежала на коленях.

— Должно что день? — Лазунка вылез, подняв за собой дверь потайной горенки, — теперь ба умыться мне?

---

[1]) Репье — серебряный цветок в форме репейника.

[2]) Парсуна — персона, портрет.

— Умойся, гость дорогой! я скоро, голубь, принесу водушки. — Ириньица ушла в сени, вернулась с кувшином и полотенцем. — Мойся ладом, а то черной ишь какой, голубем зову, он же будто-те ворон.

— Ворон, да не ворог! — отшутился Лазунка. — Али уж день?

Ириньица, поливая ему на руки над тазом, грустно улыбнулась.

— День-от божий, да люди царские бесы звериные...

— А ну-ка, Василь Степаныч! укажи место, где можно стрелять из пистоля — дай поучу?

Юноша вихрем сорвался с лавки.

— Ай да, станишник! Матушку почесть что излечил, да меня обучит.

— Ой, куда вы, соколики? Поешьте там подите, да ты, Васильюшко, принеси гостю из сундука, что в углу, бахилы и посацкую одежу с шапкой...

— Покуда ты, хозяюшка, собираешь стол — мы оборотим!

Лазунка с Васильем ушли. Ириньица, собирая еду, да ставя кувшины с квасом, брагой и медом, слышала уханье выстрелов за дверями вверху дома.

— Созовут стуком огненным беду, учуют сыщики, всюду рыщут!

Скоро оба вернулись.

— Целой клад, матушка, наш гость! Как он бьет из пистоля, я таких еще не видал бойцов... в шапку, глянь, шапку кидал — пробита, в пугвицу попадает — беда!

Лазунка, выпивая и закусывая, сказал:

— Работничек я твоего батюшки, Василей!..

Ириньица погрозила глазами Лазунке — сказала:

— Сходи, сынок, коли подкормился, принеси ему платье обменить... Надо гостю Москву позреть.

Юноша ушел. Ириньица обратилась к Лазунке:

— Пока что — говорила я ему, сынку-то: «отец-де помер», иначе зачнет еще думать худое, — что зауголок он прижитой кой-где, и меня перестанет любить — того боюсь!

Лазунка переоделся в принесенную одежду. Ириньица собрала его казацкое платье, в узел завязала крест-на-крест рушниками.

— Куда, гость голубь, прикажешь саблю скласть? — Али все в горницу, где опочивал, положить?

— Все прячь, хозяюшка, пистоли тож, окромя одного, кой помене, тот заберу с собой. А теперь, Васинька, новой стрелец-молодец, пойдем Москву глядеть!

— Ты, дитятко, на весь день не уходи — надобен!

— Верну скоро, мама!

Оба ушли.

*(Окончание следует).*

# Растратчики.

**Повесть.**

*(Продолжение).*

**Валентин Катаев.**

## Глава четвертая.

На другой день Филипп Степанович проснулся в надлежащем часу утра... У каждого человека своя манера просыпаться утром после пьянства. А так как ничто не чуждо советского гражданина, то нет ничего удивительного в том, что один советский гражданин просыпается так, другой этак, а третий и вовсе предпочитает не просыпаться и лежит, оборотившись к стенке и зажмурившись, до тех пор, пока друзья не догадаются принести ему половинку очищенной и огурец.

Мучительней же всех переживают процесс пробуждения после безобразной ночи пожилых лет бухгалтера, обремененные семейством и имеющие склонность к почечным заболеваниям.

Подобного сорта гражданин, обыкновенно, проснувшись, долго лежит на спине с закрытыми глазами, в тревоге, и ощущая вокруг себя и в себе такой страшный гул и грохот, словно его куда-то везут на крыше товарного поезда, подсчитывает, сколько денег пропито, сколько осталось и как бы протянуть до ближайшей получки. При этом коленки у него крупно и неприятно дрожат, пятки неестественно чешутся, на глазу прыгает живчик, а в самой середине организма, не то в животе, не то под ложечкой, образуется жжение, сосание и дикая пустота. И лежит гражданин на спине, не смея открыть глаза, мучительно припоминая все подробности вчерашнего свинства, в ожидании того страшного, но неизбежного мига, когда над диваном (в громадном большинстве случаев подобного сорта пробуждения происходят отнюдь не на супружеской постели), когда над диваном появится едкое лицо супруги и раздастся хорошо знакомый, соленый голос: «Посмотри на себя в зеркало, старая свинья, на что ты похож? Продери свои бессовестные глаза и взгляни на что похож твой пиджак — вся спина белая! Интересно знать, в каких это ты притонах вывалялся так!».

Боже мой, какое унизительное пробуждение! И подумать только, что еще вчера вечером «старая свинья» катил через весь город с толстой

ımoй на лихаче на дутых колесах, со шляпой, сдвинутой на затылок
облезлым букетом в руках, и прекрасная жизнь разворачивалась перед
ім всеми своими разноцветными огнями и приманками, и был сам чорт
ıy не брат!

Какое гнусное пробуждение: справа — печень, слева — сердце, ıереди — мрак. Ужасно, ужасно!

Итак, Филипп Степанович проснулся, и проснувшись испытал все то, ;о ему надлежало испытать после давешнего легкомысленного поведения.

В ушах стоял шум курьерского поезда. Пятки чесались. На глазу рыгал живчик. Ужасно хотелось пить. Стараясь не открывать глаз, и стал припоминать все постыдные подробности вчерашнего вечера. — Іозвольте,— думал он, — как же это все, однако, произошло? Во-первых, аничка. Почему именно Ваничка, откуда он взялся? Впрочем, нет. о-первых, Никита. Еще более странно. Впрочем, нет. Во-первых, страшый, семейный скандал». — Филипп Степанович, вдруг, во всех подробостях, вспомнил вчерашнее побоище, рябые розы, летающую колбасу, зничтоженную клетку и прочее, и стал пунцовый. Его прошиб горячий от. Тут же он восстановил и все остальное. — «Как же это меня угораздило? Очень неприятная история», — пробормотал он, еще плотнее зажмурил глаза.

Он припомнил бумажные цветы на столиках в «Шато де флер», гены, расписанные густыми, кавказскими видами, звуки струнного ркестра, селедку с гарниром, вдребезги пьяного Ваничку и двух девиц, оторые требовали портвейн и курили папиросы... Одна из них была каракулевом манто — Изабелла, другая — Ваничкина, худая... Да, го же было потом? Потом на сцену вышли евреи, одетые в малороссийские убахи и синие шаровары, и стали танцовать гопака, с таким усердием, овно хотели забросить свои руки и ноги на чердак. Потом Ваничка дал ому-то по морде кистью вялого винограда. Впрочем, это было, кажется, е-то уже в другом месте. Потом Никита посоветовал ехать на вокзал. ли нет: Никита был где-то раньше и раньше советовал, а, впрочем, может ыть и нет... Потом в отдельном кабинете, где висела пикантная картина черной раме, под ветвистыми оленьими рогами, официант в засаленном аке развратно выпалил из бутылки шампанского и пробка порхнула, ик бабочка. Потом Ваничка стоял посередине чего-то очень красного, гался по матери и блевал себе на сапоги. Потом из крана Филипп Степаович обливал голову и вода текла за шиворот. Потом, обхватив за талию забеллу, он мчался, сломя голову, на извозчике под неким железнодоожным мостом, при чем все время боялся потерять Ваничку с Никитой опоздать куда-то, а впереди светился багровый циферблат. Что было отом и как он добрался домой, Филипп Степанович, решительно, помнил, кроме того, что, кажется, его доставил на квартиру и уложил постель какой-то не то кондуктор, не то армянин с усами, но это уже ло совершенной дичью. Одним словом давно уже, лет десять, Филипп епанович так не надирался и не вел себя столь безнравственно.

Сделав этот печальный вывод, бухгалтер стал приблизительно подсчитывать и припоминать, сколько он истратил денег из завтрашней, то-есть сегодняшней, получки. Выходило, что рублей пятьдесят, не меньше. И то — неизвестно сколько содрали за шампанское. Филиппа Степановича вторично ударило в пот, на этот раз — холодный. Он прислушался. В квартире была подозрительная тишина. Только в ушах летел гулкий и беглый грохот, и казалось, что диван раскачивается и поворачивается на весу. — «Или очень рано, или очень поздно. Однако я вчера хватил через край. Э, будь, что будет...»

Он тоскливо замычал, потянулся, открыл глаза и увидел, что лежит на нижнем диване в купэ мягкого железнодорожного вагона. Было уже вполне светло. По белому прямоугольнику стрекочущего стекла, исцарапанного стеклянным пунктиром дождя, быстро мелькали серые тени. С гулом и грохотом, перебитым тактами стыков, поезд летел полным ходом.

На противоположном диване сидела Изабелла в белой шляпке, несколько съехавшей на бок, и, разложив на коленях непомерной величины лаковую сумку, похожую на некое выпотрошенное панцырное животное, быстро пудрила лиловый, картошкообразный нос. Ее большие дряблые щеки в такт вагонному ходу, тряслись, как у мопса. В толстых ушах качались грушевидные фальшивые жемчуга.

— Что это происходит? — хрипло воскликнул Филипп Степанович и быстро сел. — Куда мы едем?

— Здрасте, — ответила Изабелла, — с новым годом. К Ленинграду подъезжаем.

В глазах у бухгалтера потемнело.

— А где Ваничка?

— Где ж ему быть, вашему Ваничке? На верхней койке над вами. Тут у нас вполне отдельное купэ. Вроде семейных бань. Определенно.

Филипп Степанович встал и заглянул на верхнее место. Ваничка лежал на животе, свесив вниз голову и руку.

— Ваничка, — тревожно сказал Филипп Степанович, — Ваничка, мы едем!

Кассир молчал.

— Вы их лучше не тревожьте, — заметила Изабелла, выпятив живот и завязывая сзади на бумазейной юбке тесемки.

Она завязала их, подтянула юбку жестом солдата, подтягивающего шаровары, оправилась, запахнулась в каракулевое манто и уселась на диванчик, закинув ногу на ногу.

— Вы их лучше не тревожьте, они сейчас переживают любовную драму. Ихняя жена ночью в Клину с поезда сошла, как ни в чем не бывало, такая, я извиняюсь за выражение, стерва.

— Какая жена? — ахнул Филипп Степанович.

— А такая самая, как вы мне муж, — кокетливо захихикала Изабелла и ударила Филиппа Степанович ридикюлем по желтой шее. — Какие они мужчины! Строют вид, что ничего не помнют!

И она подмигнула, намекая.

Филипп Степанович пошарил на столике пенснэ, нашел его, посадил а нос и поглядел на Изабеллины ноги. Они были толстые, короткие, бутые в пронотевшие, белые, бурковые полсапожки, обшитые по швам ожаной полоской, на кожаных стоптанных каблуках.

— О чем вы задумались? — весело спросила Изабелла, тесно подсаживаясь к Филиппу Степановичу.

Она пощекотала ему под носом перышками шляпы и задрала юбку о колена, — прельщала.

— Не будьте такой задумчивый. Фи, как это вам не подходит! ерите с меня пример. Давайте будем мечтать, как мы будем веселиться Ленинграде.

Филипп Степанович понял все и ужаснулся. Между тем, Ваничка ошевелился у себя на койке и охнул.

— Едем, Филипп Степанович? — слабо спросил он.

— Едем, Ваничка.

— А уж я думал, может, приснилось...

Ваничка медленно слез сверху с портфелем подмышкой, покрутил зъерошенной головой, обалдело улыбнулся и еще раз охнул. Изабелла ыстро поправила шляпку и, потеснее прижавшись к Филиппу Степановичу, сказала:

— Вы, Ваничка (я извиняюсь, молодой человек, что называю вас, как ваш товарищ, просто Ваничка), зря себя не расстраивайте из-за этой адюки. Эта такая, извините меня за выражение, паскуда, которая совершенно не знает, с какими людями она имеет дело. И пусть она пропадет к чортовой матери в Клину. Пусть ее заберет железнодорожный мур, вы не расстраивайтесь через нее, молодой человек. Наплюйте на нее аз и навсегда. Вот, даст бог, приедем в Ленинград, — в Ленинграде, ежду прочим, мебель дешевая. И главное, я же их предупреждала насчет евушки и под столом ногой толкала, и ваш сослуживец, который окупал билеты, может это подтвердить.

— Кто покупал билеты? Какой сослуживец? — воскликнул ухгалтер.

— А я не знаю, кто они такие... Вы их возле «Шато де флер» на улице одобрали, а потом они с нами всюду ездили... Будто называли, Никита. роде курьер из вашего учреждения.

— Никита! — застонал Филипп Степанович, берясь за голову. — лышишь, Ваничка, Никита! Совершенно верно, теперь я припоминаю. Именно Никита. О, подлый, подлый, безнравственный курьер, который, лавное, на моих глазах растрачивал деньги уборщицы Сергеевой. Вот кто все это наделал!

— Он, он! Как же. Он и на вокзал посоветовал ехать, он и билеты окупал, он и в купэ усаживал. Тоже порядочно подшефе. Речи всякие а вокзале в буфете I класса произносил насчет путешествий по городам и насчет того, кому какая планета выпадет... Сам еле на ногах стоит...

А, между прочим, вокруг публика собирается. Все смеются. И смеш
знаете, и за них неудобно...

Выслушав все это, Филипп Степанович, взял Ваничку под ру и повел его по мотающемуся коридору в уборную. Тут сослуживцы запе лись и некоторое время стояли в тесном пространстве, не глядя др на друга. Цинковый пол с дыркой посередине плавно подымался под подошвами и опускался трамплином. Из раковины снизу дуло свеж ветром движения. Графин с желтой водой шатался в деревянном гне и в нем плавала дохлая муха вверх лапами. Пахло новой масляной краск В зеркале, по отражению рубчатого матового окна, быстро летели те

— Представьте себе, товарищ бухгалтер, — наконец произ бледный Ваничка, косо улыбаясь, — эта сука, кажется, вытащила у ме из портфеля сто червонцев и слезла ночью в Клину; будьте свидете

Филипп Степанович помочил из умывальника виски и махн рукой.

— Чего там, свидетелем. Вообще, прежде всего, Ваничка, нам на проверить наличность.

Сослуживцы присели рядом на край раковины и принялись за по счет. Оказалось, что всего в наличности имеется 10.704 рубля с копейка

Несколько минут сослуживцы молчали, точно убитые громом. С жу жанием круглого точильного камня, в дырке раковины, мелькало и несл железнодорожное полотно.

— Итого, кроме своих, нехватает 1.296 рублей, — наконец выговор Ваничка и осунулся.

Бухгалтер сделал руку ковшиком, напустил из крана тепловат воды и, моча усы, с жадностью напился.

— Что же это будет? — прошептал Ваничка, чувствуя, как у не от ужаса отрывается и умирает желудок.

Он машинально посмотрел в зеркало, но вместо лица увидел в не лишь какую-то бледную, тошнотворную зелень.

— Что ж это будет?

Филипп Степанович еще раз напился, высоко поднял брови и выт усы дрожащим рукавом.

— Ничего не будет, — сказал он спокойно и сам удивился свое спокойствию.

Ваничка с надеждой посмотрел на своего начальника. А Фили Степанович вдруг крякнул и, совершенно неожиданно для самого себ игриво и загадочно подмигнул.

— Заявим? — спросил Ваничка робко.

— Зачем заявлять? Ерунда. Едем и едем. И точка. И в чем де

Он еще раз подмигнул, крепко взял Ваничку худыми пальцами з плечо и пощекотал его ухо усами, от которых еще пахло вчерашн спиртом.

— В Ленинграде не бывал?

— Не бывал.

— Я тоже не бывал, но, говорят, знаменитый город. Европейский центр. Не мешает обследовать. Увидишь — обалдеешь.

— А, может быть, как-нибудь покроем?

Филипп Степанович осмотрел Ваничку с видом полнейшего превосходства и снисходительной иронии, а затем легонько пихнул его локтем под ребра.

— А женщины, говорят, по ленинградским ресторанам сидят за столиками такие, что умереть можно. Все больше из высшего общества. Бывшие графини, бывшие княгини...

— Неужели, Филипп Степанович, и княгини?

Бухгалтер присосал носом верхнюю губу и чмокнул, как свинья.

— Я тебе говорю — обалдеешь. Премированные красавицы. Мы их в первую же голову и обследуем.

Ваничка порозовел и хихикнул.

— А как же эта дамочка в каракулях?

Филипп Степанович подумал, приосанился и хмуро взглянул на себя в зеркало.

— Сократим. И точка. И в чем дело?

Уже давно снаружи кто-то раздраженно вертел ручку уборной.

— Пойдем, Ваничка, не будем задерживать. Забирай свою канцелярию. И главное не унывай.

Они вернулись в купэ. Впереди Ваничка с портфелем подмышкой, а сзади строгий Филипп Степанович. Проводник уже убирал постельные принадлежности и опускал верхние диваны. В купэ стало просторней и светлей. На столике перед окном лежал бумажный мешок с яблоками, жареная курица, булка и шаталась бутылка водки. Изабелла торчала у окна и, тревожно вертясь, жевала яблоко.

— Где же это вы пропадали? Я так изнервничалась, так изнервничалась. Верите ли, даже на площадку выбегала, проводник может подтвердить.

И она прижалась к Филиппу Степановичу, положив ему на плечо шляпу. Филипп Степанович освободил нос из поломанных перьев и отстранился. Изабелла встревожилась еще больше. Такое поведение любовника не предвещало ничего хорошего. Увы! — она слишком хорошо изучила повадки удовлетворенных мужчин. Ей стало совершенно ясно, что ее ночная красота, при дневном освещении, безнадежно теряет свои чары и власть. И это было ужасно обидно и невыгодно. Нет, она решительно не могла допустить, чтоб сорвался такой хороший фрайер с такими приличными казенными деньгами. Тут надо сделать все что угодно, расшибиться в лепешку, пустить в ход все средства, лишь бы удержать его. И она их пустила.

Чересчур весело и поспешно, словно боясь упустить хотя бы одну секунду драгоценного времени, Изабелла принялась обольщать. Она запахивала и распахивала манто, выставляла напоказ большой бюст, садилась на колени к Филиппу Степановичу, шаловливо называла

Ваничку «наш незаконный сын» и хлопала его ридикюлем по спине. Она хлопотливо раздирала курицу и заботливо совала Филиппу Степановичу в рот пупырчатую ножку. При этом она без умолку болтала и напевала шансонетки времен дела Дрейфуса. Колеся по купэ, она тщательно избегала попадать лицом к свету, если попадала, — закрывалась до носа воротником, залазила, как кошечка, в самый темный угол дивана и оттуда хихикала.

Потом она выбежала в коридор и капризным визгливым голосом кликнула проводника. Несколько инженеров, возвращавшихся в Ленинград с Волховстроя, высунулось из соседнего купэ и с веселым любопытством оглядели ее кривую шляпку и бурковые полсапожки. Сделав инженерам глазки, она назвала явившегося проводника миленький и дуся и попросила принести стакан. Проводник принес фаянсовую кружку с трещиной, Изабелла вручила ему кусок курицы и сказала:—«Пожалуйста, скушайте на здоровье курочку, не стесняйтесь». Затем она налила полкружки горькой и поднесла Филиппу Степановичу опохмелиться. Филипп Степанович поморщился, но выпил. Выпил и Ваничка. Проводник тоже не отказался, крякнул, закусил курицей, постоял для вежливости в дверях и, пососав усы, ушел. После этого Изабелла выпила сама глоток, задохнулась, блаженно заплакала и сказала:

— Не переношу я этой водки! Я обожаю дамский напиток портвейн № 11.

Выпив, бухгалтер оживился, к нему вполне вернулась снисходительная уверенность и чувство превосходства над окружающими. Он выбрал из разломанной коробки посольских непривычно толстую, сырую папиросу, не без труда закурил, поморщился и сказал, что эта тридцатиградусная водка ни то, ни се, а чорт знает что и что в свое время со стариком Саббакиным они пивали такую водку у Львова, что дух захватывало.

— А, говорят, скоро сорокаградусную выпустят, — живо поддержала разговор Изабелла. — Даст бог доживем, тогда вместе выпьем.

И она многозначительно пожала ногу Филиппа Степановича.

— И очень даже просто, — заметил Ваничка.

Затем они допили водку. Настроение, испорченное неприятным пробуждением, быстро поправлялось. Ваничка слегка охмелел и, вытянув грязные сапоги, стал мечтать о воображаемой барышне, с которой он якобы едет в обнимку на извозчике и целуется. Потом мимо него поплыла оранжевая вязаная шапочка и милое лицо с нахмуренными бровями. Он сделал усилие, чтобы остановить его, но оно, как и давеча, все плыло, плыло и вдруг проплыло и пропало. Тогда Ваничка положил подбородок на столик и печально замурлыкал: «Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки».

Изабелла истолковала это по-своему и сочувственно погладила его по голове.

— Вы, Ваничка, не скучайте. Забудьте эту негодяйку. Приедем, я вас познакомлю с одной моей ленинградской подругой, она вам не даст скучать. Определенно.

Филипп Степанович выпустил из носу толстый дым и сказал:

— Посмотрим, какой такой ваш Ленинград, обследуем.

— Останетесь в восторге. Там во Владимирском клубе, можете представить, прямо-таки настоящие пальмы стоят и кабарэ до пяти часов утра. В рулетку игра идет всю ночь. Одна моя ленинградская подруга — тоже, между прочим, довольно интересная, но, конечно, не так, как та, про которую я говорила Ваничке — за один вечер, ей богу, выиграла четырнадцать червонцев и, между прочим, на другой же день у нее вытащили деньги в трамвае... Между прочим в Ленинграде все проспекты. Что у нас просто улица, то у них проспект. Определенно.

— Н-да. Невский проспект, например, — подтвердил Филипп Степанович, — для меня этот факт не нов. Увидим. Обследуем. И точка.

Его уже разбирало нетерпение поскорее приехать.

Между тем поезд бежал по совершенно прямому, как линейка, полотну, на всех парах приближаясь к Ленинграду. Низкая, болотистая, облитая дождем, ровная земля, поросшая не то кустарником, не то мелколесьем, скучно летела назад, чем ближе к полотну — тем быстрее, чем далее — тем медленнее и где-то очень далеко на горизонте, во мгле, словно и вовсе стояла на месте, чернея обгорелыми пнями. Через каждые шесть секунд мимо окна проплывал прямой и тонкий, темный от дождя, телеграфный столб. Штабели мокрых березовых дров, поворачиваясь углами, быстро проскакивали на полустанках. Тянулись вскопанные огороды полосы отчуждения и будки стрелочников.

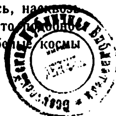
Проводник принес билеты и потребовал за постельные принадлежности. Филипп Степанович распорядился, и Ваничка выдал. Получив, кроме того, трешку на чай, проводник объяснил, что через десять минут будет Ленинград, и поздравил с благополучным прибытием.

Филипп Степанович обстоятельно осмотрел билеты и передал их Ваничке.

— Ваничка, приобщи эти оправдательные документы к делу, — сказал он с той неспешной и солидной деловитостью, с какой, обыкновенно, относился на службе к подчиненным.

И в его тронутом воображении вся эта поездка вдруг представилась, как весьма ответственная служебная командировка, имеющая важное государственное значение.

Мимо окон пошли тесовые дачи в шведском стиле, заборы, шлагбаумы, за которыми стояли городские извозчики. Потом мелькнули полуразрушенные кирпичные стены какого-то завода, ржавые котлы, железный лом, скелет висящей в воздухе водопроводной системы... Потом потянулась длинная, тусклая вода. Она все расширялась и расширялась, насквозь продернутая оловянной рябью, пока не превратилась в нечто подобное реке. За нею, за этой водой, сквозь дождевой туман, сквозь белые космы



испарений, от одного вида которых делалось холодно и противно, надвигался темный дым большого города. Поезд уже шел среди товарных вагонов и запасных путей. Лучезарные плакаты курортного управления, развешенные между окон в коридоре, вдруг выцвели и покрылись полуобморочной тьмой. Вагон вдвинулся, как лакированная крышка пенала, в вокзал и туго остановился. Вошли ленинградские носильщики.

— Приехали, — сказала Изабелла и перекрестилась. Она подхватила Прохорова под руку и добавила хозяйственным голосом: — Я думаю, котик, мы сейчас поедем прямо в гостиницу «Гигиена»?

Бухгалтер мрачно поглядел на Ваничку, как бы ища спасения, но спасения не нашел.

— Поедем, Ваничка, в гостиницу «Гигиена», что ли?

— Можно в «Гигиену», Филипп Степанович.

Все трое немного потоптались на месте и выбрались из вагона на мокрый перрон.

С грязных ступеней вокзала им открылся первый вид Ленинграда: просторная каменная площадь, окруженная грифельными зданиями, будто бы обтертыми мокрой губкой. Посередине площади, уставив широкий упрямый грифельный лоб на фасад вокзала, точно желая его сдвинуть с места, стояла на пьедестале, расставив ноги, отвратительно толстая лошадь. На лошади тяжело сидел, опустив поводья, большой толстый царь с бородой, как у дворника. На цоколе большими белыми буквами были написаны стишки, начинавшиеся так: «Твой сын и твой отец народом казнены». Туша лошади и всадника закрывала боком очень широкую прямую улицу, полную голубого воздуха, пресыщенного мелким дождем. То там, то здесь золотился жидкий отблеск, уже зажженных или еще не погашенных, огней. Вокруг площади со скрежетом бежали тщедушные вагоны трамвая, сплошь залепленные билетами и ярлыками объявлений — ни дать, ни взять сундуки, совершающие кругосветное путешествие. Просторный незнакомый город угадывался за туманом, обступившим площадь. Он манил и пугал новизной своих, неизведанных еще, улиц, как-то намекал, подмигивая зеленоватыми огоньками, что, мол, там есть еще где-то и дворцы, и мосты, и река, которые своевременно будут показаны путешественникам.

Филипп Степанович и Ваничка остановились на верхней ступеньке и глубоко вдохнули в себя большой влажный воздух Ленинграда. Они пощупали тяжелые боковые карманы, переглянулись и почувствовали одновременно и легкость, и жуть, и этакое даже островатое веселье.

— Эх! Чем чорт не шутит!

И какие-то очкатые иностранцы, в широко скроенных и ладно сшитых оверкотах, приехавшие в международном вагоне со множеством первоклассных чемоданов, не без любопытства наблюдали, усаживаясь в наемный автомобиль, как трое странных русских, двое мужчин и одна дама, безо всякого багажа взгромоздились на необычайного русского извозчика

и поехали рысцой прочь от вокзала в туманную перспективу широченной русской улицы.

Экипаж отчаянно трясло по выбитым торцам бывшего Невского проспекта, и Изабелла высоко подпрыгивала, гупая задом по худосочным коленям бухгалтера и кассира. Ее шляпа реяла под дождем и ныряла, как подбитая чайка.

Ваничка осторожно толкнул Филиппа Степановича плечом и показал глазами на Изабеллину спину, как бы говоря: «Ну?» — Филипп Степанович прищурил один глаз, устроил гримасу страшной кислоты и мотнул головой: «Мол, ничего, отделаемся как-нибудь».

А Изабелла прочно подпрыгивала на их коленях и думала: — «Мне бы только добраться с вами, голубчики, до «Гигиены», а там уж вы от меня не отвертитесь».

## Глава пятая.

> Люблю тебя, Петра творенье!
> (Пушкин).

Через три дня после означенных происшествий, Филипп Степанович и Ваничка сидели в номере гостиницы «Гигиена» и вяло пили портвейн № 11.

— Ну? — спросил Ваничка шопотом.

— Вот тебе и ну, — ответил Филипп Степанович мрачно, но тоже шопотом.

— Странный какой-то город все-таки, Филипп Степанович: деньги есть, все дешево, а веселиться негде.

— Это смотря как взглянуть на веселье... Однакож довольно скучно.

— Между прочим, я думаю на-днях приобрести себе гитару. Приобрету и буду играть.

— Гитару? — Филипп Степанович задумчиво выпустил из усов дым, зевнул и похлопал ладонью сверху по стакану, — народную цитру с нотами было бы лучше. Или мандолину. На мандолинах итальянцы играют серенады.

— Можно и мандолину, Филипп Степанович...

На этом месте разговор сам по себе угас. Действительно, было довольно скучно. Надежды на роскошную жизнь пока что оправдывались слабо, хотя уже многие удовольствии были испробованы. Во всяком случае Изабелла очень старалась. Сейчас же после прибытия в номера «Гигиена», она отлучилась и вернулась с обещанной Ваничке подругой. Подруга оказалась девицей костлявой, ленивой и чудовищно высокого роста. Называлась она — Мурка. Придя в номер, Мурка сняла кожаную финскую шапочку, поправила перед зеркалом жидкие волосы и, как была, в мокром пальто села на колени к Филиппу Степановичу. «Не надо быть

таким скучным, — сказала она лениво и положила острый подбородок на бухгалтерову ключицу, — забудьте про свою любовь и давайте лучше веселиться. Подарите мне четыре червонца». — «Ты, Мурка, на моего хахаля не садись! — воскликнула Изабелла, захохотав, — иди к своему жениху». Тогда Мурка, не торопясь, встала с колен бухгалтера, сказала: — «Я извиняюсь», поймала на стене клопа, убила его тут же указательным пальцем и села на колени к Ваничке. — «Забудьте про свою любовь, — сказала она, — и давайте веселиться. Подарите мне четыре червонца. Ближе к делу». Ваничку бросило в жар, и он пообещал подарить, а потом все вместе поехали обедать в пивную у Пяти Углов. За обедом выпили. После обеда поехали на извозчиках в кинематограф. Картина не понравилась: белогвардейские офицеры расстреливали коммуниста; партизаны, размахивая шашками, зверски скакали на лошадях, стиснутые клубами красного дыма; один в пиджаке втаскивал на крышу пулемет; а в это время кокотка держала в черных губах длинную папироску и нюхала цветы... — кажется, при своих суммах можно было увидеть картину поинтереснее! Потом сели на извозчиков и поехали в другой кинематограф освежиться, но не освежились, так как не поглядели на афишу и, когда вошли в зал, — на синем экране тот же самый в пиджаке волок на чердак пулемет. Однако не ушли — жаль было денег, — досмотрели до конца и поехали на извозчиках кутить в ресторан. Там, знакомые по Москве украинцы в синих шароварах танцовали гопака, на столиках стояли сухие цветы в бумажных лентах, селедка с петрушкой во рту лежала, распластав серебряные щечки среди пестрого гарнира, а дамы требовали то портвейн № 11, то апельсинов, то паюсной икры — лишь бы подороже — и по очереди отлучались из-за стола, каждый раз прося два рубля на уборную. Таким образом кутили до самого закрытия, а затем, очень пьяные, поехали на извозчиках продолжать кутеж в знаменитый Владимирский клуб. Во Владимирском клубе, точно, имелись пальмы в зеленых кадках и играли в рулетку. Дым стоял коромыслом, а на эстраде уже танцовали гопака. Посидели в общей зале, но так как Ваничка порывался на эстраду и желал исполнять куплеты, пришлось перейти в отдельный кабинет. Безо всякого аппетита ели свиные отбивные котлеты и пили портвейн, херес, пиво, — что попало. Когда же от хереса стало гореть в горле, а глаза сделались маринованные — тогда пошли в игорную залу. Стоит ли описывать, как играли? Дело известное. В рулетку везло, в девятку не везло. Женщины страшно волновались, просили на счастье и бегали между столов, красные и злые, спеша сделать ставку и примазаться. Потом в рулетку не везло, а в девятку везло. Потом и в рулетку не везло, и в девятку не везло. Это продолжалось до четырех часов утра. Тут же познакомились со многими компанейскими парнями и вместе с этими компанейскими парнями перешли в большой кабинет с фортепиано; позвали двух куплетистов и выпили уйму водки. От всего дальнейшего у сослуживцев осталось впечатление сумбура и дешевизны: украинской капелле было заплочено кроме ужина всего тридцать рублей, куплетистам — пятнадцать, да рубль на извозчика,

компанейские парни стоили дороже, в среднем по два червонца на брата. А чтобы дамам не было обидно, дали и дамам по червонцу. Белым утром приехали на извозчиках домой в «Гигиену». На другой день встали поздно, пили содовую воду, пиво и без всякого удовольствия жевали дорогие груши. Перед обедом заперлись в уборной и подсчитали суммы. Затем поехали на извозчиках обедать и во всем повторили вчерашнее.

Кроме этого сослуживцы в Ленинграде покуда ничего не испробовали, хоть заманчивый город ходил вокруг них да около, подмигивая в тумане огнями неизведанных улиц. Все собирались выбраться как-нибудь вдвоем из-под дамской опеки и досконально обследовать ленинградские приманки — бывших графинь и бывших княгинь, и шумовой оркестр, и «Бар», и многое другое, о чем достаточно были наслышаны от компанейских парней Владимирского клуба, да не тут-то было! Изабелла хорошенько прибрала к рукам Филиппа Степановича и крепко гнула свою линию: никуда не пускала мужчин одних. А если сама отлучалась ненадолго из «Гигиены», то оставляла Мурку караулить.

Теперь Изабелла была в городе за покупками. В соседнем номере валялась на диванчике Мурка, изредка поглядывая в открытую дверь — на месте ли мужчины — и, равнодушно зевая, вынимала из уха шпилькой серу. По этому самому Филипп Степанович и Ваничка вели беседу шопотом:

— Все-таки, Филипп Степанович, как же насчет того, чтобы обследовать город? — сказал после некоторого молчания Ваничка.

— Обследовать бы не мешало, — ответил Филипп Степанович, — будем здоровы!

Сослуживцы хлопнули по стакану и закусили грушами бера.

— Я думаю, Филипп Степанович, что уж, если решили обследовать, то и надо обследовать. К чему зря время проводить с этими дамочками?

— Вы так думаете? — спросил Филипп Степанович и прищурился.

— А то как же! Будет.

— И точка. Едем.

Бухгалтер решительно встал и надел пальто. Тут Мурка неохотно сползла с дивана и сказала в дверь:

— Куда же мы поедем? Подождемте, граждане, Изабеллочку. Она сию минутку вернется.

Филипп Степанович окинул ее поверхностным взглядом.

— Вы, мадам, продолжайте отдыхать на диване. Вас это не касается. Идем, Ваничка.

— Мне это довольно странно, — сказала Мурка и обиделась, — а вам, Ваничка, стыдно так поступать с девушкой.

Ваничка сделал вид, что не слышит и надел пальтишко. Мурка подошла и взяла его за портфель.

— Я от вас этого не ожидала, Ваничка (кассир молча отстранился). Что ж вы молчите?

Решительно не зная что предпринять, Мурка сделал попытку зарыдать и упасть в обморок, но в силу природной лени и полного отсутствия темперамента, это не вышло. Она только успела заломить руки и издать горлом довольно-таки странный звук, как Филипп Степанович вдруг весь заклокотал, выставил желтые клыки и рявкнул:

— Молчать!

Он был страшен. Мурка съежилась и захныкала в нос. Филипп Степанович спрятал клыки и спокойно распорядился:

— Товарищ кассир, выдайте барышне компенсацию.

Ваничка вытащил из кармана четыре червонца, потом подумал, прибавил еще два и дал Мурке.

— Мерси, — сказала Мурка, заткнула бумажки в чулок и лениво пошла лежать на диван.

Сослуживцы с облегчением выбрались из гостиницы, но едва успели пройти десяток шагов по улице, как нос к носу увидели Изабеллу, которая катила на лихаче, в розовой шляпке с крыльями. Вся заваленная покупками, она нетерпеливо колотила извозчика между лопаток новеньким зеленым зонтиком. Ее ноздри раздувались. По толстому возбужденному лицу текла, размытая дождями, лиловая пудра. Серьги и щеки били в набат. Повидимому, ее терзали нехорошие предчувствия. Она уже проклинала себя за то, что так долго задержалась в городе. Правда, она успела обделать все свои делишки — положить на книжку четыреста семьдесят рублей, купить шляпку, зонтик, ботики, набрать на платье и заказать у белошвейки два гарнитура с мережкой и лентами, но все-таки — было чересчур неосторожно оставить мужчин одних под охраной Мурки. Мужчина — вещь ненадежная, особенно если у него в кармане деньги. Изабелла ужасно беспокоилась. Густой жар валил от лошади.

— А... Изабеллочка!.. — слабо воскликнул Филипп Степанович, льстиво улыбаясь, и уже готов был встретиться глазами с поровнявшейся подругой, как вдруг из-за угла выполз длинный грузовик «Ленинградтекстиля», ударил брызгами, шарахнул бензином... Оглушил и разъединил.

— Не увидит, — шепнул Ваничка,— ей богу не увидит! Ей богу, Филипп Степанович, проедет! Прячьтесь!

С этими словами он втащил обмякшего бухгалтера в ближайшую подворотню. И точно — Изабелла проехала мимо, не заметив. Прождав минут пять в подворотне, сослуживцы выбрались из засады и бросились к извозчику.

— Куда прикажете?

— Валяй, братец, пожалуйста, все прямо и прямо, куда хочешь, только поскорей! — задыхаясь, крикнул Филипп Степанович, — пятерка на чай!

Извозчик живо сообразил, что тут дело не шуточное, привстал на козлах, как на стременах, дико оглянулся, перетянул вожжами свою кобылку вдоль спины и так пронзительно гикнул, что животное понеслос

вскачь со всех своих четырех ног и скакала до тех пор, пока не вынесла седоков из опасных мест.

Не трудно себе представить, что произошло в номерах «Гигиена», когда Изабелла, явившись туда, обнаружила исчезновение мужчин. Сцена между двумя женщинами была так стремительна, драматична и коротка, изобиловала таким количеством восклицаний, жестов, интонаций, слез, острых положений и проклятий, что изобразить все это в коротких словах — дело совершенно безнадежное.

Между тем сослуживцы трусили по широким пустоватым проспектам, затянутым дождливым туманом и беседовали с извозчиком.

— Ты, извозчик, вот что, — сказал Филипп Степанович, постепенно приходя в себя и набираясь своего обычного превосходства и строгости, — вези ты нас, извозчик, теперь по самым вашим главным улицам. Мы тут у вас люди новые. Приехали же мы сюда, извозчик, из центра, по командировке, для того, чтобы, значит, обследовать, как у вас тут и что. Понятно?

— Понятно, — ответил извозчик со вздохом и сбоку поглядел на седоков, думая про себя: «Знаем мы вас, обследователей, а потом шмыг через проходной двор и досвидания», но все-таки подтвердил: — Так точно. Понятно.

— Так вот и вези нас таким образом.

— Овес, эх, нынче дорог стал, барин, — заметил извозчик вскользь.

— Ладно, ты нас вези главное, показывай достопримечательности, а насчет овса не беспокойся — не обидим.

— Покорно благодарим. Можно и показать, что жа. Только кто чем, ваше здоровье, интересуется... Тут, например, невдалеке есть одно местечко, называется Владимирский клуб, — туда разве свезти? Некоторые господа интересуются. Там, между прочим, пальмы стоят, во Владимирском клубе-то.

— Нет, только, пожалуйста, не туда. Это нам известно. Ты нас вези подальше от Владимирского клуба, куда-нибудь на этакий Невский проспект или туда, где есть мосты. Одним словом, чтоб можно было различные монументы посмотреть.

— Можно, ваше здоровье, и на Невский. Только он у нас теперь, извините, называется «25 Октября». Что жа. Там и мосты найдутся. Допустим, есть Аничков, где лошади. Если же дальше по «25 Октября» ехать, то, аккурат, к Гостиному двору приедешь. А еще, ежели, подалее, то и до самой Морской улицы можно доехать,— направо своротить, тут тебе сейчас же и главный штаб, тут тебе и Зимний дворец, где цари жили, тут тебе и Эрмитаж на Миллионной улице. Тоже места стоющие — это как прикажете.

— Вот ты нас и вези туда, куда хочешь.

— Что жа! Но, милая!

Извозчик расшевелил вожжами кобылку, и перед взорами путешественников пошли-поплыли, раздвигаясь, царственные красоты бывшей

столицы. Невский проспект тянулся всей своей незаполнимой шириной и длиной, всеми своими, еще не зажженными фонарями, редкими пешеходами, магазинами, трестами, чистильщиками сапог, лотошниками, слабо заканчиваясь где-то невероятно далеко знаменитой иглой. За оградой Екатерининского сквера мелькнула невозмутимая императрица, высеченная оголенными розгами деревьев, вместе со всеми своими любовниками, до полной черноты и невменяемости. Темные воды Мойки, стиснутые серым гранитом, нещедро отражали горбатый мост и высокие однообразные дома со множеством грифельных окон, — дома, словно бы нарисованные и вырезанные из картона. А проспект все тянулся и тянулся и, казалось, конца ему никогда не будет.

— Вот она и Морская самая, — сказал извозчик и свернул направо.

В узкой, высокой и кривой улице была тишина.

— А вот эта — арка главного штаба.

И точно, впереди, соединяя собой два казенных здания, перед сослуживцами неожиданно близко предстала темно-красная арка. Перед нею, сбоку, из стены, на кронштейнах, торчали толстые часы. В пролете арки, наполовину заслоненной циферблатом этих часов, виднелась часть опрятной мостовой. Процокав под темными сводами, извозчик выехал на Дворцовую площадь, и тут открылось зрелище необыкновенной красоты и величия. Сплошь вымощенная мелким круглым булыжником, громадная дворцовая площадь наполовину была окружена подковой зданий. На противоположной стороне, занавешанная дождем, виднелась красно-бурая масса Зимнего дворца со множеством статуй на крыше. Ни одного человека не было на площади. А посредине, в самом ее центре, легко и вместе с тем прочно, возвышалась тонкая триумфальная колонна. Она была так высока, что ангел с крестом на ее вершине, казалось, реял на головокружительной высоте в триумфальном воздухе надо всем этим мертвым, окаменелым, беззвучным и пустым миром камня, для которого есть одно только достойное название — империя.

— Это тебе, брат, не Владимирский клуб, — сказал Филипп Степанович с таким видом, будто бы все это было делом его рук. — Ну, что ты на это можешь сказать, кассир?

— Что и говорить, здоровая площадь, Филипп Степанович. Царизм!

Извозчик пересек площадь, обогнул трибуну, сколоченную для октябрьских торжеств, проехал совсем близко, под боковыми балкончиками Зимнего дворца и свернул на набережную. Подул порывистый ветер. Желтая вода хлестала в устои моста. Нева была неправдоподобно просторна и сердита.

Обгоняемые темным течением вздутой реки, они поехали по пустынной набережной, мимо прекрасных домов и оград. Но уже ни на что не обращал более внимания Филипп Степанович, потрясенный виденным. В его, и без того расстроенном, воображении, безо всякой последовательности, возникали картины то, никогда не виданных наяву, гвардейских парадов, то великосветских балов, то царских приемов, то гусарских

опоек. Придворные кареты останавливались у чугунных ротонд вообра-аемых дворцов, кавалергардские перчатки с раструбами касались асок, осененных литыми орлами, зеркальные сабли царапали ледяной аркет, шпоры съезжались и разъезжались с телефонным звоном, лакеи сли клубящееся шампанское... и граф Гвидо, занеся ботфорт в стремя роного скакуна с красными ноздрями, избоченившись, крутился среди сего этого сумбура в шляпе со страусовым пером и розой на груди.

Тем временем извозчик уже давно стоял на Сенатской площади еред статуей императора Петра, и Ваничка, взобравшись на скользкую алу цоколя, поровил дотянуться крошечной ручкой до потертого брюха, ставшей на дыбы, лошади, где наискосок было нацарапано мелом — Мурка-дурка».

Свесив длинные ноги и обратив медные желваки щербатого лица Неве, увенчанный острыми лаврами, император простирал руку даль. Там, вдали, среди обманчивой мги, мерещились корабельные ен и верфи. Оттуда по большой, неспокойной воде надвигался ранний ечер.

Филипп Степанович тоже взобрался на цоколь, постоял между адними ногами лошади и обстоятельно потрогал ее мятущийся отвер-девший хвост.

Затем, так как обоих сослуживцев мучил голод, а Ваничку, кроме голода, еще мучило нетерпение поскорее обследовать необследованные доселе ленинградские удовольствия и познакомиться с бывшими княги-нями — извозчику было приказано везти куда-нибудь, где можно было бы пообедать и выпить.

Извозчик повез их мимо шафранных близнецов—правительствующего Сената и правительствующего Синода, и, огибая Исакия, тронулся другой дорогой обратно на Невский. Однако знаменитый собор не произвел на торопливых путешественников должного впечатления. И долго еще им вослед глазами, скрытыми в колоннадах, укоризненно смотрел Исакий, похожий на голову мавра, покрытую угольным золотом византийской шапки.

Через некоторое время, сытые и пьяные, сослуживцы лихо промча-лись в тумане по Невскому проспекту, который уже светился огнями, и вошли в знаменитый «Бар», что в доме Европейской гостиницы. А еще, спустя час, швейцар Европейской гостиницы, пробегая на угол за папи-росами, увидел, как из дверей «Бара» вывалилась на улицу куча людей. Впереди бежали двое: один маленький, другой высокий. Позади них, сдерживая растопыренными руками четырех взволнованных девиц, продви-гался третий в широком пальто с трубкой, рассыпавшей во тьме искры. «Мужчины, меня! И меня возьмите!» — кричали девицы, визжа и тормоша молодого человека с трубкой, который кричал: «Отстань, Нюрка! Верка, отлипни! Никого не возьмем! Пустите, ну вас всех в болото!» — «Возь-мите хоть Ляльку! Лялька баронесса!» — «Какая она к чорту баронесса! Не хватай за реглан!» — «Ну, погоди, вредный стерва!» — при этих вос-

клицаниях трое мужчин влезли в прокатный автомобиль, более, впрочем, похожий на тюремную колымагу, и захлопнули за собой дверцу.

Шоффер дал газу, машина выстрелила, из выбитого окошка высунулась рука и запустила в девиц растрепанный букет хризантем.

— Валяй на Каменноостровский!

Автомобиль тронулся. Из того же окошка выглянула усатая голова и заорала на всю улицу:

— Даешь государя императора! До свидания, милашки! Кланяйтесь знакомым!

И автомобиль уехал.

## Глава шестая.

— Значит, высшее общество?

— Определенно.

— Без жульничества?

— Ясно.

— И... государь император?

— Будьте фотогеничны.

— Видал, кассир? Что же ты молчишь? Э, брат, да ты, я вижу, в дребезину... И в чем дело? И точка...

Тут, проковыляв через некий длинный мост, машина остановилась. Белый свет автомобильных фонарей лег вдоль ограды особняка и повис стеклянным паром.

— Приехали, — объявил молодой человек с трубкой и открыл дверцу.

Филипп Степанович вылез из машины и размял ноги, сказавши:

— Посмотрим, посмотрим. Обследуем.

— И гр...афини? — спросил Ванечка нетвердо, и в развинтившихся его глазах вздвоился и поплыл длиннейший ряд уличных огней.

— Ясно.

— Только чтоб настоящие бывшие, а не л...иповые... ...Аблимант...

Массивная дверь особняка, возле которой позвонил молодой человек, открылась и перед сослуживцами предстал седовласый лакей в белых камашах и красной ливрее с золотыми пуговицами.

— Свои, свои, — поспешно заметил молодой человек, — входите, граждане, милости просим. А ты, братец, товарищ лакей, беги на верх и доложи там все как следует быть. Скажешь, что, мол, джентльмены из Москвы и тому подобное. Жив-ва! Прошу вас, господа, антре.

Лакей исчез, а джентльмены из Москвы, подталкиваемые молодым человеком, который делал вокруг них элегантные пируэты, вступили в вестибюль особняка и тут же обалдели, пораженные невиданным его великолепием. Отраженные справа и слева, зеркалами величиной с добрую залу каждое, освещенные множеством электрических канделябров на мраморных подставках, сослуживцы поступили в распоряжение швейцара и, едва разделись, почувствовали себя до того стеснительно, что захихи-

кали, как голые в бане. Под лестницей, за маленьким столиком, аккуратно сложив губки, сидела надменная барышня в вязаной кофте и продавала билеты. Заплатив деньги, Филипп Степанович поправил на носу пенсне, подергал себя за галстух и проговорил нетрезво, через нос:

— Ну-с...

— Больше жизни! Больше темперамента, джентльмены! — воскликнул молодой человек и, подмигнув продавщице билетов, подхватил Ваничку под руку. — За мной, сеньоры, сейчас я вас введу в самый изысканный из всех салонов, какие только имеются в СССР! Вперед и выше!

С этими словами он дружественно обнял Филиппа Степановича за талию и потащил вверх по мраморной лестнице, прыгая через две ступеньки и прищелкивая каблучками. Его темно-синяя бархатная толстовка металась колоколом, бегло отражаясь во встречных зеркалах. Артистический галстух клубился и заворачивался вокруг тощей шейки. Полосатые брючки вырабатывали мазурку. Крысиные глаза, чрезвычайно тесно прижатые к большому носу, плутовато, но жестко шныряли по сторонам. Худые щеки отливали синевой бритья. Из трубки стремительно летели искры.

В первой обширной зале, куда они таким образом вбежали, было ярко, но пусто. Лишь в самом дальнем ее углу блистал раскрытый рояль, похожий на фрак. За роялем сидела фигура неразборчивой наружности и одним пальцем печально вытыкивала «Кирпичики», с большой паузой после каждой ноты. Посредине следующей залы, отражаясь вверх ногами в паркете, красовался, опираясь на саблю, голубой корнет. Он щупал пальцами под носом английские усы.

— Полянский, где общество? — спросил его на бегу молодой человек.

Корнет вытянулся и ударил шпорами.

— Обгчество в гогубой гестиной, — сказал он, кланяясь, и показал весь свой, широко пробритый пробор от лба до самого затылка, — Жокжик, дайте тги губля, я в доску нгоиггался.

Молодой человек только ручкой отмахнулся.

— Поди, какие там три рубля, когда дело пахнет тысячами.

— Видал? — шепнул Филипп Степанович, щупая Ваничку за бок, — ну, что ты теперь можешь сказать, кассир?

И, хотя кассир решительно ничего не мог сказать, потому что был пьян совершенно и только невразумительно ухмылялся, Филипп Степанович прибавил:

— А еще в поезде говорил «покроем... покроем», а чем тут крыть, когда нечем крыть?

При этом случае бухгалтер почел своим долгом помянуть старика Саббакина, у которого зять служил в московских гренадерах, но ничего не успел сказать, так как сию же минуту они очутились на пороге новой залы — голубой гостиной.

Тот же лакей, возвестивший только что прибытие гостей, посторонился и пропустил их в дверь.

— Леди и джентльмены! — закричал молодой человек не своим голосом, делая правой рукой по воздуху росчерк, — внимание! Разрешите представить вам моих новых друзей, которые приехали из Москвы в Санкт Петербург со специальной целью повращаться в высшем свете. Прикажете принять?

Из-за бархатной спины молодого человека сослуживцы заглянули в залу и в глазах у них окончательно помутилось. Перед ними был высший свет. Вдоль стен, и впрямь обтянутых штофной материей голубого цвета на шелковых голубых диванчиках и стульях с золотыми ножками, сидели в весьма изящных позициях дамы и мужчины самой великосветской наружности — генералы в эполетах и разноцветных лентах, сановники в мундирах, окованных литым шитьем, престарелые графини с орлиными носами и иодистыми глазами в черных кружевных наколках, правоведы, адмиралы, кавалергарды, необычайной красоты девушки в бальных платьях... Иные из них курили, иные беседовали между собой, иные обмахивались страусовыми веерами, иные, накинув ногу на ногу и прищурясь, сидели с неподвижной небрежностью, подпирая напомаженную голову рукой в белой перчатке. На столиках были бутылки, пепельницы и цветы. И посреди всего этого великолепия, подернутого жирной позолотой очень яркого электрического освещения, по непомерному голубому ковру обюссон задумчиво расхаживал, обнявши за талию лысого старичка во фраке, покойный император Николай II.

— Пр-рикажете принять? — еще раз закричал молодой человек, насладившись впечатлением, произведенным на сослуживцев, и пронзительно захохотал. Вслед за тем он вытолкнул Филиппа Степановича и Ваничку вперед. Все лица, сколько их ни было в зале, обратились к ним и, как показалось с пьяных глаз, на разные лады подмигнули.

— Просим, просим! — закричали великосветские люди и захлопали в ладоши.

Император же Николай второй оставил лысого старичка и, не торопясь, подошел к Филиппу Степановичу. Остановившись от него невдалеке, он отставил в бок ногу, мешковато осунулся, слегка обдернул гимнастерку штиглицевского материала цвета хаки — шанжан, лучисто улыбаясь, потрогал двумя пальцами, сложенными словно бы для присяги, рыжий ус и затем слабеньким голоском произнес, несколько заикаясь по-кавалерийски:

— Здравствуйте, господа. Очень рад вас видеть.

— Клянусь честью! — воскликнул при этом старичек во фраке и со слезами на глазах забегал по зале, ломая ручки, — клянусь честью, господа! Это что-то феноменальное! Он! Он! Вылитый он! Именно так — здравствуйте, господа. Очень рад вас видеть — тютелька в тютельку. Не верю своим глазам, не верю своим ушам! Еще раз, умоляю вас, еще раз!

— Извольте. Здравствуйте, господа. Очень рад вас видеть, — точно таким же образом повторил император и вдруг густейшим басом с горчичной хрипотой выпалил, выпучив грозно глаза с красными жилками: —

Водки? Пива? Шампанского? Или прямо в девятку? Хо-хо-хо!.. — И покачнулся, рыгнув кислой капустой.

И не успели сослуживцы не то что произнести хотя бы одно слово, но даже сообразить что-нибудь путно, как уже голубой корнет точно из-под земли появился перед ними.

— Бгегегодные штатские. Лейб-гвагдии конно-ггенадеггского его величества полчка коггнет князь Гагагин втогой. Обгчество тгебует щедгости и шиготы. Пгикажете гаспогятиться насчет ужина?

Филипп Степанович с косого глаза посмотрел на голубого корнета, весьма ядовито приподнял бровь и надменно сказал в нос:

— И оч-ч-ень приятно. А я граф Гвидо со своим кассиром Ваничкой.

Тут он сделал страшно великосветский жест широкого радушия и вдруг побагровел.

— И оч-чень приятно! — закричал он фаготом, — прошу вас, господа! Суаре интим. Шерри бренди... Месье и мадам... Угощаю всех... Чем бог послал...

Сию же минуту покачнувшийся Филипп Степанович был подхвачен под руки с одной стороны корнетом, а с другой — покойным императором и бережно доставлен в соседнюю залу, где находился буфет. Наверху, на хорах, заиграл струнный оркестр. Престарелый адмирал вытащил из кармана сюртука колоду карт. Великосветские дамы и мужчины гуськом потянулись к буфету, где уже слышались острые поцелуи винных пробок. Молодой человек с трубкой носился по залам, словно бы дирижируя последней фигурой забористой кадрили. Зала опустела и, наконец, забытый в общей суматохе Ваничка остался один, не без труда удерживаясь на ногах на самой середине ковра на том самом месте, где только что прогуливался император. Сконфуженно крутя головой и плотно сжимая под мышкой портфель, Ваничка осовелыми глазами обвел залу и вдруг увидел девушку, которая сидела, вся закутанная в персидскую шаль, положив ногу на ногу, курила папироску и смотрела на него, слегка прищуренными, черкесскими глазами, как бы говоря: — «Вы, кажется, хотели, молодой человек, познакомиться с графиней. Так вот, допустим, я графиня. К вашим услугам. А ну-ка рискните». — У Ванички осипло в горле. Он подошел, сгорбившись, к девушке, довольно неуклюже шаркнул сапогами и, телячьи улыбаясь, высыхающим голосом спросил:

— Вы, я извиняюсь, княгиня?

— С вашего позволения — княжна, — ответила девушка и пустила в кассира струю дыма, — ну, и что же дальше?

...Тем временем, расправившись, как следует быть, с растяпой Муркой, Изабелла закусила толстые губы и, не теряя понапрасну времени, пустилась в погоню за беглецами. Иная бы на ее месте, пожалуй, плюнула бы на все и успокоилась. Пускай другие попользуются молодыми людьми, а с меня и того, что перепало — довольно. Только не такой была девушкой Изабелла, чтобы успокоиться на этом. Жадности она была сверхъестественной, и планы обогащения имела самые обширные — тысячи на пол-

торы, а то и на две, если не на все три. Одна мысль, что шальные денежки могут достаться другой, приводила ее в энергичное бешенство.

Основательно поторговавшись с извозчиком, на что ушло добрых четверть часа, Изабелла грузно уселась в пролетку, решительно подобрала манто и пошла колесить по Ленинграду. В первую голову она, разумеется, объехала наиболее подозрительные вокзалы, разузнала, когда и куда уходят поезда и, не найдя мужчин ни в буфете, ни возле кассы, успокоилась — значит не успели уехать. После этого Изабелла предприняла планомерное обследование всех ресторанов и пивных-столовых, где на ее опытный взгляд могли загулять сбежавшие мужчины. Этих заведений было не мало, но она знала их наперечет по пальцам. Сперва она заехала в кафе «Олимп», где посредине, в стеклянном ящике, всегда выставлен громадный поросенок с фиалками во рту. Там она показала подругам новую шляпку, дала пощупать фильдеперсовые чулки, обругала дуру Мурку, высокомерно намекнула, что живет теперь с одним председателем московского треста и на книжке имеет полторы тысячи. Словом, напустила завистливого тумана, поджала губы, подобрала манто и шумно удалилась. Затем она побывала таким же точно манером в «Низке», в «Вене», в «Шато де флере» (ибо разве есть в России хоть один городишко, где бы не было Шато де флера?), в «Гурзуфе», в «Дарьяле», в «Континентале», в «Южном полюсе», на всякий случай даже во Владимирском клубе и во множестве прочих учреждений того же характера, пока, наконец, часу в девятом не очутилась в «Баре».

— Ой, опоздала! — воскликнула, хохоча до слез, одна из тутошних девиц, после того как Изабелла, оббежав все девять дубовых аппартаментов американской пивной, тяжело дыша, подсела к столику. — Опоздала, Дунька, опоздала! Что тут было без тебя только что! Умереть можно! Являются, представь себе, каких-то двое, пьяные, как зюзи. Их даже пускать сначала не хотели. Одеты довольно паршиво. Но монеты при них, понимаешь, вот такая пачка и даже больше. И кричат — «где у вас тут графини и княгини! Хотим, кричат, заниматься с женщинами из высшего общества! А сами аж со стульев падают, до того пьяные!

— Где ж они теперь? — спросила Изабелла, бледнея, и щеки у нее затряслись. — Куда ж они девались?

— Смотрите, какая быстрая нашлась! А видела, как лягушки прыгают? — быстро и злобно подхватила одна девица в кошачьей горжетке и раза три показала кукиш, — держи чорта за хвост. Их Жоржик повез в машине на Каменноостровский к царю. Теперь пиши пропало. Пока их там окончательно не разденут — не выпустят. Определенно. У них там целый арапский трест вокруг царя организовался.

— Какой царь? Какой трест? — зашипела Изабелла, багровея, — что вы мне, девушки, пушку льете?

— Ой, глядите, она ничего не знает! С луны ты сорвалась, что ли, или еще с чего-нибудь? У нас тут, в Ленинграде такие дела творятся, что подохнуть можно от удивления. Такая пошла мода на кино, что дальше

некуда. Всякий день ставят какие-нибудь исторические картины. Представь себе, начали недавно снимать одну картину, называется «Николай кровавый», где царь участвует и царица, и вся свита, и министры, и разные депутаты. И, главное — снимаются не какие-нибудь там артисты, а настоящие бывшие: генералы, адмиралы, адъютанты, офицера. Даже митрополит один и тот снимался, чтоб мне не сойти, тьфу, с этого места! По три рубля в день получали, а которые на лошади, так те — восемь. Пораздавали им ихние всевозможные лейб-гвардейские френчи, галифе, погоны, сабли — нате надевайте. Потеха. Сначала они, конечно, сильно стеснялись переодеваться. Думали, что как только наденут свои старорежимные формы, так их сейчас же бац за заднюю часть и в конверт. Но потом, однако, переоделись. Как никак, все-таки три рубля на земле не валяются. Потом их три дня мучили — снимали как и на площади, так и в самом Зимнем дворце. Народу собралось видимо-невидимо, как на наводнение. Конную милицию вызывали. Даже царя Николая для этого дела выкопали настолько подходящего, что многие бывшие в обморок попадали, как только увидели—до того, говорят, похож. И, представь себе, кто же? — один простой, обыкновенный булочник с Петербургской стороны. Пьяница и жулик. По фамилии Середа. У него и борода такая и усы такие же точь-в-точь, словом вылитый царский полтинник. А тут из Москвы как раз приезжает тот самый главный кино-артист, который должен играть Николая кровавого. Три месяца специально себе бороду отращивал, и вот, наконец, является. Тоже, говорят, на Николая похож, только немного толстый. Ну, конечно, привезли их обоих в Зимний дворец, одели в мундиры и начали сравнивать. Позвали специалистов — старых царских лакеев, показали им обоих и спрашивают: который царь больше годится?— и что же ты думаешь? — как увидели лакеи нашего булочника, так на того другого, московского кино-артиста и смотреть больше не захотели. «Этот,— говорят, — этот. Как две капли. А тот чересчур толстый и нос совершенно не такой». Так москвич и уехал вместе со своей бородой обратно в Москву. Ужасно, говорят, матерился на вокзале. Бить морду булочнику хотел. Жалко тебя, Дунька, не было. Мы тут два дня умирали.

— Ну, а дальше, дальше, насчет треста! — воскликнула Изабелла, тревожно поворачиваясь на стуле, — дальше рассказывай.

— Дальше дело всем известное. Как эти самые генералы-адмиралы надели формы — видят, что их никто не трогает, а даже, наоборот, по три рубля в день выплачивают — так им это дело до того понравилось, что съемка уже дня три кончилась, а они все раздеваться не хотят. Засели все в одной кино-студии на Каменноостровском — и никак по домам не разойдутся: ходят в своих френчах, носят сабли, водку пьют. Там вместе с ними и булочник и некоторые бывшие женщины.

— Ну, а что же за трест?

— Трест очень простой. Жоржика знаешь? Ну, как же, конферансье, известный арап. Он этот трест и устроил. Завел там, в особняке, буфет с напитками, тапера, оркестр, фокстрот, посадил у входа в лавочку кас-

сиршу, сообразил девятку, пульку, чуть ли не рулетку и возит туда дураков иностранцев — весь царизм показывает им по пятьдесят рублей в долларах с рыла. Тем, конечно, интересно посмотреть как и что. Еще бы. А там их куют, как тех лошадей. Вчера из одних немцев двести червонцев, например, выдоили. А сегодня этих двух повезли. Теперь им вата-блин. Пока не разденут, до тех пор не выпустят. Это уж определенный факт.

Не говоря ни слова, Изабелла сорвалась с места и бросилась вон из бара. В дверях ее пытался облапить дюжий шведский шкипер в фуражке с золотым дубовым шитьем. Но Изабелла обеими руками уперлась ему в грудь и с таким остервенением толкнула, что удивленный моряк долго бежал, задом приседая и балансируя, пока, наконец, грузно не уселся на чьи-то совершенно посторонние колени. Тут в его выпученных глазах медленно опрокинулась вся внутренность бара — дубовые стены, цветы, плакаты, кружки, шляпки, раки... — даже раздирающий грохот шумового оркестра, и тот, казалось, покачнулся и опрокинулся, высыпавшись на голову всем своим трескучим винигретом — пищульками, трещетками и тарелками.

А Изабелла, прошипев сквозь прикушенные губы насчет нахальных иностранцев, позволяющих себе чересчур много, уже мчалась на извозчике разыскивать арапский трест. Дело было не легкое, но не прошло и часу, как она, перебудоражив всех дворников, сторожей и управдомов Каменноостровского проспекта, отыскала особняк кино-студии и ворвалась в него через незапертую дверь с черного хода в тот самый момент, когда кутеж был в самом разгаре. Внутри дома, в отдалении слышались пьяные голоса, булькала, как кипяток, жгучая музыка.

Швыряя зонтиком незнакомые двери, Изабелла побежала на этот шум. В полутемном коридоре она споткнулась об ящик с пустыми бутылками и какой-то треножник — страшно выругалась. Потом заблудилась и попала в кафельную кухню, где в горьком кухмистерском чаду пылал и плакал багровый повар. Затем взбежала по дубовой лестнице, вверх, окончательно запуталась, сунулась опять в коридор без дверей и потом снова взбиралась по лестнице, но уже на этот раз узкой и железной, пока, наконец, не очутилась на хорах под лепным, расписанным плафоном позади играющего струнного оркестра. Злобно раскидав локтями скрипки и пюпитры, наступая на мозоли и ужасно надув белые щеки, Изабелла продралась к перилам, заглянула вниз и сейчас же увидела под собою зал и лысину Филиппа Степановича, который как раз в этот миг с кинжалом в зубах танцовал по середине зала наурскую лезгинку — молитва Шамиля. Поверх пиджака, на нем болтался генеральский мундир, и эполеты хлопали его за панибрата по плечам золотыми своими лапами. Совершенно неправдоподобно выворачивая костлявые ноги, бухгалтер потрясал пивной бутылкой, рычал, подмигивал и был страшен. А вокруг него стояли кругом шумные люди из самого высшего общества и пьяно хлопали в ладоши, отбивая такт.

— Я извиняюсь, Котик, ты здесь? — закричала Изабелла, свешиваясь в залу и взмахнула зонтиком, — а я тебя ищу по всему городу! Ах ты, боже мой, посмотри, на кого ты похож! Ах, ах!

Музыка прекратилась.

— Изабеллочка, — пискнул бухгалтер, и кинжал выпал из его зубов, воткнувшись в ковер. Общество шарахнулось. Молодой человек в бархатной толстовке юрко забегал крысиными своими глазами по сторонам. Он чувствовал, что предстоит скандал, связанный со множеством неприятностей. Покойный император вышел, пошатываясь, из буфета с половиной курицы в руке, потрогал ус и тут же подавился. А Изабелла уже пришла в себя и низвергала на головы высшего общества крики, грубые и угловатые, как кирпичи, падающие с постройки.

— Мошенники! Бандиты! — кричала она, багровея сама, как кирпич. — Нету на вас уголовных агентов! Завлекли в свой арапский трест чужого мужчину, напоили и хочете окончательно раздеть? Так нет! Я не посмотрю на вас, что вы здесь все генералы-адмиралы. Я на вас в ГПУ донесу! Прошло то проклятое время царизма! А вы, чортовы графини, тьфу на вас всех! А тебе, Котик, довольно стыдно поступать так со знакомой женщиной, — тут Изабелла всхлипнула и утерла нос каракулевым рукавом, — я от тебя этого, Котик, никак не ожидала! Тем более, что нахожусь в положении, и на аборт надо минимум восемь червонцев — пускай женщины подтвердят — или же алименты, одно из двух. А вы все будьте свидетелями!

Услышав это, Филипп Степанович, как он ни был пьян, почувствовал такой ужас и тоску, что забегал по зале, как заяц, спотыкаясь о предметы, сослепу не находя дверей. Изабелла же, сообразив, что сражение почти выиграно, и главное теперь быстрота и натиск, не долго думая, перекинулась через перила, обхватила толстыми ногами колонну и съехала вниз, как солдат с призового столба, и, задыхаясь, предстала перед Филиппом Степановичем.

— Изабеллочка! Янина! — бессмысленно пролепетал бухгалтер. — Ваничка, где же ты? Друзья! Кассир! Ко мне!

— Собирайся, Котик, домой! — ласково прошипела Изабелла: — собирайся, детка, пока тебя тут окончательно не раздели. Поедем, дуся, домой из этого притона разврата.

В помраченом сознании Филиппа Степановича на мгновение вспыхнули рябые розы; звериная злоба задвигалась в кадыке; он уже готов был выставить вперед клыки и зарычать, но вдруг вместо этого сел на ковер и печально свесил усы.

— Шерри бренди, — произнес он, заплетаясь, — будьте любезны... Мадам...

— Поедем, Котик, — сказала Изабелла и прочно взяла его за эполеты, — пора баиньки.

Тут общество, наконец, очнулось. Молодой человек в толстовке кинулся на помощь к бухгалтеру, делая по воздуху грозные росчерки

и требуя уплаты за напитки, оркестр и освещение, но немедленно же был отброшен трескучим ударом зонтика по голове — Изабелла не любила шуток. — Голубой корнет бросился на выручку, но как-то запутался в шпорах, споткнулся о собственную саблю, опрокинул столик с бутылками, страшно сконфузился и, таким образом, выбыл из строя. Произошла общая свалка. Седой генерал в подтяжках, прикатившийся из буфета к месту боя спасать раздираемый свой мундир, едва успел уклониться от удара, который всем своим шелковым свистом пришелся по щеке покойного императора, подвернувшегося на свое несчастие под горячую руку Изабеллы. Она увидела его, и гнев ее достиг высшего предела.

— А, подлый булочник! Так тебе и надо, император паршивый! Будешь знать, как завлекать чужих мужчин! Я тебе, кровавому тирану, эксплоататору трудящих, все твои бессовестные глаза выцарапаю и доставлю в отделение. Определенно.

С этими словами Изабелла запустила острый маникюр в его бороду и, шипя от бешенства, выдрала добрую ее треть. Император закричал от боли и вдруг заплакал очень тоненьким голосом в нос:

— Това...рищи! За что же мы боролись, я вас спрашиваю, если у честного беспартийного члена профсоюза последнюю бороду отымают? Я за эту бороду при старом режиме Николая кровавого подвергался репрессиям... Из-за нее, проклятой, меня царские палачи привлекали в административном порядке за оскорбление его величества. И я собственноручную подписку давал в участке на предмет обязательного бритья бороды И что же мы видим теперь, товарищи, когда пролетариат торжествует? Есть мне какой-нибудь покой от бороды? Нету мне от бороды никакого покоя! Хотя в административном порядке бриться и не заставляют и даже наоборот по три рубля в день за бороду платят, но от нее, проклятой, все мои несчастия и оскорбления. Верите ли, вся моя жизнь загублена от этой контр-революционной бороды, чтоб она отсохла. И где же тут свобода, и куда смотрит рабоче-крестьянская инспекция, и почему такое?

И долго еще изливался в подобном же роде огорченный булочник с Петербургской стороны, пока Изабелла, отбиваясь зонтиком от нападавших, волокла Филиппа Степановича за шиворот по амфиладе покоев, полных тревоги, гама и гула.

...А Ванечка, уже вдребезги влюбленный и очарованный, сидел в полутемном зале, в уголке за роялем и молча пожирал глазами княжну. Он даже немного отрезвел от обожания и оробел еще пуще прежнего. Его челюсти были стиснуты, лоб мокр, он напрягал все силы, чтобы скрыть и задушить в корне непристойное урчание в животе. Он горел, мучился, не знал, как приступить к делу, глупейшим образом ухмылялся и был готов на все. А княжна, скрестив на груди под шалью ручки и вытянув вперед тесно сжатые длинные ноги в нежнейших шелковых чулках и лаковых туфельках, держала в слегка усатом ротике папироску и щурилась на Ваничку сквозь дым черкесскими многообещающими глазами. Чуть-чуть улыбалась. Даже будто бы подмигивала? В этом жгучем молчании Ва-

ничка промучился добрый час и уже готов был совершить чорт знает какие самые дерзкие поступки, как вдруг в соседней зале начался скандал.

Услышав грозные крики Изабеллы и шум потасовки, Ваничка побледнел, а княжна засуетилась и, наказав Ваничке сидеть на месте и никуда не уходить, побежала узнать в чем дело. Ей было достаточно только заглянуть в залу, чтобы совершенно безошибочно определить положение вещей.

Она на цыпочках подбежала к Ваничке, прижалась к нему воздушным плечом, наклонилась, окатила запахом дьявольских духов, пощекотала щеку кончиками волос, положила палец на губки и прошептала:

— Тс... Деньги при вас?

— При мне, — ответил Ваничка таким же шопотом, и в животе у него вдруг сделалось — жарко и холодно пополам.

— Много?

— Вагон.

— Бежим.

Она схватила его за локоть.

— Тише. Не стучите сапогами. Молчите. Тш-ш-ш...

И проворно вывела на лестницу.

## Глава седьмая.

Едва Ваничка очутился со своей дамой на извозчике, вдвоем, посередине пустого проспекта, как сейчас же, воровато оглянувшись по сторонам, обнял ее за очень тонкую и твердую талию, опрокинул навзничь и страстно поцеловал в пупырчатое на холоде горло. Тут же он обомлел от дерзости и сварился, как рак. Девушка нежно, но довольно настойчиво высвободилась из объятий и закрыла Ваничке рот ладошкой.

— Тс! Только не сейчас. Вы с ума сошли.

— Когда же? — хрипло спросил кассир.

Девушка замерцала таинственными глазами, закуталась в непромокаемое пальто и, прижавшись к распаленному кассиру, потихоньку засмеялась, словно бы пощекотала.

— Будьте паинькой. Тс. Отдай мне эту ночь, забудь, что завтра день, — пропела она низким голосом. — Хорошо? Только не надо безумствовать на извозчике. Как тебя зовут?

— Ваничка.

— А меня княжна Агабекова, но ты можешь называть меня просто Ирэн.

С этими словами она стиснула холодными пальцами Ваничкину руку — пребольно уколола обточенными ноготками — и положила голову на его плечо.

— Куда же мы поедем? — жалобно спросил кассир.

— В Европейскую, — жарко шепнула она, — кучер, в Европейскую! Сегодня у меня сумасшедшее настроение. Сегодня я хочу много

цветов, музыки и шампанского. Иван, ты любишь ананасы в шампанском? Я ужасно люблю. От грез Кларета в глазах рубины. И буду тебя я лас-кать, обни-мать, цело-вать... Не правда ли? Страшно шикарно.

— Ананасы, шикарно, — бестолково проговорил Ваничка, представил себе отдельный кабинет в Европейской и окончательно погиб.

Однако никаких кабинетов в Европейской не оказалось, и Ваничке пришлось вполне прилично сидеть против девушки в зеленоватом зале, похожем на подводное царство, стесняясь и пряча под стол свои до последней степени непристойные сапоги, от которых на весь ресторан разило мокрой собакой. Все вокруг было чинно и благородно. Несколько немцев в жестких воротничках деловито ели паровую осетрину под грибным соусом. Военный с ромбами одиноко сидел в углу над бутылкой боржома, подобрав солидно выскобленный подбородок и расправляя пальцами знаменитые усы, как бы желая сказать: вы, граждане, тут как хотите, а я больше насчет цыганских романсов. Где-то, еще дальше, скрытая выступом эстрады и зеленью, кутила большая компания; туда, то-и-дело, официанты в белом подкатывали столики на колесах, уставленные шипящими жаровнями, серебряными мисками, бутылками и фруктами. Оттуда слышалась сиплая пальба соды — как из огнетушителя — и пьяный женский смех. Между пустыми столиками, весьма брюзгливо и бережно, чтобы не сделать больно подагрическим ногам, обутым в прюнелевые щиблеты на пуговицах, прохаживался господин средних лет в смокинге и изредка нюхал, расставленные по столам, цветы с таким видом, будто бы это были не цветы, но вредные грибы.

— Это кто же такой? — спросил Ваничка.

— Метрдотель, — ядовито пшикнула Ирэн, потом сделала ужасные глаза и показала язык трубочкой, — понятно?

— Метрдотель. Понятно, — сказал Ваничка и до того заскучал, что даже отрезвел и попросился, нельзя ли лучше поехать во Владимирский клуб — там и кабинеты и прочее. Ирэн сказала, чтоб сидел и не приставал, а то ничего не получит, потому что скоро начнется кабарэ, и будет весело, а потом, после кабарэ... — и уколола его под столом ноготками. Скоро, действительно, началось кабарэ. Раздвинулся бархатный занавес, аккомпаниатор ударил по клавишам и на сцену, сбоку и боком, выбежал, потирая ручки и частя прохудившимися локтями, молодой человек чрезвычайной худобы во фраке и пикейной жилетке. Очень быстро мелькая белыми гетрами и закусив невидимые миру удила, молодой человек обежал дважды эстраду, криво улыбнулся и быстро заговорил, раскатываясь на каждом р, как на роликах: «Товаррищи и грраждане публика, сейчас наша прролетаррская рреспублика перреживает крризис казенного ррррубблика... Хоть у нас сейчас так называемый нэп, но темп общественной жизни настолько окрреп, что некоторые кассиррры из госучррреждений хапен зи гевезен без всяких угррызений...» — при этом худой молодой человек сделал ручкой жест, долженствующий с полной наглядностью показать «хапен зи гевезен» и рассмешить публику, но публика сидела

с каменными лицами, и молодой человек, немного еще поболтав оживленно, убежал, мелькая гетрами, за кулисы.

У Ванички тревожно засосало от этих намеков в животе, и он заскучал еще больше; но Ирэн сидела с папироской в губах, положив голые локти на скатерть и, упершись худым подбородком в ладони, смотрела из-за цветов на Ваничку, как медуза, прищуренными глазами, обещавшими массу таинственных удовольствий, только надо немного потерпеть. Тут начали подавать небывалый ужин, принесли заграничное вино. Ресторан наполнился народом. Как-то так оказалось, что уже давно играет оркестр. Певица пела баритоном «Мы никогда друг друга не любили и разошлись, как в море корабли». Цыганка, похожая на быстро тасующуюся колоду карт, плясала, мелко тряся бубном и плечиками, визжа изредка—и-их!— Потом один из немцев тяжело привстал со стула, выпучил глаза и с отдышкой запустил в Ирэн моток серпантина. Бумажная лента развернулась через весь зал длинной зеленой полосой, вздулась, повисла в воздухе возле люстры и медленно осела на Ваничкино ухо. Немец отставил зад и вежливо сделал ручкой. Ваничка обиделся, но когда увидел, что и прочие пускают друг в друга разноцветными лентами, лихо улыбнулся, купил у барышни серпантину на двенадцать рублей и принялся расшвыривать его во все стороны с таким азартом, точно пускал камни по голубям — пока от лент не зарябило в глазах. Тогда он тяжело опустился на стул, блаженно поерошил взмокшую шевелюру, придвинул к себе бутылку и в пять минут так надрался, что Ирэн только ахнула. А уже мир в Ваничкиных глазах загорелся всеми своими радужными цветами. От скуки и тревоги не осталось и тени. Бокалы и бутылки вздвоились и ушли по диагонали. Ваничка требовал шампанского и ликеров по карточке. Он пил их, не различая вкуса и крепости, но зато поразительно ясно видел их цвета: желтый — шампанское, зеленый и розовый — ликер и еще какой-то белый — тоже ликер. Потом он велел принести себе из буфета гаванскую сигару за пять рублей и с пылающей сигарой в зубах долго мыкался, пугая лакеев, где-то по оглушительным коридорам, отыскивая уборную. В вестибюле перед зеркалом, за столиком сидела барышня и продавала из стеклянного колеса лотерейные билетики. Ваничка купил их на сорок рублей, выиграл массу предметов и тут же все пожертвовал обратно, а себе оставил только пятнистую лошадь из папье-маше, большую медную ручку от парадной двери и флакон одеколону. Возвратившись в залу, Ваничка увидел, что столики отодвинуты, и все танцуют фокстрот. Тот самый немец, что давеча бросал серпантин, теперь, обхватив и прижав к себе Ирэн, шаркал вперед и назад по залу, напирая на девушку животом и неуклюже тыкая в стороны локтями, а она, закинув назад голову, передвигала высокие, открытые до колен, ноги и дышала немцу прямо в нос папироской. При виде этого, у Ванички от ревности глаза сделались розовые, как у кролика, и бог знает, чего бы не наделал кассир, если бы одна очень толстая и очень пьяная дама из той самой компании, что кутила за выступом эстрады, не перехватила его с хохотом посреди зала. Размахи-

вая вокруг дамы лошадью и дверной ручкой, обливаясь грязным потом и сгорая от ужаса, Ваничка сделал несколько скользящих движений, смешался и вдруг, плюнув на все, быстро затопал сапогами на одном месте, вырабатывая подборами сложные и странные фигуры неведомой русской пляски. «Правильно, жарь по-нашински!» — раздались вокруг пьяные возгласы. Ваничка завертелся на месте, пошатнулся, оторвался от толстой дамы и, отлетев в сторону, сел на стул за чей-то чужой стол. Потом немцы и та самая компания, которая кутила за эстрадой, соединились с Ваничкой и сдвинули столы. Не своим голосом Ваничка потребовал дюжину шампанского, коньяку и лимонаду, целовался с усатыми людьми... Почему-то уже давно на столе стояло кофе и мороженое. Где-то уже тушили свет. Толстая дама рвала на себе кофточку и кудахтала, 'как курица — ей было дурно. Серпантин висел лапшой с погасших люстр и замерцавших карнизов. Музыка уже давно не играла. Занавес был задернут. На ковре, в темноте блестела упавшая бутылка. Немец с гипсовым лицом быстро и прямо пошел к двери, но не дошел. Официант подавал счет. И среди всего этого хаоса на Ваничку смотрели, играя, прищуренные дымные глаза девушки. Он схватил ее голую руку. Она была податливой и теплой.

— Плати и поедем, — сказала девушка и страстным шопотом прибавила: — не давай на чай больше пятерки.

Ваничка вырвал из наружного кармана, как из сердца, пачку денег и, несмотря на то, что был пьян, быстро и ловко отсчитал сумму, прибавил червонец на чай, пробормотал — распишитесь — и подвинул деньги лакею... И на один миг, вспыхнувший в его сознании, как зеленая конторская лампочка, ему показалось, что ничего не было, что все в порядке, что вот он на службе, сидит у себя за столиком и выдает крупную сумму в окошечко по ордеру знакомому артельщику. «Аблимант», — сказал он машинально, и тут же зеленая лампочка погасла. Ирэн подхватила его под руку.

— Поедем,— нетерпеливо бормотал Ваничка, бегая вокруг девушки, пока швейцар одевал ее, — куда же мы поедем?

Дождь и ветер хлестнули по ним, едва они вышли на улицу. Тьма была так сильна, что почти ослепила. Ваничка поднял воротник, съежился, стал совсем маленький. У подъезда мокла знакомая машина, более похожая на тюремную колымагу, чем на автомобиль. Ваничка покорно влез в нее, и тут же ему показалось, что он влазит в нее по крайней мере в десятый раз за этот день.

— Шоффер, на острова! — крикнула Ирэн.

Ваничка запахнул озябшие колени короткими полами пальтишка — они тотчас разлезлись, — дрогнул от холода и обнял девушку за неподатливые плечи.

— Куда это на острова? Поедем лучше спать к тебе.

— Молчи! Господи, до чего чувственное животное! Успеешь. Нет, сегодня у меня сумасшедшее настроение. Шоффер, на Елагин остров!

Или же я сейчас выпрыгну из машины. А потом мы поедем ко мне... Спать... Понятно?

С этими словами девушка таинственно отшатнулась от кассира и, впившись пальцами в его плечо, страстно продекламировала нараспев:

Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня.
И шопот женщины влюбленной,
И хруст песка, и храп коня.

— А я думаю, лучше в гостиницу «Гигиена», — жалобно сказал на это Ваничка.

— Молчи, ни одного слова. Чу...

Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак...

Тут игрушечная лошадь внезапно рванулась с подушки и улетела вон в окошко. Автомобиль споткнулся, хрустнул и сел на бок. «А, тудыт твою в тридцать два!» — проворчал шоффер, обошел вокруг остановившейся машины, полез под колеса, вымазался, покрыл матом все на свете и сказал, чтоб вылазили, потому что сломалось заднее колесо, и дальше ехать нельзя. Ваничка вылез из машины, долго с пьяных глаз искал улетевшую лошадь, наконец нашел ее на мостовой в луже. На свежем воздухе его начало разбирать, как следует, и все дальнейшие происшествия этой ночи остались в его памяти нескладными клочьями пьяного бреда. Ваничка смутно помнил, как шли пешком, а потом ехали на извозчике под дождем через мост, и внизу шумела и дулась слепая вода. Ирэн то прижималась, то отталкивала и говорила странные стихи, а он все время в тоске кричал извозчику, чтоб поворачивал в «Гигиену». Но извозчик не слушался и не отвечал, словно был глухонемой. В каком-то месте видел во тьме мечеть и долго разговаривал с ночным сторожем о турках. До островов по какой-то причине, впрочем, не доехали, повернули назад и часа полтора кружили по неизвестным улицам, пока не остановились возле деревянного домика. Тут девушка, наконец, отпустила извозчика и грубо потребовала деньги вперед. Под фонарем Ваничка нетерпеливо дрожащими руками отсчитал и выдал очень большую сумму. Тогда девушка заплакала, прижалась, горячо поцеловала в щеку, оттолкнула, сказала «Фу, Иван, какой ты небритый» и повела спать в коморку, где горел керосиновый ночник и по стенам ползали черные тараканы, а угол был задернут ситцевым пологом, за которым слышался храп. «Ради бога, тише, — прошептала девушка, — это спит моя бедная больная мамочка». — «Княжна тоже?» — спросил кассир шопотом, садясь на узкую постель, и быстро снял сапоги. «С вашего позволения, княгиня, — ядовито ответила девушка и понюхала воздух. — Иван, грязное животное, сию минуту наденьте сапоги. У вас ноги пахнут, как у солдата! Мне дурно!» — «Ириночка». — «Никогда! — воскликнула девушка. — Не прикасайтесь ко мне, свинья! Ступайте сначала в баню». «Какая же теперь может быть баня?» — жалобно

пролепетал кассир. «Это меня не касается. Ищите баню где хотите». С этими словами девушка прыгнула Ваничке на колени и захныкала: «Господи, за что я такая несчастная, за что я должна переносить все эти моральные страдания? Иван, вы парвеню и пьяный самец! Уходите! Вы хотите, пользуясь своим положением, нахально овладеть благородной девушкой, а потом ее бросить... Иван, ведь ты меня не бросишь?» — «Ни по чем не брошу»,— жалобно сказал кассир. «Поклянись!» — «Ей-богу, не брошу. Женюсь».— «Иван, ты настоящий джентльмен. Мне, право, перед тобой так неудобно... Ты можешь подумать бог знает что обо мне... Иван, клянусь тебе всем святым, клянусь тебе своей больной мамочкой и своим отцом, генерал-адъютантом, что я не профессионалка... Но, Иван, мне нужны деньги, много денег. Ах, я не могу равнодушно видеть, как медленно угасает в этом сыром углу моя мамочка... И папочке надо посылать за границу... Иван, ты теперь мой жених, и я могу быть с тобой откровенна... Мне ужасно тяжело, но, Иван, дай мне сто червонцев, и я твоя». — «Пятьдесят»,— хрипло воскликнул Ваничка, хватаясь дрожащими руками за боковой карман, и в глазах у него помутнело. «Ваничка... Золотко мое, видит бог,— сто. Мы наймем квартиру на Невском... У нас будет такая грушевая спальня... Бай-бай... И буду я противной, злой, твоею маленькой женой». «Эх, что там», — воскликнул Ваничка, трясясь от нетерпения и выдал деньги. «Мерси», — сказала княжна, отнесла деньги за полог, вернулась и аккуратно уселась возле окошка. «Индейцы точно ананасы, и ананасы, как индейцы, острит креолка, вспоминая об экзотической стране»,— промолвила она, зевая, и лениво показала язык трубочкой. Тут Ваничка окончательно осмелел. «Пардон. Только без нахальства», — прошипела она и крепко уперлась растопыренной пятерней в его мокрый рот. Очень близко, почти в упор Ваничка увидел ее, пожелтевшие от ненависти, глаза. «Ириночка, куколка», — бормотал он, тяжело дыша. «Успокойте свои нервы и уберите руки». Девушка рванулась. Они оба потеряли равновесие и, с размаху, сели на пол, уронив стул. На комоде повалилась склянка. Тут храп за ситцевым пологом прекратился, из-за занавески вышел сонный детина в подштанниках и, сказавши негромким басом: вы, кажется, гражданин, позволяете себе скандалить? — взял Ваничку железной рукой за шиворот, вынес, как котенка на улицу и посадил перед домом на тумбочку. Затем, неторопливо волоча тесемки исподних и пожимаясь от утреннего холода, возвратился в дом и запер за собой дверь на крюк. Через минуту из открывшейся форточки вылетела лошадь, и форточка захлопнулась. Ваничка чуть даже не заплакал от обиды и злости. Хотелось стучать ногами и кулаками в дверь, созвать народ, побить стекла, устроить скандал на всю улицу, составить в милиции протокол и судиться, судиться... Но куда там! От одной мысли о милиции его прошиб теплый пот, и ослабло в коленках. Ваничка подобрал лошадь и пошел наугад по улице. Уже рассвело, и дождливый утренний свет в воспаленных Ваничкиных глазах был резок и бел до синевы. Долго слонялся Ваничка по обширным и прямым проспектам, совершенно похожим один на другой. Уже в отда-

чении где-то прогудели фабричные гудки. Проскрежетал первый трамвай, переполненный рабочими. Мастеровые с инструментом за спиной появились из-за угла, и один из них, с пилой, закричал Ваничке: «Эй, кислый барин, чего пешком прешь, сел бы верхом на своего рысака» — и подмигнул на лошадку. Неизвестно по какой причине, но Ваничке стало вдруг непередаваемо стыдно. Он свернул в переулок, очутился на набережной и пошел по пустынному мосту через Неву. Дойдя до половины реки, он остановился и плюнул в воду. Во рту было кисло-сладко. По левую руку, на далеком туманном берегу низко синела длинная крепость, а по правую Ваничка узнал Зимний дворец, адмиралтейство, особняки и ограды — те самые, которые он видел днем, но с другого боку. Ваничка огляделся по сторонам — нет ли кого поблизости, увидел, что мост пуст на всем своем очень большом протяжении, злобно искривил губы и нудно закричал изо всей мочи на ветер:

— У-у-у-у, императоры, тудыть вашу мать! Цари! Аристократы паршивые! Жулики! Ворюги! Хитрованцы!.. Пьяные самцы и парвеню!

Но голос его едва ли достигал берегов, сорванный по дороге сердитым ветром, бьющимся с сердитой водой Невы. И долго еще кричал Ваничка в этом же роде надрывным нутряным голосом, покуда не охрип и не иссяк. Потом, через Дворцовую площадь он вышел на Невский проспект, по которому уже бежали советские служащие на службу. В убийственном, изъязвленном раковинками уличном зеркале Ваничка вдруг увидел себя: маленький, куцый, небритый, грязный, лицо зеленое, глаза красные, подмышкой портфель и раскисшая лошадь — словом парвеню и самец. Увидел, ужаснулся и в первый раз понял, что с ним происходит нечто совершенно ни на что не похожее, невероятное и невозможное. Все люди, как люди — идут с поднятыми воротниками и портфелями — торопятся, выбритые, на ногах калоши. А он один в зеркале, как чучело. Свинья-свиньей. В баню не сходил ни разу, не побрился, калош не купил. А ноги до того пропотели в сапогах, что прилипают к стелькам и так воняют, что от людей совестно. И такое отчаяние охватило Ваничку, и так поскорее захотелось все устроить: побриться, помыться, купить пальто и калоши, недорогую гитару, подходящий костюмчик в полоску, что он тут же сунулся в ближайший магазин, но наткнулся на замок и решетку. Сунулся в другой, третий, в парикмахерскую — напрасно. Всюду были, как в тюрьме или в зоологическом саду — решетки и замки.— Еще не отпирали. Тогда Ваничка почувствовал страшную усталость, дурноту и слабость. Еле передвигая, словно бы опухшими, ногами, он доплелся до извозчика, махнул рукой и велел везти себя в «Гигиену».

## Глава восьмая.

Часов в одиннадцать того же утра к швейцарской конторке гостиницы «Гигиена» подошел человек наружности необычайной. Впрочем, с первого взгляда трудно было бы определить, в чем заключается его

необычайность. Как будто бы все было в полном порядке у этого человека, начиная от аккуратно начищенных, не слишком модных щиблетов и кончая пухлой суконной кепкой, из числа тех, какие носят друзья беговых наездников или же молодые люди, посещающие кинематограф. Пальто широкое, пухлое, с японскими рукавами и поясом. Походка солидная. Затылок розовый и короткий. Сложение под стать затылку — толстенькое. Словом, человек вполне приличный, если бы не странное повизгивание, сопровождавшее каждый его, слегка прихрамывающий, шаг да не кисть левой руки, неправдоподобно торчащая из рукава, не то как клешня, не то как машинка для стрижки волос. Говоря короче, присмотревшись, можно было заметить, что одна рука и одна нога у него были искусственные.

Положив на прилавок обстоятельный пухлый портфель крокодиловой кожи, человек поздоровался за руку со швейцаром и спросил, нет ли чего-нибудь новенького.

— Как же, есть, — с готовностью ответил швейцар, — третьего дня в шестнадцатый номер двое московских растратчиков въехали. Конечно, не очень шикарные, а так себе, середнячки — тысячи по четыре на брата, не больше. Женщину себе по дороге завели, во Владимирский клуб ездят, все честь по чести.

— Так-так, понимаю, — глубокомысленно сказал посетитель, — ага! — и высоко поднял короткую бровь.

Затем он, не торопясь, расстегнул пальто, открыл его, как несгораемый шкаф, и, вытащив золотой портсигар, угостил швейцара толстой кремовой папиросой.

— Курите. Отлично. Так. Хорошо. Теперь вот что, дорогой мой, не можете ли вы мне сказать... — Он впал в задумчивость и потом встрепенулся, — значит вы говорите, третьего дня, в шестнадцатый номер? Ага! Так-так. Значит, вы говорите, из Москвы?

— Из Москвы-с.

— Ага! Это меня вполне устраивает. Определенно. Гм. С женщиной? Еще что?

Тут швейцар оглянулся по сторонам и, так как по лестнице в это время спускался постоялец, шопотом принялся рассказывать все, что знал и даже чего не знал про жильцов шестнадцатого номера. Человек с искусственными конечностями глубокомысленно и, вместе с тем, несколько рассеянно слушал тщательную болтовню швейцара, изредка кивая головой и отрывисто произнося: «Так-так, отлично» и «Ага». Причем, при каждом — ага — значительно подымал бровь, словно бы пытаясь ею поставить восклицательный знак. Узнавши от швейцара все, что ему было нужно, он кивнул головой, сгреб подмышку портфель и, неторопливо повизгивая винтами фальшивых суставов, слегка боком взобрался по лестнице, отыскал шестнадцатый номер, повернулся в профиль, сделал бровью «ага» и громко, отрывисто дважды стукнул в дверь.

В шестнадцатом номере, между тем, с самого раннего утра пахло скандалом. Растерзанный Филипп Степанович, привезенный Изабеллой

с Каменного острова в состоянии невменяемом, едва добрался до постели, тотчас же заснул, как был — в пальто и пенснэ, но спал недолго и, едва рассвело, проснулся дикий и желтый, весь в пуху. Изабелла же не ложилась вовсе и сдержанно бушевала, нетерпеливо дожидаясь его пробуждения, чтобы выяснить отношения.

Поводов для скандала было масса. Во-первых, бегство. Во-вторых, распутное поведение в особняке, стоившее уйму денег, так как заплатить все-таки пришлось за все. В-третьих, исчезновение Ванички с немалой суммой денег. И многое другое. Едва Филипп Стапанович открыл опухшие глаза и мыча попросил пить, как Изабелла быстро подобрала сак, уперлась кулаками в бока и чрезмерно высоким плаксивым голосом воскликнула:

— Что же это такое, Котик? И тебе не бессовестно так поступать с женщиной?

Сделав это предисловие, она круто повернула голос да самых низов и пошла, постепенно его повышая, частить и честить окаменевшего от тоски бухгалтера, по всем правилам семейного скандала. — Ты, мол, и такой, ты и разъэтакий и за какие такие грехи я, несчастная, связалась с тобой, алкоголиком — где только были мои глаза — и где это ты, старый свинья, вываялся — все спина белая — и прочее. Она выходила из себя, ломая руки, требовала на аборт, топала ботами, божилась, что сию минуту побежит в уголовный розыск и донесет, а Филипп Степанович, тяжело дыша, в тупом ужасе сидел на постели, искоса посматривая в окно, где блестела красная крыша, по ребру которой шла под дождем грязно-белая кошка со скуластым лицом и глазами синими, как у прачки.

Тут застенчиво вошел Ваничка с облинявшей лошадью подмышкой и, ни на кого не глядя, стал раздеваться.

— Вот, господа, полюбуйтесь — еще один пижон, — закричала Изабелла, — хороший друг, нечего сказать! Можете с ним поцеловаться, все равно пара — пятак. А вам, Ваничка, должно быть, очень стыдно так поступать со своим товарищем — завести его в притон, а потом бросить на произвол бандитов! Фи, я от вас этого не ожидала, интересно знать, где вы провожали ночь? Судя по лошадке, я догадываюсь, что в Европейской, где за все дерут в четыре раза, и антрекот метрдотель стоит три пятьдесят. Интересно, сколько же вы подарили девушке?

Ваничка молча повесил пальтишко на гвоздик, на цыпочках подошел к дивану, сел и понурился. Филипп Степанович закурил из разломанной коробки дорогую, но неприятную папиросу, поморщился, затем, не без труда, навел на лицо достойное выражение и украдкой подмигнул Ваничке — может быть, мол, как-нибудь, со временем, отделаемся от бабы. — Но из подмигиванья ничего не получилось — одна жалость. Потом Изабелла сделала передышку — послала номерного за портвейном и содовой водой и стала отпаивать мужчин.

Тут-то раздался стук в дверь, и тотчас, вслед за стуком, в номер вошел упомянутый нами человек с пухлым портфелем подмышкой. Строго улыбаясь, он неторопливо осмотрел по очереди все, что было в комнате — людей и мебель, — пощупал глазами стены и потолок с таким обстоятельным видом, точно желал все это арендовать или даже купить в собственность, произнес несколько раз многозначительное свое — ага! и так-так — и, наконец, любезно, но как-то вскользь отнесся к Филиппу Степановичу, даже не столько к нему, сколько к содовой воде и портвейну на столике:

— Простите, что я прервал вашу дружескую беседу, но не вы ли будете гражданин Прохоров?

— Я-с, — ответил Филипп Степанович, вставая с постели и неловкими руками застегнул пальто на две пуговицы.

— Ага. Я так и знал. Очень приятно с вами познакомиться. А этот гражданин, в таком случае, вероятно, ваш друг Клюквин?

— Я, — слабо ахнул Ваничка, как на перекличке в тюрьме.

— Ага. Так это, значит, вы, так-так, а эта гражданка...

— За меня, пожалуйста, не беспокойтесь и не имейте в виду, — запальчиво закричала Изабелла, покрываясь огнедышащим румянцем, и быстро надела розовую шляпку с крыльями, — постольку я имею полное право заходить днем на пять минут в гости к знакомым мужчинам! А в ихние мужские дела я не мешаюсь! И прошу меня не задерживать, мне еще надо заехать к портнихе.

— Гражданка, не волнуйтесь. Все в свое время. С вами я поговорю отдельно.

— Как это, может быть, не волнуйтесь? Мне это очень странно слышать от интеллигентного человека, как вы! Наконец, может быть, мне надо пройти в уборную до ветру. Наконец, я не могу больше держаться! Безобразие какое, выпустите меня!

Изабелла окончательно пошла густыми пятнами. Она побегала по номеру, подымая страшный ветер, и вдруг, захватив новый зеленый зонтик, опрометью ринулась к двери и исчезла в ней внезапно, как будто бы взорвалась.

— Ужасно нервная женщина, не правда ли? — любезно отнесся посетитель к Филиппу Степановичу и уселся на стул. — Однако не будем отклоняться. Итак, значит, я не ошибся: вы — гражданин Прохоров, а вы — гражданин Клюквин?

— Да, — хором сказали Филипп Степанович и Ваничка, побледнев.

— Ага. Тем приятнее. Отчего же вы стоите, граждане? Садитесь, не стесняйтесь.

Они послушно сели.

— У меня есть к вам одно совсем небольшое официальное дельце. Впрочем, не буду вас задерживать.

— Виноват, товарищ, — вдруг проговорил Филипп Степанович высокомерно в нос, — ви-но-ват-с, я, как представитель центрального учре-

ждения... Т.-е. мы, как обследователи условий... будучи в некотором роде... Собственно, с кем имею честь?

— Сейчас вы это увидите, — с ядовитой учтивостью сказал посетитель альтом и разложил на столе портфель. Визжа винтами протеза, он не торопясь его отомкнул, пошарил и вынул бумагу.

— Потрудитесь прочесть, тут указано все.

Филипп Степанович развернул бумагу, долго искал по столу пенснэ, опрокинул неверным рукавом стакан и, наконец, запинаясь, проговорил:

— Курить... вы мне разрешите... я надеюсь?..

— О, бога ради! Ради бога! — воскликнул посетитель, распахивая портсигар, — прошу вас, курите, гражданин Прохоров. А вы, кажется, гражданин Клюквин, не курите вовсе? Я так и знал.

С этими словами он предупредительно поднес Филиппу Степановичу горящую спичку, затем аккуратно задул ее, долго искал пепельницу, но не нашел и засунул обратно в коробочку. Филипп Степанович несколько раз быстро затянулся, не без труда насадил пенснэ на скользкий от поту нос и лишь тогда прочел бумагу, в которой, помимо обширного штампа, печати и нескольких подписей, стояло следующее: «Удостоверение. Дано сие тов. Изумрудову Б. К. в том, что он является разъездным агентом и уполномоченным по распространению изданий Цекомпома. Просьба ко всем лицам и учреждениям оказывать тов. Изумрудову всемерную поддержку и содействие».

— Ясно. Все в порядке, — сказал уполномоченный Цекомпома, быстро вынимая из портфеля две открытки и брошюрку в цветной обертке, — я надеюсь, что теперь мы с вами быстро договоримся. Конечно, вам не надо разъяснять цели и задачи нашего учреждения. Ближе к делу. Два комплекта наших изданий, состоящих из художественного изображения всероссийского старосты Михаила Ивановича Калинина, художественного портрета известного композитора Манюшко и популярной сельско-хозяйственной брошюры в стихах с картинками о разведении свиней — по тысяче экземпляров в каждом комплекте. Комплект двести рублей. Берете или не берете? Обратите внимание на бумагу и печать. Первоклассное исполнение. Может служить украшением любого учреждения и частной квартиры. Посмотрите, например, как сделан композитор Манюшко. Редкое сходство, живой человек, возьмите в руки.

Филипп Степанович взял открытку в руки и полюбовался — действительно, композитор был, как живой.

— Берете?

— Ваничка, а? Как ты думаешь? — спросил порозовевший Филипп Степанович густым голосом и бодро посмотрел на кассира.

— Можно взять, Филипп Степанович, отчего же, — сказал Ваничка, все еще не веря, что дело оборотилось таким приятным образом.

— Прекрасно. Пишу расписку на два комплекта. Итого, четыреста рублей.

Уполномоченный во мгновение ока вывинтил автоматическую ручку и выписал квитанцию.

— Разрешите получить?

— Ваничка, выдай, — распорядился Филипп Степанович, — а квитанцию подшей.

— Аблимант, — сказал кассир и выдал, но, выдавая, подсчитал на глаз остающуюся сумму, поморщился и погладил себя по макушке.

— А я, знаете ли, того, — сказал, разглаживая усы, Филипп Степанович после того, как все формальности были выполнены, — принял вас было совсем за другое лицо. Такой, представьте себе, официальный вид.

— Ага, — сказал уполномоченный многозначительно, — понимаю. Надеюсь, вы не обижены покупкой. Я извиняюсь, конечно, что так напугал вашу даму. Куда, кстати, прикажете доставить комплекты?

— Гм... Ваничка, как твое мнение? Впрочем, доставляйте, куда хотите. Нам не к спеху. А вы знаете, вышло совсем даже недурно, что она того...

— Будьте уверены, — с почтительным ударением сказал уполномоченный, — понимаю.

— Может быть, они выпьют с нами портвейн № 11? — спросил Ваничка, которому стало жалко, что такой исключительно приятный человек может уйти не обласканным.

— Это мысль! — воскликнул Филипп Степанович, — товарищ уполномоченный, рюмку вина? — и сделал жест широкого гостеприимства.

Уполномоченный от портвейна не отказался, но заметил, что лично он предпочитает Шато-Икем марки «Конкордия» — оно и легче, и голова после него не болит и на шампанское похоже — словом, безусловно отличное вино. «Это мысль» — сказал Филипп Степанович и, рассказав, что у старика Саббакина тоже, помнится ему, подавалось к столу Шато-Икем, послал номерного за Шато-Икем'ом и закусками. За вином разболтались, и уполномоченный Цекомпома оказался, хотя и плутом, но парнем замечательно компанейским и необыкновенным рассказчиком, а рассказывал он такие интересные истории, что тебе и куплетиста никакого не надо. После пятой стопки, лихо сдвинув на затылок кепку и устроив на толстеньких бархатных, как у хомяка, щечках ямочки, уполномоченный положил на стол фальшивую руку, скрипнул ею и сказал:

— Скажу определенно: нет приятнее людей, чем в провинции. Вообще, провинция — это золотое дно, Клондайк. Столица, по сравнению с ней — дым. Да. Подъезжаешь, например, на какой-нибудь такой дореволюционной бричке к уездному центру и определенно чувствуешь себя не то Чичиковым, не то Хлестаковым, не то, извиняюсь, представителем РКИ. «А скажи, братец ямщик, какой у вас тут уисполком — одноэтажный или двухъэтажный?» Если одноэтажный — дело дрянь, хоть поворачивай обратно, если же двухъэтажный — ага! — тут совсем другой табак. «А скажи ты мне, братец ямщик, кто у вас председатель уисполкома

и какой он наружности и чем он дышит, и нет ли в городе каких-нибудь таких синдикатов или же кустпромов?» Если председатель худой и с большим партийным стажем — хюжее, если же толстый с отдышкой — ага! — очень приятно, дело в шляпе. Тем более, если имеется еще и кустпром, так-так! — тогда совсем великолепно. Ну-с, пока мохнатые лошадки вытаскивают из грязи копыта и теряют подковы, пока мочатся посреди большака, пока пропускаешь мимо обоз с какой-нибудь кислой кожей, пока то да се — ан все подробности на ладони. А еще покуда два часа тащишься по главной улице до уисполкома — план действий готов. Определенно. Видите, какое отличное винишко! Ваше здоровье.

Уполномоченный чокнулся с сослуживцами, отпил вина и продолжал:

— С худым председателем дело иметь трудно. Упорный народ. На него действовать надо с налету — входить прямо безо всякого доклада в кабинет и, с места в карьер, — бац портфелем по столу! «Одно из двух — берете три комплекта изданий Цекомпома или не берете? Короче. Мне некогда, товарищ. У меня в четверг, товарищ, доклад в Москве, в Малом Совнаркоме. Ну?» Тут может быть два случая — или же сразу покупает, или же начинает стучать ногами. Покупает — ага, хорошо. Начинает стучать ногами — еще лучше — до свидания, и поворачивай оглобли. Нет, что и говорить, с толстым председателем куда легче. Особенно летом или же если в кабинете хорошо натоплено. Тут дело наверняка. Толстого берешь измором. Входишь, кладешь на стол портфель, подмигиваешь, сверлишь глазами, замечаешь вскользь, что специально приехал по официальной командировке, а между тем о себе молчек. Пускай толстяк потеет. Помучишь его часа полтора, вгонишь в полнейшую слабость и уныние, тогда из него хоть веревки вей. Верите ли, когда после всяческих дурных предчувствий, сомнений и угрызений, оказывается, что от него требуется всего-на-всего купить четыре комплекта — толстяк от радости не знает, что ему делать. Он суетится, сам бежит в бухгалтерию, в кассу, проводит по книгам, все, что угодно, лишь бы поскорее отделаться. Тут и композитору Манюшко, как родному отцу, обрадуешься! Очень хорошо. Ага! Дело в шляпе.

Он выпустил в потолок густую струю дыма, подождал, пока она рассеется, и приветливо улыбнулся сослуживцам, как бы желая сказать: «вот ведь, мол, какие дураки бывают на свете, а мы с вами небось умные». Филиппу Степановичу и Ваничке сразу стало весело и приятно, а уполномоченный притушил папироску о пробку, налил себе вина и продолжал мечтательно:

— Но, конечно, бывает и такой толстяк, что самого тебя в ящик загонит, а комплектов так и не купит. И наоборот. Попался мне, напр., на Украине один председатель, худой, как собака. И городок тоже, знаете, паршивенький. Уисполком одноэтажный. Ну, думаю, дело совсем дрянь, однако вхожу в кабинет. «Так и так. Представитель Цекомпома. Из центра». «Очень приятно. В чем дело?» — Объяснил ему все обстоятельно и спрашиваю: «Одно из двух — покупаете или не покупаете?» И что же

вы думаете? Встает мой председатель, представьте, со своего места и вдруг расплывается в блаженнейшую улыбку — даже порозовел, шельма, от счастия и заговорил по-украински: «Це нам треба, — кричит, — мы вас жаждем!» Что такое, думаю? Но раз вы нас жаждете — ага! — все в порядке. «Это будет вам стоить, говорю, четыреста рублей за два комплекта. Устраивает вас?» — «Четыреста карбованцев!» — воскликнул председатель и почухал потылицу. — «А где их, чортова батьки, узять? Гм...» И задумался. Ну, раз такое дело, думаю — отлично. «Тащите сюда, говорю, смету, сейчас мы все это устроим» — и что же вы, товарищи, думаете? Действительно, притаскивает мой идеалист председатель смету местного бюджета. Хорошо. Разворачиваю — мрак. Ни черта не выкроишь. По Наркомпросу, сами понимаете. Учителей обижать как-то довольно неудобно. По Наркомздраву то же самое. Содержание больниц и прочее. Согласитесь, неловко. То—се, пожарная охрана, милиция, соцобес, одним словом, неоткуда выжать монету. А мой бедный идеалист, вижу, стоит и чуть не плачет — до того ему хочется купить комплекты. Честное слово — первый раз в моей практике! Печально, печально. Вдруг — бац! — что такое? Читаю пункт десятый: «на починку шляхив и мостив — 351 р. 60 к.». Ага! Так-так! Что и требовалось доказать. «Выписывайте, говорю, дядя, по пункту десятому триста пятьдесят карбованцев. Делаю вам скидку пятьдесят, а мосты подождут. Правильно?» — «Правильно, — говорит, как эхо, — мосты подождут» — у самого же от блаженства рот до ушей и вокруг носа поползли веснушки такие большие, как клопы. Уж не знаю, как они теперь там без мостив и шляхив выкручиваются. Мое дело маленькое — деньги в портфель и до свидания.

Немножко помолчали. Посмеялись.

— Да. Нет людей приятнее, чем уездные председатели. А жизнь какая в провинции, а девицы! А развлечения! Нет, по сравнению с провинцией столица — дым. Определенно. Что такое в столице человек, у которого в кармане сто рублей? Или даже тысяча? — ничего. Нуль. Зеро. Пещинка. Моллюск. Зато в провинции, если у вас копошатся в портфеле лишних пять червей, вы богач, герой, завидный жених, уважаемый хахаль, влиятельное лицо, чорт знает кто, все что хотите! Удивляюсь вам, товарищи, чего вы здесь киснете, в этой паршивой «Гигиене». При ваших да денежках, да куда-нибудь в матушку-провинцию — это же сплошная красота! Да вас бы там туземцы на руках носили! Да вы бы там совершенно определенно светскими львами были! Да там первый ряд в кинематографе тридцать копеек стоит, а обед из трех блюд в ресторане полтинник! А дом, клянусь памятью матери, за восемьсот рублей купить можно вместе со всеми угодьями, да еще впридачу взять вдову хозяйку, у которой припрятано в сундуке тысячи полторы.

Филипп Степанович подмигнул Ваничке, и они оба захохотали.

— Ваше здоровье. Лично я только в провинции и живу полной жизнью. Подмолочу немного деньжат и недельки две купаюсь в уездном блаженстве, пока в пух не проиграюсь. И вам советую. А? Могу вам пореко-

мендовать замечательнейший городишко — Укрмутск. Красивая река, девчонки, большой железнодорожный клуб с опереткой. Одним словом, не о чем говорить... Эх!

Тут уполномоченный шлепнул по столу портфелем и, завизжав винтами, привстал со стула.

— Короче: едем или не едем? — спросил он в упор.

— Едем, и очень даже просто! — закричал Ваничка в восторге и тут же перелил стакан на добрых два пальца.

— Что ж, — заметил Филипп Степанович сквозь мечтательный дым, — я не возражаю. Уж если обследовать, так обследовать.

— Ага! В таком случае едем. Сейчас — два. Поезд в четыре. Пока — то да се. Билеты. Пообедаем на вокзале. Вещей, конечно, нет? — Зовите номерного.

Новые горизонты раскрылись перед сослуживцами. Они уплатили по чрезмерно раздутому счету и сразу почувствовали себя легкими необыкновенно.

— Даешь Укрмутск! — закричал Ваничка, выходя, пошатываясь, на улицу с портфелем и лошадью подмышкой. И слово «Укрмутск» — нудное и мутное, как будто бы нарочно сочиненное с перепою тяжелым негодяем, которого в детстве наказывали ремнем, оно вдруг показалось Ваничке сделанным из солнца.

---

Ленинград был начисто поглощен густейшим, удушливым и, вместе с тем, холодным туманом. Будто никакого города на самом деле никогда не существовало. Будто он померещился с пьяных глаз со всеми своими дьявольскими приманками и красотами и навеки пропал из глаз. Отдаленно отраженные фонари набухали слабой радугой тумана и гибли. Потерявшие очертания пешеходы неопределенно намекали о своем существовании скрипом и плеском. Все было туманно и неопределенно за спиной извозчика и только из окна тронувшегося вагона Филиппу Степановичу показалось, что он увидел Изабеллу, которая бежала по перрону за поездом, подобрав манто и кричала, размахивая зонтиком: «Котик, Котик! Плати алименты, Котик! Куда же ты едешь, Котик?».

Но и это, как и все вокруг, было туманно и недостоверно.

*(Окончание следует).*

# Китайский болванчик.

Рассказ.

**А. Хованская.**

## Жареный лещ.

Прозванье городу Лещову пошло от анекдота. А анекдот — от барина Дрызгача. А барин Дрызгач известно откуда,— от евонной маменьки.

Время было тогда ленивое, тягучее, как мед. Спешить некуда было — у бога дней много.

Вместо теперешнего города Лещова, на правом берегу Оки, торчал среди густейшей зелени кусок сахарной глазури, — фронтон помещичьего дома. От дома несколько отступя, по оврагу лепились серые хаты, и жил в них подневольный Дрызгачу люд. Деревню звали Дергачевкой, а барина — Дергачевым. Но по причине своего характера получил он кличку Дрызгач, — ибо быстро приходил в гнев и, в гневе, заикался, шипел, дрызгался.

С годами помещик Дрызгач потучнел, едва таскал свое черноземное, дворянское тело. Полюбился ему образ жизни тихий и уединенный, а на склоне лет воспылал он страстью к невинной забаве: выманивать рыбку на червячка.

Это уж кому какой удел. Одни до чрезвычайности любят поросенка с кашей, а в других сидит некий общественный зуд и побуждает их творить великие деянья. Помещик же Дрызгач приохотился к уженью рыбы и посвятил дни свои этому идиллическому занятию.

С утра садился он в холодок у Оки, с удочкой и зеленым козырьком над глазами. И солнце величественно обходило вокруг Дрызгача и уже прямо в лицо ему бросало лучи, а он все сидел и плотоядно щурился на плещущую серебром рябь. И бегал от Оки до дома целый штат запыхавшихся лакеев, гуськом, с подносами и тарелками в руках, ибо Дрызгач любил закусывать на вольном воздухе. От загнанных лакеев шел пар, кушанья же, наоборот, остывали, Дрызгач гневался, и тарелка с супом летела лакею в лицо.

Но это еще не главное.

Главное — лещ.

Лещ непонятен без Ивана Ермолаевича. А Иван Ермолаевич в нашей повести тоже не последняя спица. Он вот каков: верста от уха до уха. Глаза же, напротив, сблизились и скосились, смотрят врозь, как два русачка, притаившиеся в ложбинке. Остальное обличье Ивана Ермолаевича было таково, что слыл он по приокским деревням той губернии под кличкой «генеральское пузо».

Фамилия у Ивана Ермолаевича была преобидная: Голопупов. Он ее терпеть не мог и втайне почитал неприличной. Когда незнакомый человек спрашивал, как, дескать, ваше заглавьице? — Иван Ермолаевич подозрительно поднимал бровь, сухо чеканил: «А вам на что-с?» и взглядом уничтожал дерзкого.

Он был богат и славился своими лошадьми, которые, точно, были замечательны. Самой государыне подарил Иван Ермолаевич золотистую кобылу своего завода, государыне кобыла приглянулась, и Иван Ермолаевич был представлен ко двору.

На каком-то бале, проходя мимо приокского помещичка, царица соизволила протянуть ему руку. Иван Ермолаевич, человек стеснительный и неуклюжий, несколько одичавший в глуши, от такой монаршей милости пришел в смущенье, попятился, затоптался на месте и, вместо того, чтобы припасть к царской ручке поцелуем, тряхнул ее в своей лапище, в замешательстве производя губами звук «тпрру!», каким осаживают горячую лошадь.

Такой непредвиденный казус застопорил Ивану Ермолаевичу дорогу по служебной лесенке вверх. В тот же вечер, за партией безика, молвила государыня своему фавориту, старой, льстивой обезьяне со сморщенной шеей, овеянной прозрачными рюшами жабо: «Лошадь более вежлива, чем ее хозяин». И скривила нарумяненные, съеженные губки, прикрываясь тончайшим платочком с преогромным вензелем Е над острыми зубцами короны. А старая обезьяна в дворянском камзоле и пудреном парике в ответ на эти слова произвела чрезвычайно учтивый и почтительный хохоток.

Бедный же Иван Ермолаевич погиб. Молниеносно кончив карьеру, он засел в своем родовом поместьи, по соседству с Дрызгачом, но не унывал, а развлекался по мере сил.

Отсюда — лещ.

Правда, лещ рыба глупая и плавал в Оке, а Иван Ермолаевич сидел в своем поместье, вселяя в крестьян трепет, но что из того? Волей случая люди и вещи приходят в соприкосновенье, как писал блаженной памяти философ Сковорода.

Лещ был извлечен из Оки, зажарен, и зеленый лакей, в обеденный час, внес в столовую расписанное китайскими домиками блюдо, как некую гробницу, где и покоилась рыба, выпучив побелевшие, мертвые глаза и залитая золотым сухарным соусом.

Но Иван Ермолаевич не был голоден. Зевая и ковыряя в зубах пальцем, он долго смотрел на леща и, ни мало не соблазнившись его видом, сказал следующее:

— Молоко скисает от жары, люди — от глупости. Тому достойный пример мой сосед Дрызгач.

А под вечер того знаменательного дня принимал у себя Дрызгач отставного генерал-аншефа.

Генерал-аншеф имел породистый, до прозрачности утонченный профиль, облагороженный белыми гофрами парика, он не говорил, а шелестел умирающим голосом, не волновался, а угасал, прикрывая веками свои перламутровые, ледяные глаза. Ходил он согнувшись и опирался на трость — подарок царицы. Набалдашник той трости изображал земной шар, точеный из яшмы и покоящийся на золотой орлиной лапе.

Гуляя по берегу Оки, генерал-аншеф изъявил желание отдохнуть, так сказать, насладиться пейзажем. Казачок вынес из дома кресла, и помещик Дрызгач усадил гостя в тень вечернего солнца, на то самое место, где он предавался излюбленному им занятию, — уженью рыбы. Там же и удочка осталась, брошенная на песок.

Заметив ее, Дрызгач содрогнулся от охотничьих вожделений и, извинившись, поспешил к удочке, к которой неизвестно каким образом прицепилась толстая рыбина.

Генерал-аншеф глянул снисходительно и вдруг засмеялся тоненьким скрипучим, ржавым смехом, точно завизжала на петлях лет двадцать не растворявшаяся дверь. За удочкой тащился лещ в совершенно готовом, выпотрошенном и зажаренном виде, и, глядя на это явленье, Дрызгач весь задрожал и побелел от гнева.

Переставши смеяться, генерал-аншеф потребовал карету и сухо попрощался с Дрызгачом. Карета, как ажурное, золотое яйцо, уже катилась по дороге. Дрызгач набрался смелости и, почтительно пожимая генерал-аншефову руку, похожую на кусочек мощей, попросил его о весьма важном и щекотливом деле, о том, что составляло для него предмет тайных горестей.

Генерал-аншеф тотчас же угас, даже похудел и, ничего не ответив, уселся в карету. Примяв мягкие подушки, он высунул голову из окна и, угасшим, истаявшим голосом, хотя очень отчетливо сказал:

— Я не могу ходатайствовать перед ее величеством за сына того человека, который выуживает из Оки жареных лещей.

И, не прибавив больше ни слова, дал знак кучеру, и карету, как игрушку, бережно, по мягкой дороге понесли рослые, вороные жеребцы.

Вечером, в Дрызгачовском доме бушевал барский гнев, а на траве, у реки, валялся злополучный жареный лещ и белыми глазами смотрел в оросившееся звездами небо.

## Кусочек истории.

В последние годы своей жизни Екатерина стала забывчива. И даже Зубов часто не мог скрыть раздраженья, когда она по нескольку раз переспрашивала одно и то же или, играя в карты, путала и врала.

Случались казусы и похуже. Маленький, официальный «серебряный» кабинет бывал свидетелем худших промахов и чудачеств стареющей женщины. Иностранные послы, придворные в шитых мундирах со звездами, седые генералы почтительно переступали порог кабинетика. Сплетни, насмешки, анекдоты и язвительные слова оставались за порогом. Холодные, льстивые глаза смотрели на старую, тучную женщину, развратную, как это знали все, — от фаворита до лакея.

На закате своих дней Екатерина заботилась о внешности, как и в молодые годы. Но под старость она была ужасна. Придворные притерпелись. Ласки Зубова вознаграждались ценой миллионов и крепостных душ. А те, кто не часто видели Екатерину, не могли забыть ее лица, — густо намазанное белилами и румянами, оно было неподвижно и мертво, как маска. Обезображенный морщинами рот, маленький и алый, навсегда сохранил надменность. Он казался не живым, не гибким, — рот мумии. Локоны пышной прически падали на дряблую, ожирелую шею. Круглые, лишенные ресниц глаза потускли, — у хищных птиц, когда они дремлют, такой бывает пленкой заволоченный глаз. Она задыхалась при ходьбе, тучная и одряхлевшая, чудовищная в своих атласных робах. И больше всех из ее приближенных, сильнее всех ее ненавидел вольнонаемник Платон Зубов.

Выходя из ее спальни, Зубов бледнел от отвращенья и бешенства. Сжимая кулаки и кусая губы, что-то бормоча, он четким стуком каблуков мстил тишине безмолвных покоев. Старик лакей, бесстрастно, с каменным лицом, шел впереди, высоко подняв бронзовый канделябр. И почти каждую ночь окна пятых аппартаментов озарял движущийся отблеск свечей, как трусливая зарница.

При Екатерине, больше чем когда-либо, двор изощрялся в искусстве лгать и льстить. Искренни были только иностранцы, да и то в одном,— в изумленьи, с каким они встречали Екатерину. Они ожидали увидеть женщину-титана с величественным челом, облагороженным мыслью. Она входила. Сразу чувствовалось, что она ворчлива и тщеславна, что она любит сплетни и лакомства. Она была в одно и то же время и расточительна, и скупа. Она мечтала всю страну превратить в огромный денежный сундук. Она властно подчинила дикое Приуралье, распоряжалась в казацких просторах Яика, как хозяйка у себя в кладовой. Она взяла Малороссию под крепостное ярмо, чтобы гнать золотую пшеницу на запад. То, мелочно экономя, она заставляла роптать двор, то презрительно отвечала подрядчикам, предлагавшим двадцать тысяч червонных за счистку позолоты с ремонтировавшегося Елизаветинского дворца, что не продает своих обносков.

Видаясь с Екатериной с болью, пережил разочарованье английский посол Каткарт. Притворяться-то и он привторялся, даже лучше остальных. Но он не обманывал себя. Уходя из дворца, он в складках своего камзола уносил приторный запах духов, грубую лесть, отравлявшую

воздух екатерининских покоев, уносил с собой неизгладимое воспоминанье о тучной женщине, жестокой и лицемерной, обокравшей Монтескье и рубищем философских цитат прикрывшей железный кулак Империи.

## Аглицкая кукла.

Незадолго до события на Оке Екатерина, через Каткарта, получила в подарок часы.

На резной доске сидел большой фарфоровый китаец, с узенькими, улыбающимися глазами, с косичкой. В брюхе у него был циферблат, и китаец мог качать головой, кланяться, старательно, по числу ударов, высовывать ярко-красный язык.

Часы были поставлены на консоль в Аванзале, и, проходя мимо, Екатерина никогда не забывала взглянуть на китайца. Польщенный вниманием, китаец с готовностью показывал свои штучки. Екатерина улыбалась, улыбались и придворные, слегка недоумевая — что же тут было смешного? Китаец, правда, был забавен, но язык показывал преобидно и ухмылялся всей своей фарфоровой рожей так, как будто потешался надо всеми и плевать хотел на приличия.

Однажды, шествуя через Аванзал, Екатерина остановилась у консоли с часами. Китаец безмолвствовал. В улыбке его было что-то скучное, не такое, как всегда. Екатерина усмехнулась и тронула пальчиком пружинку.

Китаец точно окаменел.

Екатерина приподняла брови немножко выше. В пестром брюхе китайца, вместо прежней, неугомонной возни, деловитого тиканья, было горестное молчанье. Узкие глаза вздернулись углами кверху, как два косых, восклицательных знака, вообще китаец как-то потускнел, скрючился, даже поглупел с вида.

Думая, что часы не заведены, Екатерина повернула ключик. Внутри куклы что-то щелкнуло, забурлило сердито и непонятно, потом смолкло, и стрелки, поколебавшись, остановились.

Екатерина обернула голову через плечо и ледяным голосом проговорила.

— Часы кем-то испорчены.

Дежурных камер-пажей пробрала дрожь. Челядь безмолствовала. Все с ожиданием смотрели на приближающегося по толстому ковру старика лакея.

— Матушка государыня... окажи милость... дозволь ручку поцеловать.

Екатерина руку протянула, но нахмурилась сильней. Лакей остановился и, опустя голову, что-то пробормотал.

— Не слышу — высокомерно уронила Екатерина.

Камер-паж толкнул лакея в спину, и тот, качнувшись вперед, неожиданно заключил:

— Его благородие офицер Дергачев тому причиной.

— Как так?

Старик развел руками и опять поник головой, как будто придавленный обрушившимся несчастьем.

— Прости, матушка государыня. Не доглядел. Вбежал, а уж они ссорятся.

— Кто ссорится?

— Его благородие вот с ними...

И указал дрожащим перстом на часы.

...А дело происходило вот как;

Молодому потемкинскому офицеру Илье Андреевичу Дергачеву, сыну известного нам приокского помещика, было поручено отвезти Екатерине эстафету.

Офицер струсил, входя в серебряный кабинет, но Екатерина снисходительно пошутила с ним и быстро отпустила, наградив улыбкой.

Илья Андреевич как во сне вышел из кабинетика и помнил только, что женщина за столом улыбалась неподвижными, нарумяненными губами, что одета она была во что-то блестящее, голубое, а на подушке рядом с ней спала тоахе, злющая американская кошка. Илья Андреевич вспомнил, что этой тоахе боялся весь двор, что она искусала Головину и поморгал — при его появленьи кошка выгнула спину и зубы ощерила так, что он попятился. И опять, — нарумяненный рот, духи, атлас, кошка, — очень Илья Андреевич был удручен, хотя, казалось бы, огорчаться нечему.

И тут подвернулся китаец.

Нечаянно подняв глаза на пепельный холодок зеркала, увидел Илья Андреевич прямо перед собой улыбающуюся рожу с высунутым дразнящимся языком. Оглянулся: китаец мигнул, прищурился и снова, еще более дерзко вывалил свой длинный, красный язык, потряс им в воздухе, глядя с вызовом на Дергачева.

Илья Андреевич был вспыльчив — в отца. Отправляясь во дворец, он хватил стаканчик для храбрости, зажевав оное преступленье мятой. Оба эти обстоятельства оказались роковыми — Илья Андреевич размахнулся и влепил китайцу пощечину.

Все.

Китаец болтнул головою, которая мало не разлетелась вдребезги, икнул, в брюхе у него что-то зашипело, хрустнуло и вслед за тем затихло. Ахнул появившийся в дверях лакей. Илья Андреевич оторвал глаза от куклы.

«...вот этак схватились за головку, чертыхнулись и пошли прочь...» — докончил лакей с горестным вздохом.

Вернувшись домой, Илья Андреевич еще раз выругался. Были приятели, пили. И опять: неподвижные губы, футляр для притворной,

неискренней улыбки, шумящий атлас робы, тоахе с ее лукавым, янтарным зрачком, дразнящийся язык китайца, — словом, вся чертовщина миновавшего утра. А на другой день Илье Андреевичу передали письменный приказ:

«...уличен в буйстве в нетрезвом виде... а посему отправиться в свою вотчину и оставаться там, доколе будут иные распоряженья...».

## Деревенька Негодяиха.

Одна из деревень помещика Дрызгача, — Матвеев Брод, — отличалась строптивым норовом.

Давным-давно, крепостной холоп Матвей Чупров жил у боярина Головачева в кучерах. Вез он как-то боярина в монастырь, на богомолье. Пора была ранняя, с заморозками, еще на снегу, но овраги уже прошли, и кое-где, в ручьях, образовалось предательское месиво, снежная каша.

Тяжелая, боярская колымага погрузла в этом месиве, ни туда, ни сюда. Боярин заорал на Матвея: «Ищи, дурак, дороги, не то вниз головой спущу в полынью!».

Матвей что ж? Матвей был человеком подневольным, — ухмыльнулся и пошел. Воротился он через полчаса, весь обледенелый, со стылым взглядом, с сосульками в волосах, с трясущимися руками, без шапки. «Нашел?»—«Нашел». Стронул лошадей с места, вывязил колымагу, благополучно доставил боярина в монастырь, распряг коней, поводил их по двору, задал корму, потом вернулся в избу, отведенную монахами для «странных» людей, бредущих с сумою по Руси, лег на лавку, под образа, закрыл веки и стал все тише, все реже дышать. Вошедший монах покрутил головою, достал свечку и вложил ее в негнущуюся ладонь Матвея, но рука уже была холодная, и свечка упала на пол...

А место, где Матвей вызволял барина, пошло под прозваньем Матвеев Брод.

Не в пример Матвею, тамошние крестьяне были строптивы и не раз пытались роптать на барщинные уроки и на Дрызгачовские порядки, за что платились собственными ребрами и спинами. А в бытность Пугачева под Казанью, Матвеевские крестьяне поднялись, засучили рукава, выдернули колья из прясел и пошли на барина Дрызгача войной.

Пугачев отшумел и кончился в Москве, на Болоте. Над разоренными деревнями каркало воронье, пачкало в крови клювы. Матвеевцы боялись по вечерам высунуть нос из избы, — на пригорке, на перекладине качался труп застрельщика Матвеевского бунта, — Ивашки Жбана, — качался уже который день, а снимать его было запрещено.

Отправив наиболее непокорных искать «небесного суда и защиты», а остальных жестоко избив плетьми, помещик Дрызгач призвал дьяка, и дьяк, с его слов, в присутствии чиновника, сделал запись:

«По нашему приказу, за тяжкую вину и попустительство, деревню Матвеев Брод, что в нашей вотчине лежит по Дутлову оврагу, именовать отныне Негодяихой.

Дворянский сын Андрей Дергачев, а на то послухи дьяк Никита да проезжий чиновный человек Лука Долгунов из Малых Проплешин».

## Банный леший.

Вздернутый на виселицу Ивашка Жбан был отцом дворового Ильюшки, крепостного человека господ Дергачевых.

Ильюшка был стройный парень, телом смуглый, бронзовый, с лукавой золотинкой в горячем, карем глазу, с крутыми кольцами кудрей, расплескавшими свою удаль по загорелому овалу лба. От такого парня грех на вершок ходит. И начал Илья Андреевич, опальный офицер, подмечать недоброе...

По милости злополучного леща и сухого, генерал-аншефова отказа гаснул Илья Андреевич в безвестности. Дни свои он проводил так: в полдень вставал, надевал турецкий халат с кистями, садился за стол, плотно кушал и, откушав, шел в девичью, — побаловаться с кружевницами. Набаловавшись, выходил на балкон, садился в кресло и зевал вплоть до вечера.

Ильюшку определили «состоять» при молодом барине. Илья Андреевич как-то глянул на него, засмотрелся, потемнел лицом.

— А ты все хорошеешь... — сказал он сквозь зубы.

Ухмыльнувшись, Ильюшка скромно опустил глаза.

— Хорошею, барин.

Илья Андреевич встрепенулся.

— Дурак ты! — сердито и встревоженно крикнул он, и даже шея у него побагровела от гнева. — Как ты смеешь без спросу хорошеть?

Перед Ильей Андреевичем стояло глубокое фарфоровое блюдо с узорчатыми краями, доверху полное вишен. Схватив в запальчивости то блюдо, Илья Андреевич не раздумывая пустил им в Ильюшку и даже нижнюю губу прикусил, в точности, как с китайцем. Блюдо пролетело на палец от Ильюшкиной головы и расхрустнулось о стену, осыпав ее фарфоровыми дребезгами. Глянув через плечо, Илья Андреевич высокомерно приказал:

— Подбери это.

Ильюшка ни слова не вымолвил, только тусклыми стали глаза, глухими, как лес в ночную пору. Опальный офицер капризно помахал на себя платком, вышел и горестным голосом сказал:

— Ах, ах, меня нельзя раздражать, у меня нервы.

...В летнее время спал Ильюшка не дома, в сенях, а в заброшенной бане, в конце сада. Баня заросла лопухом и крапивой, а в лунные ночи

серебряными рябинками лежал на исщербленных половицах свет. Воро тившись вечером в свой угол, запер Ильюшка банную дверь, зажег лу чинку, осторожно ступая прошел под завалившимися досками и нагнулся плеснув светом на гнилые половицы. В пол ввинчено было кольцо, при крытое соломой.

Ильюшка стал на колени, потянул кольцо. Внизу, слышно, зав зились, и чей-то голос сипло сказал:

— Дух сперло. Шибает.

Вслед за этим, над краем ямы, высунулась тяжелая, лохмата голова. Ильюшка присел на пол, стиснув лучинку в руке, глаза у нег были широкие, шалые. Лохматая башка скрылась в дыре и опять выди нулась, жадно втягивая воздух. Тот же голос насмешливо и грубо сказа

— Обеспокоенными глазами глядишь, Жбан. Не случилось чего наверху?

— Ничего не случилось.

— Хм... а табачку?

— На, чорт с тобой.

Из ямищи высунулась огромная, мохнатая лапа, взяла. Ильюшк сказал с ненавистью:

— Цельный день на задних лапах служишь, так еще от тебя, Ме ведь, спокою нет.

— Я не медведь. Я леший, — удушливо засмеялась голова.

Помолчали. В росистые лопухи зарылся нежный, лунный свет забелил кривые окошечки. Месяц с любопытством заглядывал в бан стена стала зеленоватой, призрачной, кое-где на ней обозначилась ч канка, плесенный узор. Лохматая голова, торчавшая над ямой, тож прочертилась серебром, в темных космах волос замутнело лицо, р провалился, обнажая оскал, космы взметнулись кверху, как рога, г лова стала лешей.

Ильюшка перехватил рукой загасающую лучинку, зажег об нее др гую, воткнул в пазуху стены и уселся, подпирая руками лицо. Он ул бался углом рта, — искаженным подобием улыбки.

— Медведь, а Медведь? Человека убить страшно?

В яме послышалась возня.

— Чего страшно? Страшного в этом нету ничего, ежели тольк умеючи. Очень просто. А ты кого собрался убивать?

— Отвяжись, Медведь. Разве я сказал «убить»?

— Ну, подумал. Все едино.

Ильюшка беспокойно вытянул шею, прислушался.

— Медведь, ты мне душу бередишь. Всякую ночь. Ты — как с весть. Ты камнем на мне!

— Беспокою. Верно, Жбан. Беспокою. Да, может быть, и мне н сладко, а? Не будь меня, ты бы днем барину угождал, а ночью с девкам путался, вон ты какой кудрявый. Ан нет! Я свой голос подаю. Я теб тревожу. Я тебя сна лишу, Жбан. Только глаза закроешь, а я вот о

тца помнишь, Жбан? Помнишь, как он между небом и землей на веревке отался?

— Молчи!

— Нет, Жбан, не замолчу. А сестру помнишь? Помнишь Стешу? теша смуглая рученька, коса до пят. Какая девка была — огонь! спомни, Жбан! Вспомни, как барин бусы ей подарил, красны камушки а смуглую-то шейку...

— Не смей, Медведь! Не мучь!

— ...пришел барин на утро, сел на постель, все смотрел и дверь шер, а у Стеши на шейке смуглой камушки оттиснулись, аккурат один одному, как она этими самыми бусами удавилась...

Ильюшку пробрала дрожь. Он водил по лицу скрюченными пальцами.

— Медведь! А может я это забыть хочу! — выкрикнул он с тоскою.

Над краями ямы показались мощные бугры плеч, пальцы рук ухвапись за трещавшую половицу.

— Нет, этого ты не забывай, Жбан. Этого нельзя забыть. Тебя раля приласкала, это ты забудь. Солнышком тебя пригрело, и это забудь. гнев держи про себя, держи крепко...

— Так ты думаешь железный я, что ли?

— А отца видел? А ночи под-ряд не снился он тебе? А ну, пощупай, Кбан, ковырни свою совесть, железный ты или нет?

— Гнев... Это верно, что гнев... Я как из лесу выдираюсь, выдраться е могу. Я, Медведь, Илью Андреевича прикончу. Он при раскрытом окне пит. А ночи у нас глухие... Я вот как... Я уж давно думаю... влезу в окно, от только луны не надо, ну ее, проклятущую. И знаешь, Медведь, все то снится мне. Так на яву-то ничего нету, как сон бывает, навалится не проснешься, дрожишь, плачешь, а сам ходишь, говоришь, видишь сех, и все это снится...

— Ты еще не горишь, Жбан. От тебя теперь чад только. Ты одуайся. Людей под беду подведешь, виноватая голова сто безвинных поубит. Еще не пришел твой день, Жбан.

— Да когда он придет?

— Придет, тебя не спросит.

Илья вскочил в бешенстве, задел головой лучинку, она погасла. баню плеснула темнота. Зарябила по стенам лунная зыбь. Со стоном льюшка повалился на лавку, дополз до окна, высунулся. Над лопуами дымилось лунное серебро, нежной завесой оно стояло вдали, под инами. Пруд зато был весь темный, только у берега поблескивала вода, этом месте крошилась на ломкие стальные осколки.

## Девятка пик.

Илья Андреевич, опальный офицер, с тоски ездил в гости. В Голоуповской усадьбе он кушал отменных стерлядей, любовался в конюшне, элой как снег, Сметанкой и хозяином остался доволен, ибо не почитал

его виновником невинной шутки с лещом. Но не стерляди и не Сметанк уязвили его сердце, а другое — Лизанька, барская забава, щеголих белокурая на крутых каблучках, с улыбочкой лукавой и мушкой н щеке.

При свечах играл опальный офицер с Иваном Ермолаёвичем в карт и, сердясь, ставил Иван Ермолаевич крупные куши, проигрывал и при ходил в волненье. И, в сердцах, поставил на девятку пик любимую ло шадь Сметанку, без которой уж никак не мог жить. Он не знал, как эт случилось, — вино ли ударило в голову, бес ли кинулся в ребро, ил ошалел он от желтого полыханья свечей, от лукавого карточного кру жева, — словом, взял да и кинул Сметанку на произвол капризного случая

А случай — хвать и повернулся к Ивану Ермолаевичу спиной Ахнул Иван Ермолаевич, пол под ним качнулся, глядит — и свечи уж плывут оранжевыми шарами, и дама черной масти осклабилась насмеш ливо в лицо, — совсем пропал Иван Ермолаевич сдуру.

Даже Лиза испугалась, зашумела желтым платьем. А опальны офицер спокойно потрогивал ус.

Сдавленным голосом Иван Ермолаевич сказал:

— Проси чего хочешь? Сметанку не дам. Я человек степной, гру бый, я приличиям не обучен, — говорю: не дам и не дам.

— Помилуйте, Иван Ермолаевич, я очень даже понимаю... - опальный офицер обернулся и пристально посмотрел на белокурую Лизу дразнила мушка на румяной щеке. — Владейте своей Сметанкой по гро жизни. Мне ваша лошадь не нужна.

И объяснил дальше, что сердце у него деликатное, не серди а, так сказать, вместилище нежных чувств, потому и уязвлен он Лизавето Марковной чрезвычайно.

Иван Ермолаевич, выслушав, достал из кармана фуляр ярко цвета и утер выступивший на лысине пот.

На утро следующего дня у ворот усадьбы ждал посланный за Л занькой Дергачевский рыдван, а Лизанька, просто одетая, без пудры мушки, тихо шла с узелком в руке от балкона. У ворот нагнал ее каз чок, едва перевел дух, брякнул:

— Иван Ермолаевич изволили приказать, чтобы серьги ему вер нуть...

И нетерпеливо прикрикнул:

— Ну, копайся скорее!

Лиза положила свой узелок на траву, вынула серьги из ушей протянула их на ладошке. Казачок пустился отжаривать к балкон а Лиза подняла узелок и робко влезла в рыдван, пахнущий плесенью Лошади тронулись-было, но сзади опять раздалось:

— Стой, стой!

Рыдван качнулся и перестал скрипеть. Подбегая казачок размах вал руками, с разбегу сунулся в рыдван:

— Эй, Лизка! А кольцо-то?

Лиза, не возражая, сняла с пальца колечко и, отдавая, прошептала:

— Больше ничего нету.

— Ну, ладно, валяйте!

Рыдван опять скрипнул, колеса хрустнули, и, — Голопуповская усадьба стала отдаляться, как медленно снимающий путы, дремотный, ночной кошмар.

## Сказ о яицком вороне.

...Росту он высокого был, лицом желт, лоб морщинистый, прикрыт волосьями. Борода черная, брови густые, глаза пронзительные, голос громкий, грубый, а руки маленькие, как не у мужика.

Откуда пришел он — никто не знал, а назвался государем и отметину показал, на руке, повыше локтя, пятно, будто птица клювом выхватила. И стал он войско собирать по Яику и войско собрал большое и у всякого человека в войске руки были мозолистые.

Почали усадьбы гореть. Почали господа прятаться в лесах и яругах. А крепостные люди господское добро дуванили, или бросали в огонь. Иные помещики надевали мужицкую одежу, а лицо тонкое, видать белое и руки не огрублены. Скажут, бывало, казаки — «а ну, как у вас траву косят?», а те стоят с косой ровно болваны, казаки горло дерут со смеху. А то вот еще зерькала: выволокут да и давай на них, как по льду ковзяться.

Был генерал Бибиков, старшой над царицыными людьми. Спесивый. Все хвастался: у меня да у меня. А на деле одни прорехи.

Под Казанью дело было. Подошла тут одна ночь. Снится тому генералу сон, расселось воронье по частоколу, а за частоколом небо — как кровь. И заворочался он тут на подушках, застонал, еле проснулся. Разлепил глаза, видит — голова к голове лежит у него на постели человек и в глаза смотрит. Генерал — кричать. Не тут-то было. Рта не может раскрыть. А человек усмехается, ус покручивает. Рубаха на ем синяя, по вороту шита и полушубок ладный, подпоясан ремнем, а на ремне ножны, аккурат для кинжала. Заложил руки за голову, поглядывает.

Генерал смекает, что крику он не боится. Бормочет — «кто, мол, ты таков?».

— Я ворон. Я с Яика прилетел.

— Да сюда-то как ты попал?

— А в окно.

Молчит генерал, трясется. И не знает, — сон ли, явь, а встать, крикнуть не может. Вот он и бормочет невесть что...

— Да ведь Яик-то далеко?

— А вот считай, — гость руку выпростал и пальцы загибает. — Считай. Толкачевский хутор да степные крепости, Бердская слобода, Оренбург-город, Уфимские села...

А генерала — мороз по коже.

— Это ты победы свои считаешь?

— Ну-ка, а ты свои сочти.

Заметался генерал. В окно глянул — и впрямь небо красное. И такая подступила к нему тоска.

— Зачем ты, говорит, меня тревожишь? Чего тебе нужно от меня?

А тот усмехается, глазами палючими играет.

— Чудак ты, генерал. Да нешто это я тебя тревожу? Подумай-ка. Ну? Это тебя твоя совесть тревожит.

Ахнул Бибиков генерал.

— Это ты врешь! Совесть у меня чиста!

— И опять же ты чудак! А башкира Мамыйку помнишь? А кыргыза с оторванным ухом? Вот они и тревожат тебя.

И пальцем показывает в угол. Там и впрямь кыргызенок в полосатом ватнике, бритый, синегубый, страшный.

— Так им и надо, собакам!

— Да не собаки они, а люди! Ты на креслице сидел, душеным платочком обмахивался, а Мамыйку к тебе волоком приволокли, как зверя, и впрямь он пред тобою зверь — грязный, беспонятливый. Послушал ты, как он по-своему лопочет, послушал и молвил: «Быть ему без языка, вперед бунтовать не станет». Вырвали Мамыйке язык, бросили его на дорогу. Очухался, пополз. Подобрали его мужики с Кобыльего хутора. А он, как рыба, раскрывает рот, ямищу свою кровавую, пальцем тыкает вверх, на небо. И пошла Мамыйкина душа к ихнему башкирскому богу. Спрашивает башкирский бог: «За что тебя казнили?». А Мамыйка, как был без языка, так и остался. Молчит Мамыйкина душа. «Ах, так! Иди по мытарствам, покудова не вымолит тебя ваш башкирский поп». А ихний башкирский поп думает: «Зачем я буду за Мамыйку молиться? Я лучше за Кырбаешту помолюсь, он богатый купец, он заплатит». Так и мается Мамыйка на небе, как маялся на земле. И нет тебе, генерал, спокою от Мамыек, от черных людей.

Затрясла генерала дрожь. Как вскочит! А гость не пускает его. Сказочку, мол, скажу. И начал:

— Моя сила великая. Моя сила со всех концов идет, на разных языках говорит, идет моя сила с уральских степей, с Яицких раздолий, из-под крепостей да городов, да усадеб. А вороги мои разбегутся, как воск от огня стают. И начнем мы теснить самую Москву. Подойдем мы к заклятому урочищу, прозывается Черный Яр, здесь пойдет наша сила на убыль. Потому — раскинет Москва железные лапы и не возьмут их ни пушки наши, ни ножи. Станем мы у вас, царицыных людей, в полону ждать урочного часа, конца заклятию. Пройдет столько-то заклятых лет, на конец того пробьет наш час, поднимем топор и обрубим на тех железных лапах когти.

Сказал и пропал. Вскинулся Бибиков генерал, хватился — лежит он один на высоких подушках, в окна смотрит белый день. Кричать не стал, загреб рукой ворот рубахи, дернул, оторвал, лежит, грудь цара-

пает. А глаза мутные, неживые. Вошли к нему люди, а он мертвый и вся грудь, как птичьей лапой, в кровь изодрана, запеклась...

Сложен тот сказ в городке Курмыше лета 1775...

## Бред.

Была одна судьба у Ильюшки и Лизы. Чуяли они друг в друге одну и ту же муку, — одна, купленная на час для барской утехи, другой, купленный на всю жизнь жестокой прихотью крепостного права. А ночи, как на грех, темные были, крепок был сон опального офицера и даже ночной Ильюшкин собеседник тратил понапрасну укоряющие слова.

— Свернет тебе Дрызгач гульливую башку-то...

— Ну, и пускай свернет, — огрызался Ильюшка, бессонными, прочерневшими глазами глядя вверх на запаутиненные балки потолка. — Все одно добром не кончу.

После недолгого молчанья из ямы слышался голос:

— Брось ты эти дела, парень! Подался бы со мной на низовья. Нога, дери ее совсем, не пущает, а то бы я... эх...

— Может, и сам уйду. Отвяжись!

— Не уйдешь, Жбан. Ты теперь крепкой веревкой привязан. Ну-ка рванись, ну?

— Отвяжись, постылый! Пошто ты мне про веревку зудишь?

Ильюшка скинул ноги с лавки, беспокойно вглядываясь в темноту. Из темноты слышался злой шопот:

— Нет, Жбан, ты теперь не убежишь никуда! Ручным сделался. Знаешь, как дикого голубя приручают? Подпустят к нему голубку домашнюю... видал? Он топорщится, косится, а она воркует, ластится к нему. Ну, и конец тому голубю, Жбан.

— Молчи, проклятый!

Ильюшка схватил деревянный ковш и запустил его в уродливую тень на стене. Тень пропала. Ильюшка взялся за волосы, дернул изо всей силы и, отрезвев от боли, глухо проговорил:

— Не так ты меня судишь, Медведь. Не таков я... Не приманишь меня на голубку.

— Бесись не бесись, дело твое. Сам выпрастывайся, как знаешь. На-ка ковш-от, прими...

Ильюшка подождал и опять лег, подложив под голову руки. И с лютой злобой, спиравшей дух, вспомнил, как вышел Илья Андреевич на балкон, пальцы вытер батистовым платочком, а у Лизы долго стояла на запоре дверь. Вышла она, потупив заплаканные глаза. Ильюшка твердо глянул ей в лицо и припомнил Стешу, куснул зубами нижнюю губу, мало не выхватив кусок мяса, — на Лизиной шее, в два раза обматывая ее, висели бусы-кораллы, красные камушки...

Он прошел мимо. Но весь день помнил — тонкую, Лизину шею, с красными капельками снизанных бус — помнил и сходил с ума от чер-

ной тоски, не отпускавшей сердца. Стеша не выходила из головы, виде. ее, видел глазами старого лешего из темной баньки, — памятный сле. на смуглой Стешиной коже, страшный отпечаток вдавившихся в шек бус, позорное клеймо еще не остывшей барской ласки. И, закрывая глаза Ильюшка, как в забытье, скрипел зубами.

...Он очнулся. Из окошка тянуло холодком, пахучей, рассветной сыростью. В окошко смотрел месяц, круглый и тусклый, как запотевшее, серебряное донышко. Ильюшка хриплым голосом позвал:

— Ты спишь, Медведь?

— Чего тебе? — с протяжным зевком откликнулся голос.

— Медведь... — Ильюшка жадно глотнул воздух, нашаривая что-то около себя. — Дьявол... Сон-то какой был...

— Да ты допрежь очухайся.

Ильюшка протянул раскрытую ладонь. В слабом утреннем свете тускло блеснуло лезвее ножа.

— Гляди, Медведь.

Ильюшка подбросил руку. Нож метнулся кверху и, отлетев, вонзился в половицу, чуть трепеща на острее, легко вошедшем в гнилую доску. Ильюшка жадно следил за ножом.

— Видишь, как потрафил?

— Ну, вижу. А ты, Жбан, шалый парень.

— Не зря упал, торчит. Видишь, торчит? Помнишь, говорил, что придет мой день? Вот он и пришел, Медведь.

Ответа не было. Из ямы высунулась голова и молча смотрела. Ильюшка поднял нож, вытер, усмешка вдруг проблеснула на его осунувшемся, сумрачном лице.

— Коли доведется мне, как отцу, на веревке болтаться, по крайности хоть она отворотится, мимо пройдет. И на том ладно...

## Ильюшкина гибель.

Была у Ильи Андреевича левретка.

На тонких ножках беленькая дрянь, жеманница и сластена, только своего хозяина признавала левретка. Но каким-то шалым вечером надоело ей лежать на подстилке у балконной балясины, вскочила, отряхнулась и весело побежала в сад, вслед за прошумевшей Лизиной робой.

Лиза вела собачку неведомыми путями, не свернула на знакомую дорожку, а пошла тропкой между липами, в глушь и в тень, в бархатно-коричневую пустоту, пряно пахнущую молодым хмелем. И впервые увидела левретка бесконечное разнообразие Дергачевского сада и весь путь тревожил ее неизвестностью, путь в хмелевых зарослях, мимо пруда, мимо густой, сонной папороти, вольно раскинувшей вырезные шатры под лапами старых деревьев. Много часов спустя, сквозь сон ворчала левретка и потягивалась недовольно, может быть, снились ей большие,

мокрые лопухи, разрушенная банька и подозрительное, железное кольцо в половице, которое под соломой, никем не замеченная, раскопала она... А Илья Андреевич, прогуливаясь утром по аллее, понять не мог, что сделалось с собачкой, отчего, сердясь и горбясь, тянет она его куда-то в сторону. И барин Дрызгач не чаял, что его покой дерзко будет нарушен вторжением дворового Федьки, у которого посинели губы и мука была в глазах.

— Барин, так что приказали вам, Илья Андреевич, доложить, что беглый холоп Терешка Медведь сыскался... Нога у его сломана... В бане сидел... в яме. У Ильюшки Жбана укрывался. Видать от этого самого, от сломанной ноги и не ушел Терешка куда подале...

Дрызгач повернулся всем своим тучным телом, глянул на Федьку маленькими, белесыми глазами, медленно что-то жуя. Глаза смотрели тупо, как у животного, нижняя губа отвисла, пятясь к двери, Федька успел заметить, — что-то липкое и холодное было в этих злых зрачках, противное, как поскользь змеи, убирающей в кусты свои гибкие кольца.

...Под вечер, после того, как беглого Терешку почти замертво оттащили на рогожке от крыльца, Илья Андреевич вошел в дом, отыскивая по комнатам Лизу.

Отворив дверь, он прямо перед собой увидел большое зеркало в ореховой раме с амурами, а из зеркала смотрело на него искаженное отчаянием женское лицо. Илья Андреевич нахмурился. Он припомнил взгляд, который невзначай уронила на Ильюшку Лиза, припомнил смуглое Ильюшкино лицо и фарфоровое блюдо, разлетевшееся вдребезги, припомнил, как побежала левретка за Лизой в сад... Он повернулся, медленно закрыл за собою дверь и за дверью, в зеркале с амурами, пропало заплаканное Лизино лицо.

...Весенними заморозками, в студеное утро, подняли борзые зайца у опушки, в редких, веселых зеленях. Над полем небо было холодным и бодрым, чуть-чуть румяным, в бороздках похрустывали корочки льда. Заяц поднял уши, насторожился и вдруг ноги сами вынесли его из ложбинки, навстречу студеной, красной заре. По раздражающему заячьему следу припустились борзые и завязалась в зеленях, под тугим, заревым румянцем, веселая, жестокая, смертельная игра. Заяц кружил. Добежав до вскопанной канавы, отделявшей опушку леса, он приноровился и прыгнул, только задние ноги царапнули по глине, но тотчас же, сбитый собакой, комком покатился по земле. И долго темнели на глине ржавые пятна крови.

В заячьей игре были короткие вспышки, когда казалось ему, что он обманет собак, вот только добежать до кустов, до валежника, спутать, отвести следы. Он до конца, до канавы бежал навстречу красной заре, которая, как веселые ворота, стояла над лесом. Он даже не заметил, как насели сзади собаки, было не до того, бежал из последних сил, из

последнего вздоха, из страха последнего, так, в суматохе, на бегу, в сумасшедшей скачке и вышибли дух борзые из русачьего тела. Ильюшка же сразу и бесповоротно понял, когда вспомнил гонку эту, что даже у глупого зайца есть нечто такое, что ему, Ильюшке, не дано. И все же, когда Илья Андреевич крикнул сзади: «беги!», он снялся с места и побежал к волнующемуся, ржаному ковру. И, глядя на него, старик доезжачий громко ахнул, выпучив страдальческие, замутневшие глаза, — он-то знал, что от борзых не следует бегать...

## Из дневника графини Головиной.

... Ее величество очень огорчена смертью своей любимой собачки Земиры. Лекарь герр Говергут ничего не мог поделать. Государыня изволит гневаться и на приеме хмурая была. Чесноков натерпелся страху...

Мне только что принесли новую бальную робу, коричневую с розовым. Камер-фрау Билибина опять будет в раже, она и прошлый раз ела меня глазами. Она и Лопухина хотят меня с Зубовым поссорить, а через это с государыней. Виновата ли я, что в беседке «Малый Каприз» со мной вертиж сделался?

Очень государыня жалеет Земиру. Вечером были похороны. По сему случаю бал не состоялся. Земиру похоронили у пирамиды, в саду, на собачьем кладбище. После был ужин в пятых аппартаментах, без вина, траурный. Граф Сегюр обворожителен. Чтобы утешить государыню, которая все время предавалась печали и была рассеяна, он составил трогательную надпись, ее должно вырезать на плите, под которой лежит бедная Земира. Вот она:

«Здесь лежит Земира, и опечаленные грации должны набросать цветов на ее могилу. Как Том, ее предок, как Леди, ее мать, она была постоянна в своих склонностях, легка на бегу и имела один только недостаток: была немножко сердита, но сердце ее было доброе. Когда любишь, всего опасаешься, а Земира так любила ту, которую весь свет любит, как она. Можно ли быть спокойною при соперничестве такого множества народов? Боги, свидетели ее нежности, должны были наградить ее за верность бессмертием, чтобы она могла находиться неотлучно при своей повелительнице».

...Государыня очень милостива к Сегюру. Он вдвойне изящен: француз и аристократ...

## Ожившие часы.

Починенные мастером часы опять красовались на консоли под большой картиной с голландским пейзажем. Попрежнему сидя на резной деревянной доске, китаец лукаво щурил косые глазки, он даже как будто потолстел и вся его фарфоровая рожа блестела румянцем. И попрежнему внутри китайца слышалось торопливое, неугомонное тиканье, деловитая, бодрая возня.

В скорбный день похорон Земиры, в сумерки, проходил Аванзалом старый граф Штакельберг.

Шел он очень медленно, волоча больную ногу и упираясь концом трости в пол. Парик на нем был одет криво, беспомощно съехал на одно ухо, глубокие старческие складки обозначились на пергаментной коже щек. Граф Штакельберг ростом был мал, в сумеречном свете, важно проливавшемся в просторные окна, походил он на больную измученную обезьяну, в жабо, пудреном парике, в камзоле, обильно украшенном орденами и звездами.

Каждый шаг стоит ему усилий. Глаза ввалились, были мутны, смотрели, казалось, в прошлое, в давность прожитых лет. Надменность и брюзгливость, застарелое высокомерие стыло в складе изуродованного морщинами рта. Таким его знали все. Таким его боялись. Его старались не затрагивать, осторожно обходили, как маленький, ссохшийся, но еще ядовитый гриб. Из пестрой придворной толпы, его одного выделяла Екатерина своим зорким взглядом, эта маленькая, дряхлая развалина напоминала ей почему-то цепного пса, верного хозяину, приковавшему его к конуре...

Граф остановился. Глаза его упали на улыбающееся лицо куклы, он подошел и с равнодушным любопытством рассмотрел часы. Китаец, яркий даже в сумерках, дружески подмигнул. Пружинка щелкнула. Длинный, красный язык высунулся, голова отвесила поклон. Столовые часы на мраморной колонке начали отбивать свои восемь ударов.

Граф отшатнулся. Он, казалось, негодовал. Потом пробормотал: «Однако... Это любопытно...» и пригнулся к болванчику, растерянно моргая подслеповатыми глазами, стыдясь такой интимности между ним и насмешливо оскалившейся куклой. Китаец, ничуть не смущаясь, в упор брюзгливому, морщинистому лицу, в упор орденам и звездам, в упор этому самодержавному обломку, разрушенному восьмью десятками лет, в последний раз, с ироническим поклоном, показал свой фарфоровый язык.

# Элчан-Кайя.

Повесть.

**Борис Житков.**

## I.

Ветер дул с моря. Плотный тяжелый ветер. Налег на город и на порт. Все окошки захлопнулись, все ворота рты зажали, голые деревья спиной повернулись, и полохнул дождь. Не дождем, а будто каменьями кто с неба кидал: зло и метко. В рожу, за шиворот, ляпнет в глаз. И все побежали и спрятались в домах. Закрылись, законопатились. Зажгли свет, а дети залезли на кровать и шептались тихо.

А греку Христо нельзя было бежать. Он стерег в порту мешки. Мешки были покрыты брезентом. Ветер рвал брезент, а Христо ловил его за угол, и его подбрасывало на воздух и ударяло об мостовую. Черная собака лаяла на брезент, металась и хватала Христо за штаны.

Такой был ветер.

Христо был сильный человек, он прикатил огромные камни, навалил, прижал брезент и ругался, чтоб не заплакать.

Большое парусное судно, что стояло на рейде, подняло якорь, поставило крохотный парусок, как платочек, и понеслось в порт, в ворота: не могло выдержать погоды.

Христо забился в угол, а собака стала моститься ему под пальто.

Зыбь била в портовую стенку, и брызги фонтаном летели вверх — выше мачт.

Ветер принес тучи, нагнал темноту и завладел всем.

## II.

Христо сидел на дворе и стерег брезент. Христо думал: теперь уж никого в море нет. Суда ушли в порт, а люди под крышу. Одно только судно в море не спустило парусов: каменный корабль Элчан-Кайя. Ему все нипочем.

Много чего рассказывали про каменный корабль. Чего только не выдумывали! И турки одно, а греки другое. Будто шел корабль на

недоброе дело, совсем уж к берегу подходил и вдруг окаменел, как был со всеми парусами, со всеми людьми.

И верно: когда издали смотришь, днем на солнце — горят паруса, накренившись на бок пенится в волнах корабль и все ни с места. А подойдешь — эта скала торчит из моря. — Какой же это корабль?

Но турки говорят: давно это было, давно окаменел корабль, и море размыло, разъела вода каменные паруса и снасти. Чего люди не выдумают! Говорят же, что по татарским кладбищам клады закопаны. Копни только — и море золота. Врут люди. А кто и выкопал, разве скажет?.. Врут и про Элчан-Кайя, просто торчат из моря дикие скалы торчком, остряком, а зыбь бьется об них и пенится.

Но отойдешь полверсты, оглянешься — догоняет на всех парусах каменный корабль: прилег на бок, пенит воду.

И Христо стал думать, как это сейчас стоит там в море один этот корабль, и разбивается об него черная осенняя зыбь. А собака ворошилась в ногах и лизала мокрую шерсть, а заодно и хозяйские брюки.

Маяк стоял на конце мола, далеко в море, в воротах порта. Светил красной звездой, не мигая. Христо сжег полкоробка спичек, пока закурил трубку, а маяк не моргнет на штормовом ветру. И кому светить в такую ночь? — никого нет в море. Один только есть корабль...

## III.

И вдруг маяк погас на секунду, потом опять мелькнул... опять... И снова загорелся ровным светом. Значит кто-то прошел мимо маяка. Кто-то парусами закрыл маяк. Христо привстал и через дождь и шторм стал пялиться в море.

Неужели парусник, что спрятался в порту, выскочил в ворота на полных парусах? Нет, вот он белеет в углу гавани. И тут Христо заметил в темноте — на минуту совсем ясно — огромные как облака паруса и высокий как дом корпус. Корабль медленно входил в порт. Медленно в шторм на всех парусах.

Он занял половину порта, серый как скала. Молча без огней двигался медленно, тяжело, чуть накренившись на бок. Не спуская парусов, он стал посреди порта. Христо дух затаил — смотрел во все глаза.

Элчан-Кайя! Каменный корабль пришел в порт.

Ой, и никто не видит — все заперлись, все спрятались. Один Христо в порту, а в порт пришел Элчан-Кайя. На утро рассветет, и все увидят. Не устоял Элчан-Кайя в море!

А с каменного корабля спустили шлюпку. Ну да шлюпку. Вон движется, ползет по воде. Как будто кусок от корабля отломился. Медленно идет. Уж хорошо видать через дождь. Христо спрятался под брезент.

— Пусть, — думает Христо, — меня нет. И сам буду считать, что меня нет.

Запрятал собаку под брезент. Ведь кто их знает, какие там люди? Старинные турки. Одним глазком смотрит Христо из-под брезента. А шлюпка идет прямо туда, где мешки, где Христо. Теперь уж под самой пристанью. И вот брякнули весла и стали на пристань вылезать люди. Каменные старинные турки, в каменных чалмах.

Вылезли не спеша. Сорок турок вылезло на берег. Христо знал по-турецки, прислушивался, но ветер рвал голоса: ничего не разобрать. Собака заворчала на них под брезентом. Христо ей морду, что было силу, стиснул меж коленами. А турки пошли по каменной пристани и дробно стучали тяжелыми ногами. Серые все как камень Элчан-Кайя.

Прямо в город пошли турки. А впереди высокий, все брюхо широким поясом замотано, из-за пояса кривые ручки торчат — пистолеты. Будто каменные крючки. Близко прошли от Христо — медленно, тяжело. Еле гнутся каменные ноги, не треплет штормом бороды и все вниз глядят, в землю. На ходу друг о друга стукаются каменным стуком.

Куда пошли турки? Христо слышит, как грохают шаги по мостовой. Войдут в дома, выдавят двери, закаменеют люди от страха и всех греков, всех русских вырежут за ночь турки. Бежать надо, всем сказать, надо в соборе в колокол ударить!

Христо хотел двинуться, да вспомнил, — стоит под берегом турецкий баркас. А глянул в море: полнеба закрыл Элчан-Кайя каменными парусами. И никто не видит. Светит ровно красный маяк. Крепко спят там люди под дождь, под штормовой ветер.

— Нет меня, нет меня на свете, — думает Христо. — Ничего я не видел, — и со всей силой зажмурил глаза. Только слышит сквозь бой зыби, как тяжело толчет в пристань каменная шлюпка.

Прижался Христо к собаке, — все же вместе, все же она живая, теплая. И тут вдруг вспомнил, что осталась в городе жена Фира. Придут турки...

— Не может грек терпеть это! — сказал Христо и стал ползти под брезентом, вдоль мешков, подальше от берега, дальше от шлюпки. Вылез Христо, хлещет дождь, как стрелы. Собака хвост между ног зажала, смотрит на Христо: куда?

— Да не чудится ли мне? — подумал грек. Оглянулся и обмер: еще выше стали каменные паруса, еще ближе надвинулся на город Элчан-Кайя.

## IV.

И ударился Христо бежать. На пролом — через рельсы, через барьеры, бежал Христо. Гнал его ветер, гнал дождь холодными прутьями. Христо бежал в темноте. Перебежал площадь и тут стал. Дробно по мостовой шаркали каменные ноги.

Христо прижался к стене: по трое, тринадцать рядов прошли старинные турки, а впереди высокий. Газовый фонарь мигал, пламя билось, но Христо увидал, что у высокого одна рука. Другую он нес подмышкой,

и она сжимала кинжал. Только не каменная рука была подмышкой у высокого турка, а живая, и кинжал вспыхивал сталью на свету.

Христо пошел за турками, шел поодаль, затаив дух. Боялся будить людей, боялся стукнуть в ворота, чтоб не оглянулись турки. А они прошли город и вышли на большую дорогу. Вот прошли татарское кладбище и встали в круг. Зажгли каменные факелы. Мутным светом стал огонь и недвижно замер.

Тогда вышли двенадцать турок в круг и стали ятаганами копать землю. Выкопали большую яму, круглую могилу. И высокий турок спустился и положил на дно живую руку с зажатым кинжалом. И вот все загудели: запели молитву. Будто обвалились с гор камни и грохочут с раската.

Тут завыл пес. Христо накрыл его полой, но турки пели — не слыхали. Потом все стали разматывать пояса, и посыпалось из поясов золото. В сорок ручьев лилось золото в яму и чуть не дополна засыпали ее турки. Закидали землей, затоптали тяжелыми ногами.

Стали опять по три в ряд и пошли. Христо хорошо заметил место и покрался вслед за турками. Глянул — а над городом сквозь темь и дождь, высоко в небе маячат серые паруса. Христо бежал за турками, держался за мокрый картуз и думал:

— Уйдут турки — все золото мое. Никто не видал: кто в такую погоду нос высунет. Скорее бы ушли турки!

И вдруг подумал:

— А что если останется один человек, один каменный человек — стеречь золото. Нет, — сказал Христо. — Нет, я прибегу раньше них на пристань, я всех пересчитаю: ровно сорок их было, если сорок уедет, значит мои деньги.

И Христо пустился переулками бегом, скорей в обход к пристани. Тихонько прокрался к мешкам и заполз под брезент. Дождь перестал уже и не стучал по брезенту, как по железной крыше. Только ветер еще злее рвал с моря и нес брызги на берег.

Христо стал прислушиваться: идут, идут турки. Вот остановились и стали один за другим спускаться вниз. У Христо глаза слезились от ветра, но он не мигал и считал:

— Раз, два... вот тридцать девять турок спустились в шлюпку. Один остался на пристани — высокий турок. Он обернулся к городу и сказал на крепком старом турецком языке:

— Прощай город, — сказал турок. — Похоронили мы грехи наши, похоронил я руку, что отсек мне праведный человек, вместе с моим кинжалом непобедимым.

Поклонился городу — чуть не до земли чалмой, и слез в шлюпку.

Христо перевел дух. Шлюпка подошла к кораблю и как вросла в него.

Взметнул Элчан-Кайя парусами над городом, повернулся и полетел каменный корабль из порта. Вышел в море, и растаяли во тьме серые паруса.

## V.

Христо вылез из-под брезента, потер усталые глаза.

— Да что за чорт, — подумал грек, — было ли все это? — И вздрогнул. Услыхал — бьются друг о друга, говорят камни.

— Фу-ты! Да это ветер треплет брезент, а брезент ворочает камни, что навалил по краям Христо.

— Заснул я, привиделось, не был в порту Элчан-Кайя, не ходили по городу старинные турки.

А собака сидит против Христо, смотрит ему в глаза и подрагивает мокрой шерстью на холоду.

И не знал Христо: ходил он за город на татарское кладбище или проспал за полночь, и все привиделось.

Собака знает. А как спросить?

— Филе, Филе, — сказал Христо, — ходили мы с тобой?

Собака подвизгнула и стала тереться мордой о Христину руку. Глянул Христо на море — пусто в порту. Ровно сочит свой красный свет маяк, и стоит в стороне белый парусник.

Вот и ветер стал спадать. Дунул, дунул и оборвался. Мутным заревом дымит за облаками луна. Капнули по небу звездочки. Прошел шторм, выдулся ветер, и глянула с неба спокойная луна. Круглая, ясная.

— А трелля, трелля, глупости это, — сказал Христо и обошел мешки.

Все спокойно. Постучал ногой в камень. На утро заведующий скажет: хороший человек Христо, уберет мешки Христо. Все убежали, а Христо молодец — иди спать.

## VI.

Чуть стало солнце подыматься, пошел Христо домой, и Филос-пес поплелся сзади.

Вошел в дом, жена ахнула.

— Где был, откуда грязи набрался? Точно волокли тебя за ноги по дороге!

Глянул Христо: весь бок в грязи, в липкой глине. Посмотрел на собаку: по брюхо собака вываляласъ, на хвосте комьями глина налипла.

Глядит Христо и не знает, что жене сказать.

— Элчан-Кайя, — шепчет Христо и стоит глаза выпучив.

Жена тараторит:

— Снимай, — кричит, — ботинки! Ты пастух или сторож? Смотри, морда вся в грязи.

Пока стаскивал пудовую одежду, надумался Христо что врать:

— Привезли, — говорит, — хохлы хлеб, полколеса в грязи, обмазался я об колеса.

Помотала жена головой и поставила чайник на мангал.

Смотрит Христо на собаку, собака на него из угла косится.

— Хорошо, — думает Христо, — что собака говорить не может. А то узнала бы баба про золото, испугалась, ни за что не пустила бы и одного червонца взять. Все соседки узнали бы, весь город. Пришло б начальство, и весь клад свезли бы в контору, а Христо остался бы в дураках.

Разве грек может так сделать? Грек и пьяный ума не теряет.

VII.

— Ложись спать, — говорит жена, — наморился за ночь. — И пошла во двор чистить Христину одежду.

А Христо лег и ни минуты не спал. Все думал про золото, про каменный корабль Элчан-Кайя. Никто не знает, никто не видел. Может, и не было. И взглянет на собаку. А собака на него глядит черными глазами.

— Мы с тобой знаем, — сказал Христо и ткнул себя в грудь.

В обед вышел Христо в город. Солнце светит, как будто не осень, весна настала. Топчется веселый народ на улице, в кофейнях посудой звякают, спорят греки за столиками. В кости играют, кофий пьют. Зашел Христо в кофейню: дай, думает, послушаю: если люди видели — разговор будет. Узнаю, что люди говорят.

Натворила за ночь погода всяких бед: две мельницы положила, рыбакам сетки оторвала, и с часовни крышу сдернула. Головами люди качают, языками цокают, а про корабль — ни слова.

Три чашки выпил Христо и до самого вечера сидел в кофейне. Уж свет стали зажигать, вдруг слышит Христо кто-то сзади сказал:

— Элчан-Кайя!

Обернулся — видит за столиком два моряка-парусника и один говорит другому:

— Иду я судном, — думал, уж с дороги сбился, а ведь берегом иду. Вот уж должен быть Элчан-Кайя. Прошел уж два тополя — нет и нет Элчан-Кайя. Так и в порт пришел. Повалило, видать, штормом каменный корабль.

— Э, брось масал рассказывать, — сказал другой. — Сколько лет стоял, не может этого быть. Проспал ты или пьян был. Не ушел же в море Элчан-Кайя на каменных парусах?

— Спроси моих людей, — говорит тот, — коли не веришь. Никто не видал. Пойди, найдешь каменный корабль: я тебе на него мое судно меняю.

Тут они встали и вышли.

— Ну, — думает Христо, — значит верно. Дождусь ночи и пойду на кладбище в степь.

VIII.

Зашел Христо домой, крикнул собаку и пошел мешки стеречь.

Луна взошла и тихую ночь привела. Светит лунная дорога на море, как капля крови рдеет маяк на молу.

А Христо ждет, чтоб смолк город, угомонился б народ, заперся б в домах. Высоко уже взошла луна. Вот и город замер, только чуть хлюпает зыбь под пристанью. Нашарил Христо старый чугунный колосник, взял подмышку и тихонько свистнул собаку.

Спит город в белых улицах, а Христо в тень прячется, пробирается закоулками на большую дорогу.

Вот и кладбище татарское. Стоят татарские могилы, каменные столбы на могилах, и чалмы высечены. Блестят на луне.

Покосился Христо на каменные чалмы и позвал собаку поближе. Потрепал по спине.

Вот оно место.

Огляделся Христо быстро кругом и вонзил колосник в землю. Раз, раз! летит земля комьями. Торопится Христо узнать, есть ли золото, не померещилось ли. Рвет землю, рук не слышит. Тычет колосником. Чует только, как стоят за спиной чалмы на кладбище.

Уж с четверть проковырял Христо. Нет золота.

— Трелля, трелля!—говорит Христо,—привиделось!—А сам все бьет землю злее и злее. И вдруг лязгнул колосник, и блеснуло на луне золото. Христо сразу в пот бросило. Кинул он колосник, выхватил из земли червонец и зажал в кулак. Оглянулся на кладбище.

Спокойно стоят каменные чалмы за оградой, блестят на лунном свете. В ушах это звенит, или двинулось там что?

— Филе, Филе, — шепчет Христо, — чужой, чужой!

Насторожилась собака, напружилась. Уркнула глухо.

Нет, все спокойно. Никого.

Запустил Христо горсть в ямку, ухватил червонцы и сунул не глядя в карман. Скорее заровнял ямку, притоптал ногой и бежать прочь.

## IX.

Как вор прокрался в порт, за мешки, за брезент и тут вынул из кармана червонец. Старая мусульманская монета, а чистая как вчерашняя. Горит, на луне нежится. Погладил ее Христо и опять в карман.

Тяжелый карман. Звенит, раскачивается, говорит в нем золото. Не утерпел Христо, снова вынул золотой: поглядеть, на руке взвесить. Поцеловал Христо золотой — спрятал. Двенадцать раз за ночь вынимал Христо золото, чтоб поверить, чтобы порадоваться.

Чуть светать стало — пошел домой. В карманах руки держал, чтоб молчало золото. Услышат люди: откуда у Христо деньги?

— Приду домой, — думает Христо, — найду ему место.

Разве грек не знает, как надо сделать?

— Фира, — сказал Христо жене, — я больной совсем. Никакой нету силы: тянет в животе, и тошно мне.

Жена зажгла свет.

— Что ты, Христо, что тебе дать? Ты красный какой!

— Дай, — говорит Христо, — огурца соленого, мне лучше будет.

Жена побежала в погреб, принесла пару огурцов, а Христо швырнул огурцы.

— Жаль тебе хороших огурцов мне дать. Это не огурцы — жабы болотные.

Три раза Фира бегала, а Христо все больше ругается. Заплакала — бросила ключи.

— Иди, — говорит, — сам, ты как с ума сошел. Видать, болезнь в голову бросилась.

А Христо поднял ключи и пошел. Нарочно ключами бренчит, чтоб не слыхала жена, как золото в карманах переливается.

Пошел в погреб. Вырыл в углу яму, схоронил золото и засыпал землей, а сверху картошкой закидал. Один только червонец оставил Христо.

## X.

А когда ушла жена на базар, Христо вышел, запер двери и побежал на слободку к старому еврею.

Еврей жил на самом краю в последнем доме. Древний старик. Весь в белой бороде, как в снегу.

Христо вошел в темную комнату: одно маленькое окошко и то рядном завешано.

Еврей посмотрел на Христо красноватыми глазками, и показалось Христо, что все он знает: и про клад, и про Элчан-Кайя.

И подумал Христо:

— Задушить еврея!

А старик сидел, барабанил сухими пальцами по столу, брякал ногтями и смотрел, моргая, на Христо.

Минуту Христо стоял и дышал, как корова, и сказал наконец:

— День добрый!

Разве грек не понимает, как дело делать?

— Здравствуй, — сказал старик и сложил руки под тощим животом, а пальцы один вокруг другого бегают.

— Вот, — говорит Христо, — дядя мне из Турции с верным человеком деньги послал. Старые деньги.

И показал Христо турецкий червонец.

Еврей подошел к окну, отдернул рядно и поглядел на червонец. Стукнул о подоконник.

— Старые деньги, — сказал старик. — Крепкие деньги.

Попробовал на зуб:

— Каменные это деньги.

Христо кровь в голову бросилась, а старик задернул рядно.

— Хочешь двадцать рублей?

Отсыпал он Христо двадцать серебряных рублей. Христо завязал их туго в платок, забил в карман и пошел прочь, и дверь забыл закрыть.

Раньше жены вернулся Христо. Достал лопату и наточил ее на камне, наточил как бритву. Обернул ее мешком и сунул под крыльцо.

На ночь взял с собой лопату, свистнул Филоса — собаку и ушел в порт.

Ночь стояла тихая, звонкая. Тугой свежий воздух стоял над степью. Как Христо ни таился, ярко щелкают сапоги по камням. Снял Христо сапоги и босиком засеменил по холодной дороге. Собака сидит сторожит, а Христо роет. Хрустит лопата, а грек оглядывается, не идет ли кто. Но вот уже открылся клад, блестит, как золотая лужа на луне. Глянуло золото Христо в глаза. Шире, шире раскопать! Уж не оглядывается Христо ни на дорогу, ни на кладбище: тычет лопатой, кидает наотмашь землю. Шире бы, шире открылось золото! Вот уже круглым озером стоит и золотой рябью играет на луне, как шевелится все. Глядит Христо и думает:

— Мое, мое это озеро! И стал руки окунать в золото. Вот оно, вот, как вода, как море переливается. Ниже, ниже наклоняется Христо. По локоть закопал руки. Вот оно, глубокое, льется, всплескивает звонкими плесками.

И бросился Христо в озеро, лег и греб под себя золото. Золотыми брызгами летели на луне червонцы и падали с сладким звоном. Нырнуть захотелось греку, зарыться с головой. Закопаться в тяжелое золото. Зарыл лицо в червонцы, огреб руками золото и замер. Прильнул — не шевелится.

И вдруг слышит: шелохнулось что-то внизу и хрустнули под спудом червонцы. И тут вспомнил Христо про руку с кинжалом. Вскочил и прыгнул на землю. Собака с испугу вбок метнулась. Встала, раскорячась, и смотрит на хозяина. А Христо отбежал шагов сорок, оглянулся. Ласково нежится золотое озеро в черных берегах, не шелохнется. На небе луна стоит, лбастая, мирная и будто в сторону смотрит.

— Нет, — сказал Христо, — трелля, трелля: показалось. — И позвал собаку. Подошел к золоту, стал на берегу: показывает собаке, тычет пальцем в золото и шепчет прерывисто:

— Филе, Филе, чужой!

Собака сторожко стала над золотым озером, потянула носом и вдруг ощетинилась черной шерстью. Глаза налились. Ворчит собака, дышит зло и глаз не сводит с озера.

— Ну, — говорит Христо, — стереги, стереги, Филе.

Схватил мешок, наплескал туда червонцев, а потом стал, очертя голову, забрасывать золото землей.

— Как же! Оставит грек золото у проезжей дороги!

Отошел Христо шагов сто, стал, оглянулся и смотрит. Брови сдвинул. Смотрит, спокойно ли лежит золото под землей. И Филос рядом стоит, вперед подался. И показалось Христо, что чуть шевелится земля над золотом и собака оскалилась, заворчала.

— Да нет! вздор! Туча по луне прошла. Качается сонная луна на облаках и вот мутится все на земле, шатается.

Плюнул Христо, свистнул весело собаке и пошел с тяжелым мешком.

— В чем дело? — сказал Христо вслух. — Я тебя не трогаю, лежи себе на здоровье. Какое твое дело? Держи свой кинжал заклятый!

А дома закопал Христо золото под картошкой.

И стал думать, как перенести домой весь клад. Так таскать — беда: заметят люди и тогда пропал. Все пропало и все скажут: дурак Христо, болгарин и тот так не сделает.

А! Разве грек не выдумает, как сделать?

## XI.

В обед сидел Христо дома. Фира ему поставила на стол баклажаны. А Христо говорит:

— И что баклажаны — баклажаны! Вчера были баклажаны. Что у тебя каждый день понедельник? Поди купи полкварты вина. Я тебе расскажу. Радость у нас.

И звякнул по столу рублем.

— Что, что? — кричит Фира, — говори, дорогой мой, хорошенький!

А Христо крикнул:

— Бре! Неси вина, вперед.

Выпил Христо стакан. Фира против него сидит на табуретке. В глаза смотрит, трет коленки руками, ждет.

— Вот, — сказал Христо, и поставил пустой стакан. — Вот прислал мне из Трапезунда дядя деньги.

— Ой, поставим плиту, Христо! — говорит Фира, — и к мужу придвинулась, — довольно мангал этот.

— Бре, — говорит Христо, — плита, плита! Плита — глупости. Я лошадь куплю. Дроги куплю. Бочку поставлю и буду воду возить людям. Хорошую воду. С горы воду: Темиз-су.

У Фиры слезы в глазах заблестели. Помолодела гречанка.

— А не лучше — рыбой торговать будем?

Христо замахал руками:

— А, скажет баба, что по горшку поленом! Рыбу постом кушают, а воду каждый день пьют.

Купил себе Христо клячу у цыгана, справил бочку на колесах. Два ведра сбоку повесил и лейку жестяную.

— Ну, — сказал Христо жене, — я с ночи буду выезжать и уж до света буду с водой в городе. Еще никто мангал не разводил, а Христо уж будет по улицам в ведро колотить: вода темиз-су!

— Вот, какой ты у меня! — говорит жена.

— Э! Бре! Грек не знает, как воду возить?

Ездил Христо в горы к источнику, набирал полбочки воды. А как назад ехать, становился около клада и насыпал в воду золота.

Уже все золото перевез Христо. На один раз только осталось.

## XII.

Везет Христо в город бочку, тарахтят по мостовой колеса. Ведра звякают, танцует на боку лейка, бьется о бочку, а Христо изо всей силы колотит ведро и не слышно, как звенит в воде золото.

Запоздал нынче Христо: дорогой шлея лопнула, завозился. Уж солнышко высоко, люди с базара идут, а он только в город въезжает. Мелкий дождик закапал, что слезы. Небо низкое и скучно в улицах, как в сырой комнате. Люди сгорбились и ходят как больные, укутанные.

Один Христо орет на всю улицу веселым голосом:

— Вода темиз-су! Кому воды?

И бьет в ведро, как цыган в бубен.

«Еще раз и все золото дома», — думает Христо, и заорал во всю глотку:

— Ой, кончаю, кончаю! Подходи, кончаю!

И вдруг видит идет по панели старый еврей. По уши замотанный вязаным шарфом и белым веником торчит из ворота борода. Оглянулся еврей на Христо и подошел не спеша.

— Ну, дай напиться, коли хороша вода.

«Принесло его чорта», — подумал Христо, остановил лошадь. А кляча тяжело дышит. По самые оглобли раздувает бока.

— Во что я тебе налью? — говорит Христо.

— Лей! — говорит старик, и подставил горсть. Сам смотрит на Христо. Хотел грек оттолкнуть еврея, оглянулся, уж люди смотрят: чего старик из бочки пить просит? среди улицы в осенний дождь?

Дернул Христо чоб и побежала вода на мостовую светлой дугой. Набрал еврей в горсть, отхлебнул.

— Спасибо,—говорит, — хороша вода,—и губами почмокал: — золотая эта вода! — и опять глянул на Христо.

Ударил Христо по кляче — поломал кнутовище.

— Зарезать чорта паршивого, задушить надо гадюку, — сказал Христо.

## XIII.

Пригнал бочку домой и до вечера стерег с крыльца воду с золотом. Все старый чорт из головы нейдет. Убить такого — семь грехов простится. Сидит, старая рухлядь, днем в потемках, а ночь читает толстые книги по корявым буквам. А что там каракулями написано? Все там есть, говорят люди. Про все они, проклятые, знают!

## XIV.

Выпил с досады две кварты крымского вина Христо и ночью погнал свою клячу на большую дорогу прямо к татарскому кладбищу.

Луна уже поздняя была и темно было дорогой. Грязь липкая клеит колеса. Еле тянет в гору проклятая кляча. Рвань ты! Сатана! Анафема!

Вырвал Христо из плетня здоровый прут держи-дерева, руки об колючки изодрал, и стал колотить по лошади.

— Довези ты меня до дому и сдохни, пацукла!

Возьмет свое грек. Пусть тут Чатыр-даг на дороге станет.

Темно. Еле нашел место Христо. Стал копать, рвать землю. Швырял во все стороны.

— Дорвусь, — шепчет Христо, — возьму свое и пусть тут яма остается. Пусть дураки думают, зачем яма копана.

Хорошо берет лопата, как бритва острая.

Христо стал лопатой нагребать скользкое золото прямо в бочку. Конец уже. Ковырнул впотьмах: и вот она рука, вот он кинжал.

— А, — сказал Христо, — ты что на меня кинжалом наставилась? Будет грек турецкого кинжала бояться!

Спрыгнул грек в яму, наступил коленом на руку и стал разжимать пальцы. Крепко держит проклятая турецкая рука. Кольцо на руке царапается. Христо губы прикусил от натуги, стал бить кулаком по мертвым пальцам.

Собака рядом возилась, лаяла во всю глотку. Уж все равно было Христо. Схватил он лопату и стал со всей силой сечь по проклятым пальцам. Как капусту в корыте толок Христо и на куски, в кашу истолок руку.

Взял кинжал.

Отер о землю рукоятку и сунул за пояс, за спину. Потом плюнул в яму, нашвырял ногой земли и тронул домой.

— Моя взяла! — сказал Христо и пошел весело под гору.

Проходил мимо татарского кладбища. Маячат каменные чалмы впотьмах.

— Эх, вы каменные башки! — крикнул Христо и стукал кнутовищем по чалмам, где мог достать.

Весело стало Христо. Сел на дроги, ударил по кляче и пустился вскачь под гору. Звенит сзади золото, как смеется.

— Бре! разве не вырвет грек у турка золото? — и кинжал ихний заклятый заткнул грек за пояс.

Запрятал Христо золото в погреб и лег спать веселый.

А на утро жена сказала, что сдохла кляча.

— Тфу! — сказал Христо, — туда ей и дорога. Перережь ей горло и продай татарам.

## XV.

На берегу, под обрывом стояла хата. В ней жил старый мастер Мустафа-Али-Оглу Измирдан. Перед домом стояла широкая турецкая фелюга: килем на чурбанах, кольями подперта. Мустафа жмурился на низком осеннем солнце, щурил глаз и смотрел на фелюгу.

У фелюги бок пробит, торчат дубовые ребра. Ободрала бок на каменьях. Теперь терпит, ждет. А Мустафа острой стамеской кромсает деревянные лохмотья.

Рыба в море не ждет. Надо к среде ребятам спихнуть фелюгу в воду. Спешит Мустафа, упрел, стружки в бороде и красный фес на затылок съехал.

И вдруг из-за фелюги черный пес: выскочил, мохнатым хвостом машет, а за ним веселый грек Христо — крепкие усы, зубами светит, стучит прутиком по фелюге.

— Э, здорово, Мустафа-Измирдан. Зачем тебе это барахло?—и ткнул Христо больную фелюгу под брюхо.— Что ты сапожник, что весь век латки ставишь?

Мустафа надвинул фес и посмотрел из-под руки:

— Здравствуй якши-адам, здорово хороший человек. Что ты кричишь?

А Христо на месте не стоит, шуршит ногами в стружках.

— Такая мастеру работа нужна? — кричит. — Вот, я тебе работу дам!

— Идем в хату, — сказал Мустафа и пошел к двери.

— Вот, — говорит Христо, — сделай мне новую фелюгу. Сделай, чтоб крепкая была, как боченок, плотная, как орешек. Кругом крытая, чтоб ни щелочки. Чтоб как утка на волне играла.

Мустафа сидит на полу у стены и глядит на Христо. А Христо подсел к нему на корточки и прямо в лицо ему кричит:

— Большие паруса поставим, чтоб летала фелюга. На триста пудов грузу надо. Дубовые ребра, дубовый водорез!

— А что делать будешь? — спросил мастер.

— Рыбу буду возить, камсу, селедку из Керчи. По триста пудов.

— Умное дело, — сказал старик.

— Триста рублей, твой лес, — сказал Христо и встал.

Долго старик смотрел в пол, потом вскочил как молодой.

— Идем,— говорит,—я тебе лес покажу. Демир! Железо не дерево,— и взял Христо за рукав.

Ударили по рукам и оставил Христо мастеру сто рублей.

— Хорошо, — говорит старик, — найму людей, скоро сделаем. А работу мою все знают.

И построил Мустафа Измирдан фелюгу для Христо.

Скрипка — не фелюга: гнутая, стройная, натяни только струны — запоет.

## XVI.

Прощается Христо с женой Фирой на пристани.

— Ну, довольно,—говорит,—я воду возил, пускай она меня повозит. Пойду за рыбой в Керчь. Ты меня скоро не жди.

Поднял парус Христо, только оттолкнулся от берега — прыгнул с пристани Филос-пес.

— Тьфу на тебя, — сказал Христо.

Не вернулся: нехорошо, говорят, назад раньше времени поворачивать,

Долго Фира вслед смотрела: горят на солнце новые паруса. Режут ветер острым верхом. Вышла фелюга в море. Светит парус на зеленой воде.

— Как цветок в поле, — сказала Фира, — вздохнула и пошла к дому.

До вечера шел Христо берегом. Вот уж два тополя прошел. Смотрит грек туда, где стояла каменная скала Элчан-Кайя: нет, нет корабля. Ходит зыбь над тем местом. Стал смотреть Христо в воду: нет и в воде не видать каменных парусов.

— Пропал Элчан-Кайя, пропал со всеми турками. А кинжал ихний заклятый, здесь за поясом.

И хлопнул Христо по боку, звякнул кинжал в новых ножнах, брякнул серебряными насечками.

— Теперь нечего мне бояться — и повернул прямо в море.

А что, не знает грек, куда судно вести?

Хорош ветерок дует с берега, распустила широко паруса фелюга, и как змейка так и слизывает с волны на волну. Урчит вода за кормой. Христо стоит на палубе, сдвинул шапку на бок и стукнул ногой в палубу.

— Эх, лечу, куда хочу, хочу в Трапезунд, хочу в Инэболи. Неси, посудина!

А Филос свернулся кольцом под мачтой и всякий раз подымал голову, как стукнет хозяин каблуком в звонкую палубу.

## XVII.

На третий день открылся берег, переплыл Христо море.

Рассыпался по красному берегу белый город. Будто копья воткнуты, торчат острые минареты. Как хлеба горбушки, поднялись средь домов турецкие мечети. А вон в порту паутиной стоят мачты. Туда и направил фелюгу Христо. Прямо в Трапезунд угодил грек.

Бре! Может это быть, чтоб заплутал грек в море?

— Ай фелюга! — говорят в порту, — сама как змея, паруса как облако.

Толпится народ на пристани. Христо бросил канат, десять человек ловить кинулись. И скоро все узнали, что приехал грек с того берега, один с черной собакой.

Пошел Христо в город: бегает, суетится народ, ослы орут неистово, все кричат, суются, топчутся, как будто круглый день пожар в городе. Все греки — шумливый народ.

Одни турки в тени сидят. Кто кальяном дымит, а кто и соломку сосет — ждут судьбу.

Пробился Христо на базар и стал торговать шелковые платки — большие, вышитые с золотом, с кисточками. Торговался, охрип. Вороха накупил Христо. Наложил четыре бочки, забил наглухо и покатил на фелюгу.

«Привезу, — думает Христо, — тайком провезу. И продадут верные люди».

Не ждал Христо, сорвался ночью и побежал парусом домой. На пятую ночь прокрался к берегу. Тихая ночь стояла на море. Черная вода дышит — издалека идет усталая зыбь, с того берега.

Свистнул Христо тихонько пять раз и подползла к нему шлюпка. Черные греки-дангалаки сидят. Чернее ночи. Перекатил им Христо четыре бочки, а они ему от себя рыбы насыпали полфелюги. Как серебра налили камсы-азовки.

— Ну, — говорит Христо, — завтра деньги приготовьте, разбойники.

— Хоть нынче ночью, господин, — шепчет дангалаки. — Верный твой товар.

— А кинжал мой вернее, и вынул свой турецкий кинжал.

И вот горит мутным светом в темной ночи кинжал, змеится по воде серебряный блеск. Христо чуть его из рук не выпустил.

— Айя, метера! — говорят дангалаки. — На сейчас тебе деньги, и стали разматывать пояса.

«Святое мое дело! — думает Христо. — Некого мне бояться, некого мне бояться», и пошел к красному маяку.

## XVIII.

Фира сидит на фелюге, торгует камсой, глупая баба.

— Не дорожись, — говорит Христо, — дорвалась дура до рыбы.

Хорош ветерок, дует прямо в море. И вот уже вечер ползет на землю.

Можно ли греку — а, диаволос! — терпеть бабьи штуки?

«Слетаю еще, еще слетаю, — думает Христо. — Весь Трапезунд, всю Турцию привезу домой; со всех мечетей ковры сорву; набью денег полный дом и все куплю! Весь Крым, с Балаклавой и с Севастополем!»

— Скорей ты, баба, давай остатки даром!

И вот белая борода на пристани. Стоит старик и красными глазками хлопает. Стоит старый дьявол, что-то шепчет здоровому хохлу на ухо. Что-то вертит в костлявых пальцах. И показалось Христо, что щурится еврей на камсу, на фелюгу одним глазом.

«Не даст он мне жизни! — думает Христо. Стал мне старый чорт на дороге».

Что, грек не знает как тарарам сделать?

— Что?! — орет Христо, — что ты говоришь?

А еврей не смотрит — шепчет хохлу в ухо.

— Что тебе, собачья душа, надо?—и зашагал Христо по доске на берег.

«Пхну в воду старого чорта, — думает Христо, — за него ответа не будет. Его ветром валит». И тискается Христо к еврею.

А старик держит в руке перстень, тычет на него хохлу пальцем. Горит как кровь на перстне красный камень.

— Ты что?— наступает на старика Христо: узнал Христо турецкий перстень.

— Колечко человек торгует, — шепчет еврей, пятится.

Толкнул его Христо, как бумажный опрокинулся старик, а кольцо упало в море. Бросились люди подымать старика.

— Что ты, сдурел? — кричат греку.

А Христо на фелюгу, тискается меж людей.

— Зачем не зарыл могилы? Бросил там руку! На мертвой руке это кольцо блестело!

— А, проклятое племя! Семя Иудино! — бормочет Христо.

— Да, — говорит сосед, — этот глянет — молоко киснет.

Рассердился Христо, выкинул камсу в море.

— Фира! иди домой! — кричит. — Нечего тут бабам делать! Живо! Фиру в спину толкнул. Завизжал Филос: ногой его в зад стал колотить Христо. Обрезал канат, обрезал якорь, и в море.

Один Христо в море, не взял и собаки, думает: зачем старик бросил в море перстень? Кто его там подымет?

— Э! Когда высохнет море, пускай берут свой перстень каменные турки! Ничего не сделал ни кинжал, ни перстень — один Христо да лопата. Треллія! Святое мое дело.

## XIX.

Набрал Христо двенадцать бочек, платков, ковров и целый бочонок масла розового.

«Отдам масло в собор, — думает Христо, — и буду святой человек».

Вот уж третья ночь. Низкое небо стояло и стал ветер. Повисли паруса. Одно море кругом, и один Христо среди моря. И вот пошла зыбь с востока — видно, там работает ветер. Слепые зыбины ходят. Чуть по гребешкам всплескивают. И показалось греку, что ищет слепая зыбь фелюгу, щупает гребешками. Тронет фелюгу, обшарит, как слепой, и покатит дальше. Сидит Христо, руль держит, сжался, съежился, а фелюга болтает обвисшими парусами и нет ходу.

Огляделся Христо и никого не видать, только черно стало с востока. Идет ветер — левант. Двинул ветер в паруса и понеслась фелюга, как с испугу. Оскалилась зыбь, пошла белыми гребнями. Бьет в фелюгу, бросается в паруса.

«Нашла меня, нашла! — думает Христо. — Выноси, фелюга!»

А еще полморя впереди.

Темно стало, и рванул шторм от леванта. Сидит Христо, вцепился в руль и уж не уворачивается от зыби — неси, неси, фелюга! увидать бы на утро свой берег. Воет ветер в снастях. Остановится черная зыбь над Христо, постоит, и разорвется белым гребнем, рухнет на палубу. Мокрый Христо сидит и уж не оглядывается на зыбь. Вдруг слышит сквозь вой, сквозь рев — шум идет от леванта: будто небо оборвалось и метет подолом по морю.

Повернулся грек, глянул тайком из-под козырька, и показалось, будто облако несется на него, сбоку с леванта. Не мог глаз оторвать, держался за руль и не знал, куда свернуть. Ближе серое облако. Паруса! Обмер Христо — узнал паруса.

— Элчан-Кайя!

Элчан-Кайя идет на каменных парусах, уходят мачты в черное небо и белой пеной режет на-двое в море.

Вьется фелюга меж зыбей, но уж пол неба закрыл Элчан-Кайя, прямо на Христо идет.

Крикнуть не мог Христо и шепчет без звука:

— Аман! Аман!

И прошел каменный корабль по фелюге, а сам растаял в шторму, в черном небе.

# Цветы[1]).

I.

Цветы мне говорят прощай,
Головками кивая низко.
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край.

Любимые! Ну что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

II.

Весенний вечер. Синий час.
Ну, как же не любить мне Вас,
Как не любить мне Вас, цветы?
Я с Вами выпил бы на ты.

Шуми, левкой и резеда.
С моей душой стряслась беда.—
С душой моей стряслась беда.
Шуми, левкой и резеда.

III.

Ах, колокольчик! твой ли пыл
Мне в душу песней позвонил
И рассказал, что васильки
Очей любимых далеки.

Не пой! не пой мне! Пощади.
И так огонь горит в груди.
Она пришла как к рифме «вновь»
Неразлучимая любовь.

---

[1]) Из черновых рукописей С. Есенина.

IV.

Цветы мои! не всякий мог
Узнать, что сердцем я продрог,
Не всякий этот холод в нем
Мог растопить своим огнем.

Не всякий, длани кто простер,
Поймать сумеет долю злую.
Как бабочка — я на костер
Лечу и огненность целую.

V.

Я не люблю цветы с кустов,
Не называю их цветами.
Хоть прикасаюсь к ним устами,
Но не найду к ним нежных слов.

Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю.
Его люблю я и приемлю
Как северный наш василек.

VI.

И на рябине есть цветы,
Цветы — предшественники ягод,
Они на землю градом лягут,
Багрец свергая с высоты.

Они не те, что на земле.
Цветы рябин другое дело.
Они как жизнь, как наше тело,
Делимое в предвечной мгле.

VII.

Любовь моя! прости, прости.
Ничто не обошел я мимо.
Но мне милее на пути,
Что для меня неповторимо.

Неповторимы ты и я.
Помрем — за нас придут другие.
Но это все же не такие —
Уж я не твой, ты не моя.

VIII.

Цветы, скажите мне прощай,
Головками кивая низко,
Что не увидеть больше близко
Ее лицо, любимый край.

Ну, что ж! пускай не увидать,
Я поражен другим цветеньем
И потому словесным пеньем
Земную буду славить гладь.

IX.

А люди разве не цветы?
О, милая, почувствуй ты,
Здесь не пустынные слова.

Как стебель тулово качая,
А эта разве голова
Тебе не роза золотая?

Цветы людей и в солнь и стыть
Умеют ползать и ходить.

X.

Я видел, как цветы ходили,
И сердцем стал с тех пор добрей,
Когда узнал, что в этом мире
То дело было в октябре.

Цветы сражалися друг с другом,
И красный цвет был всех бойчей.
Их больше падало под вьюгой,
Но все же мощностью упругой
Они сразили палачей.

XI.

Октябрь! Октябрь!
Мне страшно жаль
Те красные цветы, что пали.
Головку розы режет сталь,
Но все же не боюсь я стали.

Цветы ходячие земли!
Они и сталь сразят почище,
Из стали пустят корабли,
Из стали сделают жилища.

XII.

И потому, что я постиг,
Что мир мне не монашья схима,
Я ласково влагаю в стих,
Что все на свете повторимо [1]).

И потому, что я пою,
Пою и вовсе не впустую,
Я милой голову мою
Отдам как розу золотую.

*Сергей Есенин.*

[1]) Зачеркнутый вариант: «Что все здесь в мире повторимо».

# Отрывок из поэмы «Сквозь дым».

1.

— «Контакт?»
И —
«Есть!»
И судорожный винт
Сверкнул как щит.
Хлебнувши белой крови,
Взревел Клерже:
— «Эй, летчик, в высь!
Земные цепи рви!»
— «Всегда готов!
Но ты, стосильный друг,
Не подкачай!»
И — взвился под крыло,
Вдруг побледнев, росистый, ясный луг.
Привет, заря! Прощай, аэродром!
И легок
дых
раздувшихся ноздрей
От скорости,
вцепившейся в рули,
И ширится
мозаика полей
Под розовую
музыку
зари.

2.

Бродяга ветр, в твоих руках просторы,
В лохмотьях туч ты скрыл проворный нож.
Я человек. Мой конь послушен шпорам
Не проберет стальное сердце дрожь.
С наскока рвешь ты шлем быстрокрылатый,
Облип вокруг — огромный, скользкий спрут —
Слезишь глаза. Сквозь меховые лапы
Ты грубо лезешь щупальцами струй.

Тебя б воспеть, да некогда сегодня.
Мне дан приказ — взять станцию
в «бомбеж» —
Взгляни-ка там — из самой преисподней
Полезло солнце — краснобокий еж.
Смотри, смотри, как золотые иглы
Впились в лицо разбуженной земли
И на Днепре с баржой буксир настигли,
С плешиной лес мгновенно подожгли.
Бредут деревни с сизыми горбами
Игрушечных, невозмутимых хат.
Ощерился щербатыми зубами
Седой овраг, взглянув из-за леска.
Я врос в Ньюпор. И солнце щеку лижет,
Как славный пес горячим языком.
И пухлые громады ближе, ближе...
Рукой достать живой, слепящий ком.
И в клочья рву я потолок воздушный.
Как в молоке! Не видно и крыла!
О, это влажное, противное удушье! —
Но миг — и сочно блещет синева!
Как странно здесь... Безмолвное приволье!
Как величав хрустальный, тихий мир:
Моим крылом всколебленное поле
И чаша пестрая оторванной земли...
Альтиметр считает сотни метров,
Поет Ньюпор тысячегорлый ямб.
Как плеск знамен в лицо удары ветра
И ширит грудь ритм буйный бытия.
Там — подо мной — по вспучившимся комьям —
Влачишь ты, солнце, раскаленный плуг.
Тень самолета призраком огромным
Несется за крылом на всем скаку.

3.

Прорыв. И сквозь — зигзаг окопов белых
И заграждений блекло-синий строй.
И вдруг — вблизи — блеск молньи голубой —
Ревущий клуб разбрызнутой шрапнели.
Я всем открыт. Мой путь снаряды взрыли.
Вдыхаю дым. Пусть смерть глядит в упор!
Пусть я один — на быстролетных крыльях —
Я красную звезду над вами распростер!
И, не дыша, вы ждете с вожделеньем,

Когда удар перешибет крыло:
Взмёт огненный... Бессильный вихрь паденья...
Вам не видать пылающий мой гроб!
Лицо горит. И через борт я вижу,
Как кружится над бездной колесо,
И кажется, что птица неподвижна,
И кажется, что сам я невесом.
Там станция. В нее течет колонна.
Клубится пыль и строй штыков блестит,
И на путях, как змеи — эшелоны.
Заметили. Но поздно — не уйти!
Крутой «вираж». Я рву предохранитель —
Качнулась бомба... Сгинула... И — блеск.
И — черный столб... И вновь Ньюпор резвится.
И гонит страх штыки и пики в лес.
Вновь «разворот». И в гущу вновь подарок,
И жуткий взвив взбесившихся коней.
Депо как ад. Там в языках пожара
Безумный пляс затравленных людей...
Волчком земля!
                    Растут,
                            растут
                                    орудья,
Фигурки, впившиеся в «передки»...
Жмет спуск рука.
                    Из горла
                            хриплый
                                    крик...
Не мне считать окровавленных груды...
Пора домой! Ты пламенную память
Оставил по себе, стальной мой друг Ньюпор!
Пора! Кричат, грозят нам кулаками
Те мельницы, взобравшись на бугор:
    — «Убийца,
                    Стой!»
                            Стыжусь. На сердце — боль.
Мне стыдно неба в голубом загаре!
Но вестник я
                    краснознаменных
                                    Воль,
Несущих свет обоим полушарьям!

*Валентин Наумов.*

## Возвращение.

Ах, давно здесь не был,
Позабыл я небо,

Под косынкой дыма
Мой завод любимый,

Стали голос звонкий,
Стан девичий тонкий.

Мне навстречу трубы
Вытянули губы.

Вскинули объятья
Шатуны, как братья.

— Здравствуй, шестеренка,
Шустрая сестренка!

Я теперь не с вами:
Заболел стихами.

Помнишь, как не скучно
Я шалил подручным?

Горн, мой друг горячий,
Я от встречи плачу,

Ах, без вас морозы
Высушили слезы,

Провели сединки —
Тоненькие льдинки.

Ты мотор, мой песик,
Огненный носик,

Я от счастья плачу,
Славная собачка.

Ты мне так же мило,
Ржавое зубило,

Связан был с тобою
Кровной теплотою.

Раньше рад стараться
Так часов двенадцать,

Нынче рубим, носим
Мы всего лишь восемь.

— Здравствуй, домна-мама!
Ты над пылкой ямой

Все пекешь ватрушки,
Добрая старушка.

Сестры мои, братья,
Рад вас всех в объятья,

С жаркою любовью
Целовать до боли!

*Мих. Герасимов.*

# Песня.

Эх, ударьте в струны, начинайте песню,
Дружно начинайте, чтобы звук шальной
Рассказал о деве, деве всех чудесней,
О любви далекой, о весне былой...
Чтоб звенела песня горестно и чудно
О минувших бурях, о погибших днях,
О друзьях, уснувших вечно непробудно,
О цветах увядших, голубых цветах...
Чтоб дрожали слезы, чтобы бились струны,
Чтобы злая мука песней изошла, —
Буйным половодьем отшумела юность,
Милая, что снилась, к другу не пришла.
Эх ты, жизнь цыганка, темная судьбина,
Что колдуешь сердцу, звездами звеня, —
То ли мать родная потеряет сына,
Друг ли не увидит золотого дня...
Что ж вы приумолкли? Громче, звуки, лейтесь,
Все мы только гости в голубой стране,
Наливайте в чарки, наливайте, смейтесь, —
Счастье только в песне, песне, да во сне.

*Владимир Кириллов.*

# Жатва.

Мне и в поле мнится полдень улиц
И асфальтовая полумгла.
Милой полдень — золотистый улей
И пчелиные колокола.

Разные мы.
Но любовь сварлива
И не чужды избам этажи...
Над серпом волнуясь, рыжей гривой
Путается ветерок во ржи.

Синь — во все глаза.
И, улыбаясь,
Милая сказала: — Долог день... —
Синь ли пала навзничь, голубая ль
Кофточка в золотую тень.

Перепела хриплый сонный голос.
И над грудью девичьей крутой
Тяжело склонился русый колос,
Солнцем, зноем, хмелем налитой.

Горяча земля, как грудь нагая.
Желтым облаком качало рожь.
Солнцем, зноем крепла, набухая,
Плоти торжествующая дрожь.

И когда в стыдливости и зное —
Стихли, шопот слушая земной,
С колоса склоненного ржаное
Тайным севом пало вдруг зерно.

*С. Обрадович.*

* * *

Свежей
И зеленей трава!
Стал горизонт на миг зелено-светлым.
Каким покоем веют дерева,
На все село кричавшие от ветра.

Устал и я,
Придя с полей,
Где тишина, как сумрак, опускалась.
И вот в меня струится все светлей
Сладчайшая закатная усталость.

* * *

Ты здесь ждала меня, награда.
Цветет черемуха, цветет.
Она с ума меня сведет,
Белея издали из сада.

Но пролетают дни досуга,
В прощальный путь глядит лоза.
О, если б век мои глаза
Несли сады и зелень луга!

* * *

Ах, этот свод,
Как пламя синий,
Но тише ласковой воды —
Напоминает мне пустыню
И самаркандские сады.

Ах, этот полдень —
Светлый, светлый
Над яркой цветенью лугов,
Как будто мы землей приветной
Коснулись новых берегов.

* * *

Проросшей землю
Кажется трава нам.
Спят дерева —
Зеленые шатры.
Как любованье диким караваном,
Как жизнь люблю весенние дары.

Природа-мать
И нас не обделила,
Вливая в грудь такую мощь любви,
Что никакая песенная сила
Не выразит и двух слогов:
Жи —
ви!

*В. Наседкин.*

# Воспоминания.

Перевод Полины Равич.

## Мустафа Кемаль паша.

Мемуары Кемаля паши печатались в наиболее полном виде в ангорской газете «Миллиет» и константинопольской «Акшам». Выдержки из них печатались и в ряде других газет, напр., «Журналь Д'Ориан». При переводе тексты сравнивались и брался из них для каждой главы наиболее полный. Согласно сообщению Фалих Рефки бея записки президента Турецкой Республики распадаются на четыре части:

1) Первая часть, печатаемая здесь, охватывает период от об'явления великой войны до оккупации союзниками Константинополя.

2) Вторая часть касается пребывания Кемаля паши в Константинополе во время оккупации и кончается прибытием его в Самсун.

3) Третья — заключает в себе описание деятельности его в Самсуне и далее до Эрзерумского конгресса.

4) Последняя, четвертая, часть начинается с образования правительства ВНСТ и оканчивается нашими днями.

Последние три части «Воспоминаний Кемаля паши» еще нигде не напечатаны и только приготовляются им к опубликованию.

Переводчик был озабочен в первую очередь точностью перевода, полагая, что передача на русском языке «Воспоминаний» президента Турецкой республики должна отличаться максимальным соответствием турецкому тексту. Вполне понятно, что это отразилось на литературной форме перевода.

*П. Равич.*

---

### 1. Основная ошибка.

Я никогда не верил, что великая война могла иметь успех для наших союзников [1]). Но когда она уже была об'явлена, находясь на фронте, я прилагал все усилия к тому, чтобы вести операции как можно лучше, в то время как на других фронтах, если так можно сказать, делалось обратное...

[1]) К моменту об'явления войны Мустафа Кемаль паша занимал должность турецкого военного атташе в Софии.

В каждой из своих операций вице-генералиссимус уничтожал армию [1]: это было, напр., в Сарыкамыше... Он и его друзья уже давно поставили нацию и турецкую армию в ненормальное положение. Его основная ошибка заключалась в том, что он вверил армию иностранной военной миссии [2].

Я не хочу этим критиковать немцев и их военную миссию, потому что прежде всего глава нашего государства и наши политические руководители заслуживают порицания. Это они, убежденные в неспособности турецкой армии, хлопотали о прибытии этой миссии. Этой миссии они говорили о слабости турецкого народа и ей предложили изменить и довершить его воспитание. Германскую миссию, прибывшую в результате этих предложений, нужно извинить за то, что руководители страны, в среду которых она попала, были люди неспособные и лишенные всякого престижа.

Я лично был очень огорчен, что армия безоговорочно и со всеми ее секретами была вверена немецкой военной миссии. Когда случайно я узнал об этом намерении еще до его осуществления, я счел обязанностью протестовать перед высшими инстанциями в той степени, в какой я мог иметь влияние. Но никто не считался с моим протестом, и мне даже не сочли нужным ответить.

## 2. Химеры и утопии.

Лишь один из моих друзей, занимавший тогда одно из наиболее ответственных мест в генеральном штабе, с которым я по этому поводу обменялся взглядами, принял очень искренний вид и сказал мне:

«Друг мой, мы опытнее тебя; правда, твоя любовь к твоей стране и твоей нации заставляют тебя думать о химерах, между тем ты себя не спрашиваешь, достойны ли они твоей великой любви. У нас есть выдающиеся люди, ты еще не говорил с ними, и ты не смог понять причины успеха их деятельности во всей стране. Если хоть раз ты поговоришь с ними, то несомненно ты распишешься целиком под их мыслями еще в большей степени, чем мы».

Я отлично понял, о ком именно говорил мой собеседник, но не нашел нужным упоминать их имена и удовольствовался замечанием, что они на пути к величайшей ошибке. Мой собеседник, умерший во время великой

---

[1]) Энвер паша. Родился в 1881 г. Зять султана Мехмед Решид У. Один из главнейших участников младотурецкого переворота. Военный агент в Берлине в 1909—1913 г.г., руководил операциями турецких войск в Триполи в 1911—1912 г.г. Во время балканской войны 1912—1913 г.г. начштаба 10 корпуса. С января 1914 г. — военный министр. Во время мировой войны вице-генералиссимус турецкой армии. После поражения бежал в Германию и Россию. В 1919 г. приговорен заочно к смертной казни. Поднял восстание против Совласти в Бухаре, и убит в бою. Прим. перев.

[2]) Военная миссия Лимана фон-Сандерса, о которой он говорит, прибыла в Константинополь 14 декабря 1913 г. на основании депеши германского посла фон-Вангенхейма: «Исходя из убеждения, что политика Германии искренне и серьезно стремится к укреплению Азиатской Турции, Великий Визирь просит меня передать Е. В. Императору просьбу прислать в качестве руководителя турецкой армией германского генерала». Прим. пер.

войны, сказал мне тогда с энтузиазмом человека, убежденного в непогрешимости своих идей:

«Кемаль, Кемаль, не мешай нам, иначе ты понесешь ответственность за все; мы свершим такие дела, результатами которых ты будешь сам поражен».

## 3. Виновные.

Многочисленны были те, которые принимали всерьез слова моего собеседника, к тому же он говорил хорошо и сотрудничал в «Танине» под псевдонимом. Я же не поддался влиянию его слов, казавшихся мне утопичными. Убежденный в том, что все мои замечания будут безрезультатны, я предпочел молчать и размышлять. Все же я не удержался и прибавил следующую фразу к нашему разговору:

— Да, вы сделаете многое, но боюсь, что ваши дела приведут страну на край гибели. Если к тому дню я и разделяющие мои взгляды будем живы, мы достойно оценим ваши сегодняшние слова. Желаю, чтобы вы нас не привели к непреодолимым препятствиям.

Мой собеседник не поверил в искренность и серьезность моих слов:

— Не беспокойся, мой друг, — сказал он.

Из всех моих друзей этот человек был самым красноречивым, умел спорить и уму его можно было довериться. На эти темы я также говорил и спорил с целым рядом других лиц. Вместо того, чтобы найти решение важным вопросам, о которых шел спор, они предпочитали «ввести в обман» собеседника. Они были убеждены в своих государственных способностях, считали себя тонкими дипломатами и политиками и «задавали тон». Они были уверены в успехе и не замечали, что я их слушал с чувством глубокого сожаления.

Бедный Талаат паша [1])! Как мне было жалко, когда я узнал, что он был убит на одной из улиц Берлина пулей армянина. Однажды я беседовал с ним в бытность его великим визирем по вопросам большой важности. Он думал ввести меня в обман своими ответами. Он выразил свое удовлетворение этим одному из моих друзей, с которым говорил час спустя. Между тем, через два дня, вследствие события, его беспокоившего, он почувствовал необходимость пригласить меня к себе в полночь, чтобы посоветоваться по поводу некоторых мер. Друг, о котором я упоминал выше, присутствовал при этой беседе с великим визирем, бывшим в беспокойстве. Я ему сказал:

— Вы спрашиваете моего мнения, я не могу удовлетворить вас, так как три дня тому назад я выразил вам свои взгляды по одному важному вопросу. Вы тогда думали, что «ввели меня в обман», и даже высказали этим свое удовлетворение.

— Никогда, — ответил он.

---

[1]) Талаат паша — один из крупных деятелей партии «Единение и Прогресс» и руководитель младотурецкого переворота. Родился в 1874 г. Минвнудел в 1908—1911 и 1913—1917 г.г. Минфин в 1913—1914 г.г. С февраля 1917 г. — великий визирь. После поражения бежал в Германию и был приговорен заочно к смертной казни. Убит дашнаками в Берлине в 1921 г. Прим. пер.

— Лицо, которому вы это говорили, присутствует здесь, — возразил я.

Я приведу еще эпизод с другим политическим деятелем, чтобы дать понятие об этой эпохе.

Я был командиром, уже одержавшим победы у Ари Бурну и у Анафартас. Мне казалось,—и убеждения как моих друзей, так и врагов, позднее подтвердили это, — что я имел уже некоторую заслугу перед страной, и что я способствовал спасению столицы. Я решил повидаться с великими государственными деятелями Оттоманской империи, которых я предполагал довольными оказанными мною заслугами, ибо мои визиты вызывались важным делом, которое я должен был выполнить.

Я хотел изложить лицам, бывшим у власти, свои взгляды касательно судеб моей страны. Мне казалось, что было бы полезно повидать также министра иностранных дел [1]). Его заместителем был Халил бей, знакомый мне по миссии в Софии. Я застал этого прекрасного человека в его кабинете. Я просил его сообщить министру о моем желании его увидеть. Меня просили подождать. Я ждал, не знаю сколько времени, — во всяком случае достаточно долго. Министр был занят какими-то интересными посетителями. Я обратил внимание, что позднее пришедшие были проведены раньше меня в кабинет министра. Естественно, я стал раздражаться и, обратясь к Халил бею, сказал:

— Мне кажется, что Е. П. забыл о моем присутствии.

Халил бей вторично доложил министру обо мне.

— Пусть ждет, — приказал он.

Я спокойно сел около своего собеседника и спросил его:

— Что, ваш министр всегда таким образом проводит время, принимая бесполезных визитеров?

Халил бей, человек очень вежливый, молчал.

Наконец, дверь в кабинет министра открылась, и служитель обратился ко мне: «Войдите, сударь», — сказал он.

Я как раз вел с Халил беем серьезный разговор.

— Что такое? — спросил я у служителя.

— Е. П. хочет вас принять, — сказал он.

— Пусть подождет, — возразил я в свою очередь я.

И я счел нужным ответить на приглашение министра лишь после того, как закончил несколько затянувшийся разговор с его заместителем.

Когда я вошел в импозантный кабинет министра, тот принял меня стоя. Красноречиво изложил он мне, что политическое положение с точки зрения внутренней и международной не могло быть более блестящим.

Я вежливо поблагодарил его, но попросил разрешить мне высказать некоторые наблюдения.

— Конечно, — согласился он.

Я начал:

— Что касается меня, я не нахожу положения таким блестящим, каким вы его считаете. Я только что прибыл с поля битвы, где находился

[1]) Речь идет о Нессими бее — мининделе в кабинете Талаата паши. Прим. пер.

в качестве командира и где борьба была жестокая и тяжелая. Я буду вам благодарен, если вы меня выслушаете.

— Прошу вас.

— Положение, — продолжал я, — не так блестяще, как вы думаете. Если вы, несущий долю ответственности за правительство, будете продолжать вести политику, веря словам одних и других, то опасность будет более значительной, чем ее себе представляют.

— Я не понимаю смысла того, что вы говорите, — сказал он, приняв начальнический вид.

Я скромно раз'яснил ему:

— Страна идет к гибели. Вы претендуете, что не знаете еще этой истины... простите, я плохо выражаюсь... Вам все известно, между тем вы относитесь ко мне, как к чужому и новичку, и воздерживаетесь говорить откровенно со мной об этой печальной действительности. Впрочем, это поза, достойная министра, осторожного и добросовестного. Но я человек, с которым можно обо всем говорить. Мнения, которыми мы обменяемся, будут известны лишь нам. Теперь я об'ясню вам другое. Не бойтесь говорить о действительности, которая не такова, какой вы ее себе представляете, но такая, какой я ее понимаю.

Он мне ответил суровым и серьезным тоном:

— Г. командир, мы вам оказывали знаки отличия, потому что нам говорили, что Мустафа Кемаль, победитель под Ари-Бурну и Анафартас, оказал услуги стране. Также и я хотел оказать вам любезный прием. Между тем мне кажется, что вопросы, о которых вы сегодня говорите, имеют другое значение. Это не мне должны вы выражать свою критику, ибо я министр, который со всеми членами кабинета питает глубокое и нерушимое доверие к главнокомандующему и его генеральному штабу. Вы можете иметь сомнения; возможно, что существует действительность, которая вам неизвестна, и которую я не могу открыть вам. Если вы явились сюда, чтобы рассеять свои сомнения и подозрения, то я должен вам заметить, что вы плохо выбрали место. Обратитесь лучше к главнокомандующему и его штабу. Я не сомневаюсь, что вы там найдете людей, способных вас осведомить надлежащим образом.

— Благодарю вас за проявленную любезность в указании, какие шаги мне надо предпринять. С вашего разрешения все же позволю себе заметить, что я не чужой для турецкой армии: я солдат и неразрывно связан с ней. Я начал службу простым офицером и благодаря стечению обстоятельств достиг должности командира — и командира, свершившего свое дело, по моему мнению. Существует не много людей, сумевших оценить достоинства и качества турецкой армии и понявших ее возможности. Я сожалею, что вы приняли меня за новичка, которого лишь случай сделал командиром, но я не в обиде на вас за это, так как в продолжение всей вашей жизни и даже сейчас, занимая столь высокий дипломатический пост, вы не знали действительности. Вы мне советовали совершить нечто невозможное: обратиться к главнокомандующему и его штабу, дабы рассеять свои сомнения... Должно быть, вы не даете себе отчета в том, что нет более турец-

кого генерального штаба в нашей стране. Существует лишь германский генеральный штаб, первой задачей которого было уничтожить в турецкой армии непокорного солдата.

Спустя несколько дней я узнал, что министр жаловался на меня другим членам кабинета и даже требовал, чтобы приняли некоторые меры против меня.

Я громко смеялся. Действительно, в ту эпоху легко верилось, что группе лиц, опиравшейся на династию, совершенно разложившуюся, и глава которой назывался «падишахом»..., нетрудно преследовать какого-то Мустафу Кемаля.

Но я был уверен, что эти люди, лишенные здравого смысла, из которых некоторые считали себя мудрыми, гениями, диктаторами, не могли ничего предпринять против слабого Мустафы Кемаля.

Они могли лишь сделать одно: взять силой Мустафу Кемаля, опираясь на оружие, которым они располагали, и повесить его. Я же счел бы за счастье, если бы в то время весь народ мог узнать о моем возмущении. Но они не осмелились сообщить народу о моем поступке. Почему? Видимо, потому, что они уже не были уверены в возможности действовать свободно...

## 4. Что послужило причиной казни Вакуб Джемиля [1].

Даже для того, чтобы казнить Вакуб Джемиля, через какие страхи должны были пройти эти люди.

Я не хочу говорить о самой личности Вакуб Джемиля. У этого человека была сильная склонность к Мустафе Кемалю. Этот несчастный, со своей небольшой опытностью, разочаровавшись в действиях тех, которые толкнули его на тысячу кровавых дел, решил, что Мустафа Кемаль должен быть поставлен у власти.

Это отчасти способствовало и тому, что Вакуб Джемиль оказался на виселице. Это дитя, беседуя однажды со своими товарищами — революционерами в Бруссе, сказал им:

— Люди, которых мы считали великими, оказались маленькими. Для спасения родины необходимо их уничтожить. Я берусь за это.

Более умеренные революционеры спросили его:

— Убить-то легко, но кто тот человек, который может улучшить положение?

Он произнес имя:

— Мустафа Кемаль.

Этот несчастный решил, что нет никакого затруднения к применению к правящим системы, из которой они сами сделали ремесло, и что обстановка подходяща, отправился в Константинополь и принялся за дело со слабыми средствами. Товарищи, которых он считал преданными делу, испугались и донесли. Как следствие, Вакуб Джемиль был арестован и повешен.

Человек, рассказавший мне эту историю, был д-р Хильми бей, он разделял его взгляды, и, находясь в одинаковом с ним положении, спасаясь от висе-

[1]) Арест и казнь Вакуб Джемиля, представителя партии «Федаи», во время великой войны вызвали большое волнение в Константинополе.

лицы, разыскал меня в главной квартире в Сильване. (Ныне он депутат от Малатии.)

Д-р Хильми бей прибыл в Диарбекир и, дав знать мне по телеграфу в лагерь в Сильване, что ему необходимо сделать мне важные сообщения просил меня вызвать его к себе. Мой ад'ютант, Джевад бей, находившийся в это время в Диарбекире, получил распоряжение привести ко мне доктора. Он прибыл и рассказал мне всю историю: «Я не мог остаться в Константинополе, меня повесили бы также», — сказал он.

Представив себе общее положение, я подумал, что очень скверно прибегать к виселицам. Я хотел сделать предупреждение, чтобы не вешали людей. Это предупреждение было сделано официозным путем — посредством покровительства доктору, который укрылся у меня, я дал знать высшим инстанциям, что я протежирую ему.

Должен прибавить, что и попытку Вакуб Джемиля я не одобрил. Имея беседу в то время о трагедии в Константинополе с одним командиром, назначенным в дивизию, бывшую под моим начальством, я ему сказал:

— Вакуб Джемиль повешен... потому что, кажется, он сказал, что не будет спасения, пока Мустафа Кемаль не сделается военным министром и вице-генералиссимусом. Хочешь знать мое мнение? Предположим, что этому человеку удалась попытка, и я узнал бы, что Вакуб Джемиль—хозяин положения в Константинополе — требует моего назначения военным министром и верховным главнокомандующим, воображаешь ли ты, что я согласился бы? Скорее, я согласился бы отправиться в Константинополь, чтобы наказать Вакуб Джемиля. Я не был бы мужчиной, если бы взял власть по рекомендации его и ему подобных.

### 5. Как я покинул пост командующего армией «Ильдирим» [1]).

С тех пор как мы вступили в великую войну, я не мог постоянно не представлять себе трагических результатов этой борьбы. Мое противодействие необдуманному предприятию на Суец, моя критика на сделанное мне предложение принять на себя командование экспедиционными силами Геджаса и другие аналогичные выступления были последовательными событиями, важность коих следует подчеркнуть. Все знают авантюру с группой так называемой «армии Ильдирима» и мое командование ею.

Если память не изменяет мне, то именно во время этих событий почувствовал я, насколько мне невозможно далее подавлять в себе чув-

[1]) После тщетных попыток пробудить бдительность правящих лиц, наступил момент, когда я думал принять самолично определенные меры. Воспоминания этого периода находятся в тесной связи с историей Анатолийской революции. Опыт, приобретенный в течение политической деятельности, вне сомнения имел свой отголосок в решениях, принятых на конгрессе в Сивасе, где были установлены новые основы государства. Эта деятельность, превыше всей политики партии, была политикой патриотизма, стремившейся обеспечить новые судьбы турецкому народу.

Какие факторы толкнули меня к решительному действию?!

Прерывая продолжение своих воспоминаний, Кемаль паша стремится выяснить нам эти причины.

ка возмущения (против власти). Наступило время положить конец молчанию унижению. Я не упустил представившегося случая. Я видел, что волна бедвий захлестнула Турцию. Как мог я молчать? Я вам представлю документы, сающиеся этих событий, и посоветую их прочесть. Результатом моих дейвий была немилость. Я употребляю умышленно это выражение, ибо я челок. не придававший значения в течение всей своей жизни немилости. Я улылся, когда мое положение называли «немилостью». Каковы могли быть зультаты этого положения? Что произошло бы, если бы я был способен раваться исполнению моих предвидений. Но разве я мог радоваться несчаьям, падавшим на мою страну? Я желал бы иметь возможность исправить нбки, совершенные моими предшественниками; я дышал лишь мыслью подть Турцию, павшую в грязь и бесчестье.

Когда я состоял в первый раз командиром 7-й армии, называвшейся рмией Ильдирима» (известно, что я командовал ею дважды), серьезное разгласие произошло между генералом Фалькенгеймом [1]), командовавшим групй, в состав которой входила эта армия, и мною. Это разногласие нашло ражение в высших сферах. Увидев, что мои взгляды не разделяются, я не г более молчать.

Вперед принимая все последствия, которые мог вызвать мой постук—а он мог бы быть истолкован как открытое восстание,—я произвольно казался от командования. После того, как я даже указал на своего преника (Али Риза пашу, командира корпуса этой армии) я известил высшие танции о совершившемся факте моего ухода.

Генерал Фалькенгейм частным письмом, заместитель главнокомандуюо и командир 4-й армии, непосредственно заинтересованные в этом деле, приняли дружеские шаги, чтобы заставить меня изменить решение. Эта тановка, показывавшая, насколько ответственные лица и инстанции были еки от понимания истины, толкнула меня выразить более энергично мои ства. Все же им пришлось признать факт свершившимся. Чтобы скрыть инную причину моей отставки от высших властей и может быть и от о народа, они назначили меня командиром моей прежней единицы — 2-го пуса армии, главная квартира которого находилась в Диарбекире. Ссылаясь ь для вида на некоторые затруднения, я вновь отказался. Желая показать, «трагическое положение», которое я хотел клеймить, не заключает в себе его особенного, они известили меня, что я получил месячный отпуск.

### 6. Маршал Фалькенгейм предлагает ящики, полные золота.

Я вам расскажу — если это вас интересует — грустное происшествие, орое мне вспомнилось.

---

[1]) Правильнее: Фалькенкайн Эрих — родился в 1861 г.; в 1913—1915 г.г.— ный министр; сентябрь 1914 г. начальник штаба верх. командования; сентябрь г. — командующий 9 армией, оперировавшей против Румынии. С июля 1917 г. февраль 1918 г. — командующий азиатским корпусом и с марта 1918 г.— идующий 10 армией. Умер в 1922 г. Прим. пер.

Приняв решение снять с себя обязанности, исполнявшиеся мной в Алепп и отказавшись командовать 2-й армией, я не дал себе отчета в том, что я н располагал нужной суммой денег для проезда из Алеппо в Констант нополь.

Несколько месяцев тому назад, накануне от'езда моего из Констант нополя в Алеппо для принятия командования над группой «Ильдирим», ко мн явился молодой немецкий офицер в сопровождении турецкого офицера ге ральнего штаба, прикомандированного к главной квартире генерала Фалькен гейма, в мой дом в Бешикташе и сообщил, что принес мне некоторые вещ находящиеся в маленьких красивых ящиках, которые посылает мне Фальке гейм. Я приказал отнести эти «вещи» в комнату, где я принимал офицеров, поставить эти ящики около дверей в зал.

Я спросил, что в них. Немецкий офицер сказал мне: «Вы покидае Константинополь; маршал Фалькенгейм посылает вам некоторое количеств золота».

Предполагая, что маршал Фалькенгейм посылает эти деньги для ну армии, я сказал турецкому офицеру, служившему переводчиком:

— Вы по ошибке принесли мне эти ящички. Вы должны были переда их интенданту армии, ибо для меня это излишний груз.

Мой собеседник перевел мои слова немецкому офицеру, который посп шил ответить:

— Это другое.

Я поручил тогда турецкому офицеру узнать у своего немецко коллеги точную сумму этих денег, составить расписку и дать мне н подпись.

Тот выполнил мои распоряжения, но немецкий офицер отказался пр нять квитанцию, подписанную как следует.

Я снова сказал:

— Этот офицер не знает правил, — пусть возьмет расписку и переда маршалу. Вы же пошлите сказать интенданту, чтобы он пришел принять эт деньги.

Так и поступили.

Ящички и их содержимое несколько месяцев находились в интендант стве, а расписка, мною подписанная, лежала в одном из дел у Фалькен гейма.

Когда же я отказался, как упоминал выше, от командования 7-й арми я доверил эти ящички Али Риза паше, на которого возложил обязанности з мещать меня, получив взамен расписку, которую я передал моим ад'ютант Джевад Аббас бею (ныне депутату из Болу) и Салих бею (в настоящее вре депутату из Бозиюк), приказав тотчас же пойти в главную квартиру Фал кенгейма, лично повидать его и вручить этот новый документ в обмен н прежний, имевший мою подпись.

Мои ад'ютанты выполнили точно мои распоряжения, хотя и не бе некоторых препятствий к свиданию с Фалькенгеймом.

Спустя короткое время они вернулись и сказали мне:

— Маршал Фалькенгейм не помнит о выдаче вам такой суммы и за-
ıет, что не имеет соответственной расписки с вашей подписью. Также он
азался принять квитанцию, подписанную Али Риза пашой.

Я ответил:

— Теперь я вам строжайше приказываю: вы вернетесь оба к Фалькен-
ну и скажете ему: «Золото, переданное вами Мустафе Кемалю паше, сохра-
ось в целости. Вам была выдана расписка в получении; вы можете отри-
ь ее существование, но золото все же существует. Возможно, что расписка
ерялась; в таком случае мы возвращаем вам золото, и вы выдадите нам
танцию. Вам следует уже давно знать, что пославший нас командир —
овек, не предающий интересы своей родины за несколько золотых монет.
и у вас еще есть сомнение на этот счет, наш командир всегда готов дока-
ь эту истину как вам, так и общественному мнению. Вот ваши деньги;
подпись М. Кемаля, более ценная, чем ваши деньги, не может более
заться у вас». Не получив конкретных результатов, вы не являйтесь
мне.

Офицеры, которым я отдал эти приказания, знали меня лучше, нежели
ькенгейм. Спустя час, они вручили мне клочок бумаги, носивший мою
пись, который им удалось вырвать у Фалькенгейма.

Существуют факты, дающие возможность предполагать, что маршал
ькенгейм старался провести и других, предлагая ящички, полные золота

## 7. Я ухожу в отпуск.

Я возвращаюсь к прерванному мною рассказу. Да, я не сообразил, что
еня не было достаточно денег на мою поездку из Алеппо в Константино-
ь. Но у меня был десяток породистых лошадей, которых я сам вырастил.
озвал Салиха и сказал ему:

— Продайте несколько животных для того, чтобы мы смогли выехать
онстантинополь.

В ожидании результатов продажи, я был в Алеппо гостем одной дру-
кой семьи. Но не нашлось ни одного покупателя на моих прекрасных ло-
ей. Впрочем, в этом не было ничего удивительного: наши офицеры не
и настолько богаты, чтобы позволить себе покупку подобных животных.
тные же богачи воздерживались от покупки, зная, что их лошадей в конце
цов реквизируют на нужды армии. Пришлось оставить надежду продать
адей, наше единственное состояние.

Между тем дело, которому мы себя посвятили, и упорство, нами про-
явшееся, не давало подозревать другим возможность отсутствия у нас
сти. Я упоминаю об этом потому, что однажды, в этом же городе, я бесе-
ал с одним, пользовавшимся большой известностью, командиром, который
делял мою точку зрения. Он спросил меня, что надо делать.

— Если вы ничего сделать не можете, то по крайней мере подайте в от-
вку, — сказал ему я.

Со слезами на глазах мой собеседник ответил:

— Я не могу этого сделать, ибо мое жалованье единственное средс к существованию моему и моих детей, которых я обожаю.

Кажется, я ему ответил следующее:

— Сударь, на карту поставлено существование турецкого народа на пути к уничтожению, и ваши слезы вполне показывают, что вы отли сознаете важность момента. Личные заботы и соображения ничто в сравне с тем, когда поставлен вопрос о жизни или гибели Турции.

Я долго ждал, чтобы этот человек, влияние коего было мне очеви начал, наконец, действовать.

В это время командующий 4-й армией, бывший одновременно и морск министром, посетил меня в Алеппо. Мы говорили о многом; мне казало что мы даже предприняли некоторые общие решения. Слишком долго р сказывать здесь все подробности этого разговора, которые составят отде ную главу. Все же я считаю своей обязанностью припомнить здесь, ч покойный Джемаль паша [1]), по-моему, пользовался всеобщим уважение симпатиями.

Я знал Джемаль пашу гораздо раньше, чем он был призван к влас как и он меня, задолго до получения мною командования арм в Алеппо [2]).

Мы познакомились много лет тому назад в небольшой комнате ге рального штаба 3-й армии «Гамидие» в Салониках. Он был тогда началь ком штаба армии Джемаль беем, а я был лишь полковым ад'ютантом Муста Кемаль беем.

Джемаль бей был опытным офицером, пользовавшимся уважение стороны своего начальства; он не занимал выдающегося поста, но имел бо шой вес. Я же был молодым неопытным человеком.—Я был посажен в тюрь затем сослан, как только окончил школу в чине капитана. Все же я не скр что я не мог не пожалеть моих товарищей, сравнивая их положение с м Я констатировал, что они не были способны различить предвестие но зари, восходившей на горизонте. Я думал, когда это будет нужно, обратит внимание на неизбежные и естественные изменения в строе и даже на об этом говорить. Но убедился, что они витали совершенно в ином ми отличном от того, в который мы желали вступить. Каждый был за желанием выдвинуться, и мне пришлось сделать вид, что я с ними глашаюсь...

[1]) Джемаль паша Ахмет. Крупнейший младотурецкий деятель. Род в 1875 г. В 1909 г. — губернатор Аданы, в 1911 г. — Багдада. Во время вто Балканской войны ком. дивизии и военгуберн. Константинополя, ком. конст нопольского корпуса. Мин. обществ. работ и морской в 1914 г.; в 1914 г. е со спец. миссией во Францию, в 1915 г. руководил операцией против Суецкого нала, командовал 4-й армией в Сирии. В 1917 г. ездил в Германию и, вернувш снова управлял мор. министерством. Должен был ехать послом в 1918 г. в Бер После поражения бежал в Берлин и Совроссию. Позднее выехал в Афганистан, пользовался большим влиянием. Убит дашнаками в Тифлисе в 1922 г. Прим.

[2]) Ниже Мустафа Кемаль вкратце рассказывает о своих встречах с Джем пашой в период младотурецкой революции в 1908 г.

## 8. Нужно прежде всего совершить великие дела, чтобы быть действительно «великим».

В Салониках есть площадь, называемая «Площадь Свободы». Там нахо-
ится некоторые учреждения известного характера, как «Олимпос Палас», Кристаль», «Юнио» и т. д.

Однажды ночью, когда «Юнио» был переполнен публикой, я поднялся отдельный кабинет, куда попадали по лестнице, пристроенной к углу боль-ого зала. Это был кокетливый салон, в котором все столы были заняты. помню, что подошел к одному из них, занятому некоторыми революцио-рами. Они пили пиво и «раки» (турецкая водка). Они были возбуждены рячим патриотизмом, говорили о революции и о том, что, чтобы быть волюционером, надо быть великим человеком. Все хотели стать тако-ми, — но как и на кого походить, чтобы быть «великим»?

Вдруг один из гостей вскричал: «Я хочу походить на Джемаля»... стальные согласились с ним и повернулись ко мне. Я смотрел на них спо-йно и холодно.

Я надеялся, что они поймут мою мысль; но они не уловили скрытого ысла моей позы. Они ожидали, что я подтвержу их оценку Джемаль бея, торого я знал лучше их и с которым проводил все вечера. Не помню, почему ничего не сделал, чтобы удовлетворить их желание. Про себя же я думал: Человек, говорящий о своем стремлении стать «великим», не нравится мне. т, кто верит, что для спасения страны прежде всего надо быть «великим», бирающий себе для этого пример для подражания и убежденный, что страна будет спасена, пока он не станет таковым, не может считаться человеком».

Углубленный в свои размышления, я чувствовал, что не мог удовлетво-ть любопытство присутствующих. Я уверен, что они не очень лестно судили о мне и по всей вероятности подумали: «Этот новичок считает себя «вели-м», и оттого круг зрения его ограничен настолько, что он не в силах видеть личие» других. Подобный человек не может стать нашим товарищем».

В ту ночь за столом обнаружились две противоположных мысли: поло-тельная и отрицательная.

По первой, сначала надо стать «великим», и затем спасти родину; по вто-й же, маленькие дела не делают «великих людей», надо начинать со спасения аны, а затем... и все же не может быть вопроса о персональном величии.

Таковы были размышления, вызванные моими наблюдениями в отдель-м кабинете «Юнио» еще в те дни.

Однажды Джемаль бей поместил в одной из салоникских газет статью подписи.

Мы вышли из учреждения, где вместе работали, и сели в трамвай, чтобы пасть в «Олимпос». Джемаль бей держал в руке эту газету. Передавая ее е, он спросил:

— Читали ли вы эту газету?

— Нет.

— Прочтите, — сказал он.

Я прочел.

Он вновь спросил меня:

— Как вы ее находите?

— Тут есть какая-то статья пошлого журналиста, — ответил я.

— Вы преувеличиваете, это я ее написал.

— Извиняюсь, — сказал я, — я этого не знал. Тем не менее, я пред[по]читал бы, чтобы вы ее не писали, — и прибавил: — Джемаль бей, не по[дд]авайтесь желанию быть приятным определенным лицам с ограниченным ум[ом], это не важно и не ценно. Лучше подумайте о том положении, в котом [мы] находимся, и придите к сознанию, что необходимы жертвы. Вы лишь ском[про]метируете наше будущее, если будете черпать силы в оценке вас други[ми]. Нельзя терять из виду того, что большинство еще не соприкоснулось с д[ей]ствительностью. Знаете ли вы, в чем заключается «величие»? В том, что[бы] не придавать значения личностям, никого не обманывать, уметь отлич[ать] высшие устремления нации в целом и итти к этой цели. Все будут против [вас] и будут желать совратить вас с этого пути, воздвигая препятствия без ко[нца]. И вы покажетесь себе не великим и сильным, а ничтожным и слабым, по[ки]нутым и убежденным в том, что никто не явится к вам на помощь. С ре[ши]мостью вы должны преодолеть эти препятствия. И если после этого вас [на]зовут великим, — вы ответите на это улыбкой.

Молча слушал меня Джемаль бей и сознался, что я прав. Огорчен[ие], испытанное им после критики его статьи, исчезло.

## 9. Джемаль паша достает мне деньги.

Я уже говорил о том, что на моих лошадей не находил[о]сь покупателя.

После беседы с Джемаль пашой по многим серьезным вопросам, я ск[а]зал ему:

— Генерал, я имею несколько породистых лошадей, которых прину[ж]ден продать, но не нахожу покупателя. Вы здесь давно состоите командир[ом], укажите мне средство, как освободиться от них.

— Я велю их осмотреть моим ветеринарам.

— Немцы и австрийцы в Диарбекире говорили мне, что эти лошади пр[ед]ставляют собою богатство. Я не сомневаюсь в их ценности, — все же [вы] можете подвергнуть их осмотру.

Джемаль паша предложил мне 2.000 золотых лир за всех лошадей[. Я] принял, и мы отправились в Константинополь.

Однажды в столице я получил от Вассиф паши (тов. министра по мор[ским] делам) записку. При ней находилась подписанная Джемаль пашой телегра[мма] на мое имя следующего содержания: «Я продал ваших животных [за] пять тысяч лир, у вас же я купил их гораздо дешевле; куда переслать [вам] еще три тысячи лир?».

Я отправился к Вассиф паше и сказал ему: «Я не понимаю этой депе[ши]. Я продал лошадей Джемаль паше за две тысячи лир, — повидимому, он

перепродал за пять тысяч лир; он совершенно не обязан передать мне остальное».

Я должен, однако, присовокупить, что, несмотря на этот аргумент, покойный Джемаль паша переслал мне три тысячи лир опять же через посредство Вассиф паши.

Эти деньги принесли мне большую пользу в моих новых начинаниях, и я считаю себя обязанным это вспомнить.

Во время пребывания моего в Константинополе, в продолжение оккупации, когда я решил отдаться величайшему делу, много предложений было сделано мне со стороны лиц, понявших смысл и важность моих начинаний. Я их отклонил. Среди лиц, предлагавших свои услуги, не было ни одного настоящего идеалиста. Если разрешите мне сказать, среди сделанных мне предложений были и чрезвычайно бесстыдные.

## 10. Прибытие в Константинополь и предложение выехать в Германию с Вахидэддином.

Мы прибыли в Константинополь с вырученными от продажи коней деньгами. Моя мать и сестра жили в Бешикташе, № 70. Я искал себе квартиру. С ранних лет я не любил жить ни с матерью, ни с сестрой, ни с друзьями, я всегда предпочитал быть одиноким и независимым, что и делал.

В моем характере была еще одна странная черта: я не мог выносить советов ни матери (я был очень молод, когда потерял своего отца), ни сестры, ни моих близких родных. Живущие в семье отлично знают, что полные искренности советы, которые даются каждым, неизбежны. Приходится делать выбор: или слушаться, или не обращать внимания на советы, одно и другое было одинаково неприемлемо для меня. Можно ли подчиняться внушениям матери старше меня на 20—25 лет. Не являлось бы это возвратом к прошедшему. В то же время я сильно огорчал бы свою мать непослушанием, зная ее хорошие качества, добрые намерения и умственное превосходство над другими женщинами. Я хотел также и этого избежать.

Надо вам сказать, что мои мать и сестра не только разделяли мои революционные идеи, но и проявляли действительное соревнование в этом деле. В Салониках, в дни — вы можете их угадать — мы составляли «комитет повстанцев» (комитаджилик) ценою великих жертв. Я точно не знаю, какое значение придают этому слову. Во всяком случае еще задолго до об'явления конституции, однажды ночью в моем доме происходило совещание. Наш просторный, окрашенный в розовую краску, дом был расположен против художественно-промышленной школы. Несколько моих друзей собралось в одной из комнат. Один из них, умерший на поле битвы, Киамиль бей, был кавалерийским офицером, которого я вспоминаю с уважением. Товарищи собрали много денег в пользу нашего дела. Здесь были турецкие золотые лиры, меджидиэ,

а также и серебро. Слуга предупредил мою мать, рассказав о деньгах, что мы совещаемся, составляем планы и т. д.

Мать, пожилая и больная женщина, встала с постели, подошла к двери той комнаты, где происходило собрание, и, услышав часть нашего разговора, вернулась в свою комнату. Приняв решение, мои друзья разошлись. Тогда моя мать, которую я считал уже спящей, пришла ко мне.

— Мое дитя, — сказала она, — я хотела бы знать, восстаете ли вы против великого падишаха?

Я не хотел вообще посвящать свою мать ни в наши планы, ни в наши поступки. Но с того момента, как она узнала о нашем ночном собрании и разговорах, я не считал нужным более скрывать правды от нее и сестры. Наоборот, я решил открыть им глаза.

— Да, — сказал я, — тот, кого ты считаешь обладающим могуществом семи святых рая, ничтожество. Мы, собравшиеся здесь, хотим спасти нашу родину от когтей этого тирана. Ты, возможно, в этом еще не убеждена. Забыв, что я твой сын, ты сможешь еще попасть в рай.

Моя мать, взволнованная, сказала:

— Дитя, вы еще новички. Посвятите меня в ваши действия с того момента, как вы предприняли это дело, и передайте мне ваши секретные документы. Будьте осторожны. На успех трудно надеяться. Естественно предполагать, что вы можете погибнуть. Что нужно мне делать? Ты мой единственный сын, и я не хочу твоей гибели: это меня очень огорчает.

— Мать, — ответил я ей, — дело уже начато. Я обязан быть честным человеком по отношению к делу, в котором замешан. Хочешь ли ты меня удержать?

— Нет, мой сын, я была бы опечалена, если бы, в случае удачного конца, ты не оказался среди уважаемых и достойных людей. Я не так образована, как ты. Я не смею удерживать тебя от осуществления того, что тобой начато. Прошу лишь тебя, будь осторожен. Все в успехе, стремитесь к достижению его [1].

Я поселился в одной из комнат гостиницы «Пера-Палас» в Константинополе. Я грустно раздумывал, как человек, считающий все потерянным, но утешал себя убеждением, что можно еще спасти страну. В то время как я находился под влиянием этих мыслей, Энвер паша обратился ко мне от имени падишаха вначале при посредстве, а потом и лично:

— Германский император пригласил Е. В. Султана в свою главную квартиру. Его величество не желает сам предпринимать такого путешествия; мы поэтому полагаем вместо него поручить это наследному принцу. Не согласитесь ли вы его сопровождать?

Находя такое путешествие с высокопоставленным лицом интересным, я ответил утвердительно.

---

[1]) После краткого упоминания о своей жизни в Салониках и роли матери в его политической карьере, Кемаль продолжает рассказ о своей жизни по возвращении из Алеппо в Константинополь.

Все было подготовлено, и сделаны необходимые распоряжения. Спустя два-три дня, было решено, что в четверг вечером Вахидэддин и я выезжаем специальным поездом.

Мне говорили:

— Вам надо заранее познакомиться с принцем.

Для сопровождения его был также назначен Наджи паша, ныне командир корпуса, мой бывший преподаватель в Харбие [1]) и тогда, кажется, полковник. Накануне от'езда мы встретились с Вахидеддином в его дворце. Нас провели в зал, покрытый циновками. В этой комнате, заполненной людьми в сюртуках, был лишь один диван с двумя креслами.

Ко всем этим лицам в сюртуках, которые стояли и казались приветливыми, присоединилось еще одно. Ни я, ни мои друзья не могли установить личности новопришедшего. Войдя, он сразу направился в нашу сторону и сел на правый край дивана. Я сел в кресло напротив. Наджи паша — в другое. Новоприбывший закрыл глаза как бы погруженный в глубокие размышления и спустя долгое время открыл их. Тогда он соизволил поклониться нам.

— Имею честь... Я доволен, — сказал он, и вновь закрыл глаза.

Готовясь ответить на любезные слова, я обратил внимание, что нахожусь в присутствии человека удрученного, опустившегося... Я спрашивал себя, надо или нет ответить, и колебался. Я посмотрел на Наджи пашу, который оставался спокойным. Я предпочел ожидать, найдется ли сил у этого человека снова заговорить.

После некоторого времени он снова открыл глаза.

— Мы поедем путешествовать, — сказал он, — не правда ли? Я очень утомлен и измучен.

— Да, мы поедем, — ответил я.

Должен признаться, что у меня сразу сложилось впечатление, что передо мной сумасшедший, но я все же не мог удержаться от разговора с ним и, вставая, сказал:

— Сударь, через два дня мы выедем. Вам надо быть на вокзале в четверг вечером.

Откланявшись, мы вышли. Мы сели в придворный экипаж и обменялись дорогой следующими замечаниями:

— Несчастный, достойный сочувствия. Что можно предпринять с подобными людьми?

— Вы правы.

— Он предназначен быть не сегодня — завтра султаном. Что можно ожидать от него?

— Ничего.

— Мы, обладающие умом, суждением, сознающие настоящее и будущее положение страны, думающие о ее судьбе — что можем мы сделать?

— Действительно положение трудное, — ответил Наджи паша.

---

[1]) Военная школа.

### 11. По дороге в германскую главную квартиру.

В четверг вечером я был на вокзале. Я позаботился уведомить Вахидэддина через его свиту, что наша поездка носит военный характер, и потому он должен быть в военной форме. Когда же он прибыл на вокзал, я увидел, что он в штатском. Его церемониймейстром был некий Ихсан бей, к которому я обратился:

— Я просил предупредить наследного принца, чтобы он надел военную форму. Вы ему не сказали об этом?

Презрительным тоном приближенных ко двору он спросил меня:

— Кто вы?

— Я не обязан давать вам об'яснений о своей личности, — ответил я.— Я еще раз спрашиваю: я велел предупредить наследного принца, чтобы он надел военный мундир. Сообщили вы ему это или нет? — Я произнес последние слова строгим тоном.

Он принужден был ответить:

— Я известил об этом принца, но он не обратил на это внимания.

— Почему?

— Если вы разрешите, я вам об'ясню.

По его раз'яснениям, наследный принц получил чин дивизионного генерала, но затем ему сообщили, что он лишь бригадный генерал. Вахидэддин был этим недоволен, хотя и не заслуживал никакого чина, и предпочел отправиться на вокзал в штатской одежде. Я не счел нужным более продолжать разговор с Ихсан беем. Наш поезд был готов к отходу. Отряд солдат готовился отдать честь принцу. Я подошел к нему. Энвер паша был там.

— Эти солдаты, — сказал я, — назначены для присутствия при вашем от'езде. Приветствуйте их.

Вахидэддин посмотрел на меня, и его взгляд, казалось, говорил: «Как я должен приветствовать?».

Я сделал ему указание:

— Идите вперед, мы последуем за вами.

Наследный принц прошел перед фронтом отряда, подняв обе руки вверх, изображая этим приветствие, но непохожее на таковое. Мы тотчас же вернулись, чтобы войти в вагон, окна которого велели открыть.

Когда поезд тронулся, я сказал принцу:

— Подойдите к окну и приветствуйте солдат и вас провожающих.

— Да, это необходимо.

Вахидэддин, казалось, послушно принимал мои предложения и выполнял все, что я говорил ему. Поезд шел. Принц направился в отведенное для него купэ, и я — в свое, находившееся позади, где я должен был спать.

Я обратил внимание, что в нем нагромоздили чемоданы, корзины и проч. Между тем я еще раньше сказал некоему Рефику, одному из приближенных принца:

— Я желаю спать недалеко от принца и находиться с ним, чтобы узнать его ближе.

Он мне обещал, но, раздумав, разместил повсюду своих людей, оставив мне лишь купэ, о котором я упоминал.

Я спросил его о мотивах этого перемещения. Он мне ответил следующее:

— Господин мой желает быть вблизи своих людей. Он может вас обеспокоить, как и вы его. Поэтому я нашел более желательным отвести вам купэ не очень близко от него.

Я признал, что Рефик бей был прав. «Действительно необходимо, — подумал я, — чтобы слуги окружали Вахидэддина, и Рефик находился во главе их».

Мы были уже далеко от Константинополя и проезжали Фракию, когда кто-то явился доложить мне, что принц ждет меня в салоне. Откровенно говоря, это приглашение обрадовало меня. Представлялся первый удобный случай, которого я искал, чтобы ближе узнать будущего падишаха. Когда я проник в салон, он стоял. Он тотчас же сел, указывая мне на кресло. Я нашел совершенно другим этого человека, который во дворе держал глаза почти закрытыми. Тут же они были совсем открыты и внимательно рассматривали меня.

Вот с какой речью обратился он ко мне:

— Извините меня, генерал, всего несколько минут тому назад я еще не знал, с кем я путешествую. Лишь по отходе поезда и по сообщенным мне справкам я понял, что мой компанион — командир, которого я ценю и которого я хорошо знал, если не лично, то по слухам, будучи осведомлен о ваших подвигах у Ари-Бурну, у Анафартас и одержанных вами победах. Вы — командир, спасший страну и Константинополь. Я очень доволен и счастлив путешествовать в вашем обществе.

Вахидэддин произнес все это медленно, но хорошо. Я был приятно удивлен. В заключение я ответил, и наша беседа была искренней и откровенной.

Я распростился с ним в ту ночь, чтобы более его не беспокоить и находя наш разговор достаточным. Возвращаясь в свое купэ, я испытывал радость. Я находил его умным. Действительно, когда мы встретились в первый раз в Константинополе, принц, под влиянием окружающих его условий существования, вполне понятных для посвященных в образ жизни двора того времени, казался другим. Покинув Константинополь, чувствуя себя совсем свободным и находя своих собеседников достойными доверия, принц не считал нужным скрываться. Это дало мне возможность раскрыть ему положение и нужды страны и даже заставить выявить некоторую инициативу.

Дни путешествия следовали один за другим, как и наши беседы, иногда длинные, иногда короткие. У меня сложилось убеждение, что, научив его долгу и оказав ему искреннюю поддержку, можно было перейти к делу. Я осведомил об этом как Наджи пашу, так и других, присовокупив, что подготовка наследного принца к его новой миссии была нашей обязанностью, вызываемой интересами страны. В продолжение нашего путешествия мы вели с товарищами разговоры на эту тему.

## 12. Германская главная квартира. Вильгельм, Гинденбург, Людендорф.

Мы прибыли в небольшое местечко [1]), где была расположена германская главная генеральная квартира. Нас встречали делегации, отряд солдат, и на перроне находился сам кайзер. Около него стояли Гинденбург [2]), Людендорф [3]) и все высшие офицеры главной квартиры.

Император, поцеловавшись с наследным принцем, обменялся с ним несколькими словами при посредстве Наджи паши. Затем Вахидэддина предупредили, чтобы он представил свою свиту императору. Он представил меня. Кайзер сунул одну свою руку за мундир на груди, другую же он протянул мне и сказал громким голосом по-немецки:

— 16-й корпус армии. Анафартас.

Взгляды всех присутствующих обратились на меня, и, поняв намек императора, я был смущен и опустил глаза. Император, вероятно, ошибся, видя мою смиренную позу, потому что спросил меня:

— Не вы ли Мустафа Кемаль, командир 16-го корпуса армии и защитник Анафартас?

— Да, Ваше Превосходительство, — отвечал я по-французски. Но только что я произнес это слово, как я понял, что совершил громадную ошибку. Нужно было сказать «государь» или «Ваше Величество». Но к чему лгать? Что поделаешь, когда испытываешь затруднение произносить слова, чуждые вам. Впрочем, не впервые я таким образом ошибался. Мне припоминается, что такую же ошибку я допустил с королем Фердинандом Болгарским, находясь в первый раз в его присутствии.

---

Нас комфортабельно устроили в главной квартире. Наследник престола должен был отдать некоторые визиты. Мы были, например, у Гинденбурга и вслед затем у Людендорфа. Наджи паша и я сопровождали будущего властителя.

Мы находились в крохотном рабочем кабинете Гинденбурга. Маршал сидел за письменным столом. Вахидэддин поместился в кресле налево от маршала, и рядом с ним — сидел Наджи паша. Я сел направо от Гинденбурга. Наследник престола вел разговор с маршалом. Хотя обычно не принято во время формальных визитов говорить о важных вопросах, Гинденбург излагал их наследнику и через него всему турецкому народу в успокоительном духе. Вахидэддин благодарил маршала за его заявления.

[1]) Повидимому, Плесс. Прим. пер.

[2]) Фон-Гинденбург Пауль. Родился в 1847 г. в Познани. Военную службу начал в 1866 г. В 1914 г. получил чин генерала-фельдмаршала и в 1916 г. назначен был верховным главнокомандующим. В 1925 г. на вторичных выборах избран президентом Германской республики. Прим. пер.

[3]) Людендорф Эрик. Родился в 1865 г. Назначен был начальником штаба верховного командования в 1916 г. Прим. пер.

Смысл ведшегося маршалом Гинденбургом разговора не удовлетворял меня. Я предпочел вовсе не участвовать в нем, а, наоборот, желал, чтобы это свидание было коротким, что и случилось.

Людендорф в свою очередь принял Вахидэддина с большой учтивостью. Можно сказать, что он дополнил ободряющие раз'яснения маршала. Особенно он говорил о шедшем в то время блестящем наступлении на северо-западном фронте против союзных армий. Мы уже знали об этих наступательных действиях, но я с нетерпением ожидал услышать из уст самого Людендорфа об учитываемых им результатах этого наступления. Между тем я убедился, что беседа велась не в этом направлении, и, говоря о наступлении, он просто желал выставить на вид боевой дух нации и армии в Германии, как и в странах ее союзников. Чтобы рассеять свои сомнения, я задал генералу следующий вопрос:

— Как далеко могут продвинуться силы, начавшие наступление?

Генерал Людендорф, услыша вопрос, заданный одним из офицеров свиты наследника, прервал свои полные вежливости об'яснения, посмотрел мне в лицо и сказал:

— События покажут результаты наступления, предпринятого нами.

Я снова заговорил:

— Мне кажется, что нет необходимости дожидаться событий, чтобы знать исход текущих операций, — словом, является ли предпринятое наступление «частичным» лишь наступлением?

Людендорф вновь взглянул на меня в упор и отлично понял значение моих слов. Все же он предпочел молчать и не дал мне ни положительного, ни отрицательного ответа.

Разговор на этом прекратился, и визит был окончен.

Я прочитал с начала до конца воспоминания Людендорфа; в них выставляются очень искусно великие принципы, будто бы руководившие германским верховным командованием, и я, конечно, не вправе требовать, чтобы в них упоминалось о заданном неизвестным визитером вопросе. Но, упоминая о нашем визите, я также не желал бы, чтобы остался забытым обмен взглядов с человеком, всеми считавшимся великим солдатом и выдающимся начальником генерального штаба.

В гостинице, где помещалась главная квартира императора, в комнате кронпринца, Вахидэддин, Наджи паша и я — мы вели беседу об очень важных и существенных вопросах общего значения. Я старался выяснить и доказать, насколько нелогично было верить в то, что добровольное согласие на передачу германцам командования армией могло быть нам выгодным. На эти размышления толкнула меня принятая Людендорфом поза человека, возлагающего все надежды на бога, когда я задал ему краткий вопрос. Я горячо желал, чтобы будущий падишах понял то, о чем я говорил. Сам не знаю почему, но я возлагал надежды на результат таких попыток. Наследник, казалось, соглашался с моими раз'яснениями.

В этот момент до гостиной, где мы находились, донесся шум.

— Император... Император...

В дверь постучали, и нам доложили, что император явился отдать визит Е. В. наследнику. Мы приготовились встретить августейшего посетителя. Император вошел в гостиную. Мы все сели. Он говорил, как истый джентльмен, о том, что Оттоманская империя — благородный союзник, как Энвер паша достойно оценил этот союз и что германские командование и генеральный штаб питают безграничное доверие к Турции.

Я сидел по правую сторону Вахидэддина, Наджи паша находился против нас, имея по левую свою сторону императора. Вахидэддин через посредство Наджи паши задал императору следующий вопрос:

— Ваши императорские заверения по поводу верности Турции по отношению к Германии и относительно будущего процветания союзников ее вызвали во мне чувство удовлетворения, так как я должен думать о будущности Оттоманской империи. Я воздерживаюсь от какого бы то ни было анализа общего положения, но есть пункт, о котором я должен иметь ясное представление: удары продолжают наноситься в самое сердце Турции. Следствием их успеха явится полное уничтожение Турции. Не пожелаете ли вы просветить и успокоить меня на этот счет?

Император неожиданно поднялся.

— Мне кажется, уважаемый наследник турецкого престола, есть люди, которые любят волновать наши умы. Если я, император Германии, говорю вам о будущности и предстоящих успехах, то могут ли быть у вас еще какие-нибудь сомнения?

Отвечая утвердительно, Вахидэддин присовокупил, что его душевное беспокойство все же не рассеялось.

Император более не садился, а, вежливо предупредив, что он нас покидает, направился к двери. Мы проводили его до выхода. Он должен был пройти по коридору, удлинявшемуся налево. Заметив, что я не очень понравился монарху, я держался немного в стороне. Он пожал руку Вахидэддину и затем Наджи паше, стоявшему рядом с ним, и направился в коридор, бросив на меня взгляд.

Он не подал мне руки и был прав. Не ему следовало подходить к генералу из свиты наследника: генерал обязан был выказать услужливость, чтобы иметь честь пожать руку императора.

Я признаю свою ошибку. Не знаю почему, я принял позу спокойную, твердую, как бы рассеянную, и точно не был в состоянии сделать движения. Пройдя несколько шагов, император вернулся и подошел ко мне.

— Извиняюсь, — сказал он, — я не подал вам руки.

Я протянул руку, которую император вежливо пожал.

Вечером мы были приглашены обедать к императорскому столу. По правую руку императора сидел Вахидэддин, по левую — Хакки паша — посол в Берлине, а напротив какой-то принц. Я сидел по левую сторону принца, а моим соседом оказался Людендорф, разговаривавший со мной по-французски. Неожиданно император обратился к нему на немецком языке:

— Поговори с человеком, сидящим с твоей правой стороны.

— Я разговариваю с ним, — ответил ему тот.

Я понял этот диалог, в достаточной степени зная по-немецки.

Людендорф, мозг которого, без сомнения, был переутомлен ведением обширных военных операций, в течение всего обеда не мог найти достаточно серьезной темы для разговора, о котором бы сохранилось у меня воспоминание.

По окончании обеда император, Гинденбург, Людендорф, одно высокопоставленное лицо, которого я принял за премьер-министра, Вахидэддин, покойный Хакки паша и я мы все прошли в смежную со столовой гостиную.

Император дружески беседовал с Вахидэддином, стоя в углу. Напротив меня оказался человек, по взору которого можно было судить, что он ясно сознавал всю действительность, но не любил делиться с случайным собеседником тем, что он понимал или знал, — Гинденбург. Он прислонился к стене. Мне хотелось поговорить с ним и я старался свести наш разговор на тему, затронутую во время нашего визита к нему с Вахидэддином.

Маршал сообщил мне тогда, что положение в Сирии улучшилось и что новая совершенно свежая кавалерийская дивизия была послана на фронт. Этот великий человек передавал мне сведения, взятые из донесений командиров мест. В действительности же упоминаемая кавалерийская дивизия была той самой, которую испрашивали для подкрепления армии «Ильдирим» в бытность мою командующим 2-й армией. До моего назначения командующим 7-й армией больших усилий стоило собрать эту дивизию. Во всяком случае эта военная сила, которую удалось создать, была так истощена, что прежде всего нужно было откармливать исхудавших лошадей в долинах окрестностей Резул-Аина, а уже затем смотреть, годны ли они или нет. Будучи назначен командующим 7-й армией несколько месяцев спустя, я пожелал узнать, можно ли использовать эту дивизию. Из врученного мне донесения явствовало, что на нее, как на военную силу, нельзя было рассчитывать. В главной германской квартире генерал Гинденбург все же заявил, что дивизия была в бою, и положение улучшилось. Я рассказал об этом происшествии маршалу, прибавив:

— Возможно, что мои сообщения не совпадают с содержанием полученных вами рапортов; но вы поверьте мне, что это так. Признайтесь, что положение в Сирии не изменилось к лучшему. Сейчас вы руководите серьезным наступлением, в которое сами не очень верите. Не можете ли вы раз'яснить мне, какую выгоду вы от него ожидаете?

Мог ли ответить на мой вопрос этот великий и осторожный воин. Я не смел надеяться. Окружающая нас интимная обстановка и выпитое шампанское по всей вероятности толкнули меня задать этот вопрос.

Фельдмаршал, казалось, внимательно слушал мои речи, но увернулся от ответа с простотой и ловкостью: посреди гостиной стоял стол с сигарами и разного рода папиросами.

— Ваше Превосходительство, — сказал он мне, — могу я вам предложить папиросу?

Так ответил мне Гинденбург на все мои вопросы. Мы подошли к столу, и он подал мне папиросу.

Император, беседовавший с Вахидэддином, заинтересовался нашим разговором. Он спросил по-немецки:

— О чем он говорит?

Фельдмаршал ответил:

— О разных вещах.

Закурив папироску, я покинул Гинденбурга, подошел к Вахидэддину и спросил его:

— Удалось ли вам узнать правду? Ваш собеседник — император Германии. Одного его слова достаточно, чтобы исчезла тревога, о которой я вам говорил.

— Нет, — ответил он.

— Продолжайте с ним разговор, — сказал я, — изложите ему все ваши опасения, я уверен, что он будет не очень доволен вами, но ему будет известно, что есть в Турции люди, которым понятна действительность.

Наследник принял благодушный вид и сказал мне:

— Я собираюсь это сделать.

Наш разговор закончился.

## 13. На Западном фронте.

Чтобы показать нам театр военных действий, убедить и внушить нам доверие, нас отправили на различные пункты Западного фронта. Мы вскоре прибыли в довольно удобно расположенную главную квартиру фронта. Командующий фронтом об'яснял нам лично расположение войск по карте, на которой указаны были все текущие операции. Об'яснения были блестящи. Восхищенный Вахидэддин спросил меня шопотом, что я думаю об этом.

Я тотчас же ответил ему:

— Спросите разрешения увидеть на месте все то, что показывалось на карте.

Согласие было получено, и мы попали на линию огня. Встречавшиеся офицеры оказывали нам знаки почтения. Был уже составлен план местностей, которые мы посетим, и пути следования. Я взглянул и сказал:

— Командующий фронтом об'яснял нам расположение. Линия сражений, где мы сейчас находимся, та самая, о которой нам говорилось. Разрешите оставить план в стороне и пойти нам в направлении, которое я укажу.

Произошло замешательство. Вахидэддин пошел по указанному в наброске направлению. Я запротестовал и не последовал. Я направился в другую сторону линии окопов, ориентируясь по добытой мною карте, и вскоре подошел к дереву, недалеко от линии огня. Молодой офицер, сидя на дереве, производил наблюдение. Несколько немецких офицеров хотели меня сопровождать. Наблюдатель покинул пост и спросил разрешения рассказать виденное им.

— Позвольте мне также взобраться на дерево.

— Конечно, — был ответ.

Я влез и увидел то, что рассказывал офицер. Важно было знать о мероприятиях против находившегося под наблюдением неприятеля.

— Какие силы и резервы противопоставляете вы врагу? — спросил я.

Офицеры и командующий линией огня были искренни и сказали правду командующему их союзников турок:

— Пехоты недостаточно. Приходилось пускать кавалерию в пехотный корпус.

Я был так удивлен этими заявлениями, что сказал им без обиняков:

— В таком случае вы в опасности.

— Вы правы, — подтвердили они.

Когда я покидал линию огня, ко мне подошел командующий корпусом армии, назначенный императором для сопровождения Вахидэддина. Этот человек, с которым мы уже несколько дней встречались, впервые заинтересовался мною. Мы ехали верхом до места, где стоял автомобиль.

Германский командующий спросил меня:

— Вы ад'ютант наследного принца?

— Нет, — ответил я.

— В качестве кого находитесь вы при нем?

— Мне было поручено.

— Вы отлично понимаете военное дело. Командовали ли вы какой-нибудь единицей в Турции?

Я ответил утвердительно.

— Вы, должно быть, командовали полком? — спросил он вновь.

Я ответил, что некогда командовал полком.

— Были вы командиром дивизии?

— Да.

— Извиняюсь, я сам командующий корпусом армии и по годам могу быть вашим отцом. Какими силами командовали вы в последнее время?

Я удовлетворил любопытство этого человека с прекрасным сердцем:

— Ваш собеседник командовал дивизиями, корпусами и даже несколькими армиями, — сказал я.

Мой ответ смутил немецкого генерала, и он извинился:

— Мы ошибались в обращении к вам. Вы «В. Пр-во». — Он раз'яснил мне, что в Германии величали «В. Пр-во» генералов, командующих единицами, выше корпуса армии.

Я упоминаю здесь, что этот военный, несмотря на свои годы, был чрезвычайно почтителен с нами.

### 14. Генерал-губернатор Эльзаса защищает армян.

В Эльзасе мы были однажды приглашены на вечер к генерал-губернатору. Вахидэддин и губернатор беседовали, сидя за столом в обширной и красивой гостиной. Я ходил по комнате, изучая присутствующих. Неожиданно наследник подозвал меня к столу. Я подошел. Генерал-губернатор

задал ему вопрос, на который наследник ответил, но, желая, чтобы я по
твердил его заявление, он обратился к губернатору:

— Меня сопровождает генерал, бывавший на разных фронтах и хо
рошо знающий страну; вы можете его также выслушать.

Я спросил Вахидэддина, о чем шла речь.

— Об армянах, — ответил он.

Генерал-губернатор говорил ему, что армяне исполнены лучших наме
рений, упоминал о преследовании их турками и находил, что они не засл
живают такого обращения. Я был удивлен тем, что высокое должностно
лицо дружественной и союзной с нами нации вело подобный разговор с бу
дущим монархом Турции. Наджи паша от имени Вахидэддина сказал ему
указывая на меня:

— Этот командующий основательно знает поднятый вами вопрос
может дать вам исчерпывающий ответ.

Я обратился к генерал-губернатору:

— Меня очень удивляет тема разговора, затронутая германским гу
бернатором, в способностях которого я не сомневаюсь, с наследником ту
рецкого трона. Прежде всего меня интересует, почему вы защищаете армя
утверждающих, что они существовали в эпоху, невыясненную историей,
в оправдание своих притязаний старающихся обмануть весь мир. Поступа
таким образом, вы нападаете на вашу союзницу Турцию, которая подверга
опасности свое существование ради всего союза.

Я говорил немного иронически с ним, видя его неосведомленност
в наших делах и, несмотря на все наши жертвы, верившего в право армя
на турецкую территорию. Мой собеседник поспешил успокоить меня те
что его слова являются лишь эхом им слышанного, и он далек от желани
защищать армянские интересы.

Чтобы закончить сей разговор, я заявил:

— Ваше Превосходительство, нашей миссии поручено об'езди
фронты; мы не для того здесь, чтобы обсуждать армянский вопрос, а д
ознакомления с истинным положением германской армии, на которую м
опираемся. Теперь оно нам известно в достаточной степени.

Губернатор пригласил Вахидэддина к столу.

Вслед за тем мы были приглашены в дом владельца заводов Круппа, ра
положенный поблизости от его обширных предприятий. Там мы пообедал
и вернулись с ночным поездом в Берлин.

В столице, будучи гостями императора, мы остановились в гостини
Адлон. Нам отвели отдельное помещение, комфортабельно устроенное. Вахи
эддин гордился хорошим приемом, нам оказанным, он был очень довол
этим и охотно давал интервью журналистам всего мира. Однажды в гост
нице Наджи паша сказал мне:

— Вахидэддин хочет назначить меня своим ад'ютантом, но служ
во дворце не мой идеал.

— Если вам сделали такое предложение, вам нужно согласиться. Он бу
дущий султан, а вы честный человек, — ответил я. — Около него должен бы

человек, не боящийся говорить правду. Служба во дворце, конечно, тяжела, но для блага родины надо выполнять все.

Наджи паша согласился; но назначение его ад'ютантом было утверждено лишь по возвращении нашем в Константинополь.

---

Во время пребывания нашего в гостинице Адлон несколько журналистов просили принца дать интервью, при котором я присутствовал. Вахидэддин был верен своим идеям, постигнутым им до его от'езда из Константинополя, и делился ими со всяким собеседником. Но я был удовлетворен его беседой с журналистами. Когда они ушли, мы остались вдвоем в гостиной.

— Что делать мне? — спросил он меня.

Я припоминаю, что ответил ему следующее:

— Нам известна история Оттоманской империи, некоторые эпизоды ее могут внушить вам страх. Я имею сказать вам нечто важное: что я готов пожертвовать жизнью ради успеха дела, которое я вам подскажу. Довольны ли вы?

— Говорите, — сказал он.

— Вы еще не падишах. Но вы видели, что в Германии император, наследный принц и принцы все несут обязанности. Почему вы удаляетесь от дел?

— Что же мне делать? — спросил он.

— Как только вернетесь в Константинополь, требуйте командования корпусом армии. Я буду у вас начальником штаба.

— Командующим какого корпуса?

— Пятого.

(Командующим этим корпусом был или должен был быть назначен фон-Сандерс.)

— Мне не поручат командования этим корпусом, — возразил Вахидэддин.

— Требуйте его, — сказал я.

— Когда вернемся в Константинополь, мы об этом подумаем, — ответил он.

## 15. Вахидэддин вступает на трон.

Мы возвратились в Константинополь. Едва прибыв, я почувствовал сильное недомогание. Врачи нашли болезнь селезенки, и я пролежал целый месяц. Но их уход не излечил меня окончательно. Я принужден был снова лечь в постель. Тогда врачи настояли на необходимости поехать мне в Вену.

Я поехал. Профессор назначил мне лечение в санатории. Я выбрал санаторий «Коттедж» (в окрестностях Вены), где пробыл месяц. Затем я отправился в Карлсбад по совету того же профессора. Здесь однажды (именно — в пятницу 5 июля 1918 г.) я встретил одного своего знакомого из Смирны,

приехавшего с товарищем. Они сообщили мне о смерти падишаха и о вступлении на трон Вахидэддина. «Да продлит Аллах жизнь его и всех», сказали они.

Эта новость произвела на меня странное впечатление, подмеченное моими гостями. Огорчило ли меня известие или удовлетворило? Я не мог разобраться в своих чувствах. Смерть падишаха не опечалила меня, говоря искренно, как и не беспокоила мысль: долго ли проживет новый. Происходило ли это от того, что в момент перемены я не находился в Константинополе, я не мог определить точно и лишь припоминаю, что сохранил хладнокровие.

Несколько дней спустя получились дополнительные сведения. Я послал поздравление Вахидэддину, на которое получил ответ.

По последним известиям Иззет паша был назначен 1-м ад'ютантом нового падишаха. Я находил это назначение знаменательным. Прикрываясь должностью 1-го ад'ютанта, Иззет паша был вернее военным советником или же начальником генерального штаба. Вскоре я получил от своего ад'ютанта Джевад Аббас бея из Константинополя депешу с просьбой вернуться. Так как лечение мое еще не закончилось, то я не хотел возвращаться в Константинополь, не имея на это серьезной причины. Я получил вторую депешу, в которой говорилось, что «срочно требуется мое возвращение в Константинополь». Не наводя справок о личности, желающей моего возвращения, я покинул Карлсбад в субботу 27 июля 1918 г.

У меня было намерение продолжать путешествие без остановок, но, схватив по дороге грипп, тогда свирепствовавший, я принужден был остановиться в Вене.

По прибытии в Константинополь встретивший меня Джевад Аббас бей сообщил мне, что флигель-ад'ютант Экрем Иззет паша просил его написать мне о возвращении.

Я уведомил Иззет пашу о своем прибытии. Я припоминаю нашу беседу в гостинице Пера-Палас, где я остановился. Мне было любопытно узнать, для чего меня вызывали. Он пояснил, что никаких особых причин не было, но, зная, что с новым падишахом у меня были близкие отношения во время нашего совместного путешествия в бытность его наследным принцем, он лично пожелал вернуть меня в надежде, что я могу быть полезным, если он предоставит мне возможность их продолжать.

Поблагодарив его за память обо мне, я сказал:

— Во всяком случае необходимо приучить нового падишаха к мысли следовать новой линии поведения для улучшения общего положения, оставляющего желать многого. Находите ли вы своевременным переговорить с ним по этому вопросу?

Он согласился. Тотчас же я попросил через посредство Наджи паши о свидании с монархом, на что получил согласие, и час аудиенции был назначен.

После нескольких месяцев разлуки с наследным принцем Вахидэддином — моим спутником по путешествию, я вошел в гостиную нового мо-

нарха в сопровождении Наджи паши. Я спрашивал себя в эту минуту, что позволит ли мне Вахидэддин после вступления на трон говорить откровенно, как это было раньше. Я сомневался и с неуверенностью в душе я стоял лицом к лицу с султаном Вахидэддином.

Он встретил меня очень вежливо и был более предупредителен, чем будучи наследником. Он сел и указал мне на место против себя. Он взял папиросу со столика, находившегося между нами, и предложил мне. Взяв и себе, он закурил ее и протянул спичку мне. Это меня успокоило. Поздравив его и отметив, что он вступил на оттоманский трон в тяжелый момент, я прибавил:

— Ваше Величество, я вам откровенно изложил свои взгляды во время нашего путешествия. Разрешите ли вы мне и теперь говорить в том же духе?

— Конечно, я вас слушаю.

Главная мысль моей длинной речи была следующая:

— Примите на себя верховное командование и выберите начальника генерального штаба. Прежде всего нужно стоять во главе армии. И затем уже можно приступить к применению задуманных мер...

При этих словах Вахидэддин закрыл глаза точно так же, как в мой первый визит к нему во дворце, когда он был лишь наследным принцем. После нескольких минут размышления, он спросил:

— Найдутся ли еще военные начальники одинакового с вами мнения?

— Да, — сказал я.

— Мы подумаем об этом, — ответил он.

Наша беседа прекратилась, и я распрощался.

Наджи паша известил меня через несколько дней, что падишах вызывает меня к себе вместе с Иззет пашой.

Мы явились к нему вдвоем. Я приписал это приглашение желанию султана выслушать обоих нас по одному вопросу.

Преследуя свое намерение, я всячески добивался в продолжение всей аудиенции перевести нашу беседу на соображения общего характера, но мне никак это не удавалось. Вахидэддин был очень сдержан, и мы расстались с султаном, не выяснив ничего.

## 16. Вахидэддин показывает свое лицо.

Дни шли, и я захотел снова увидеться с султаном. Он меня еще раз принял. Как человек, упорствующий в своем взгляде, я почти без предисловия вернулся к прежнему разговору. Вахидэддин поспешно ответил мне:

— Генерал, прежде всего я обязан накормить голодное население Константинополя. Пока не обеспечишь продовольствием жителей, принимать какие-либо меры несвоевременно.

Закончив фразу, Его Величество закрыл глаза. Я убедился к огорчению, что перед мной был один из тысячи хитрых интриганов, которых я встречал ежедневно, и подумал: «Он хочет прежде всего накормить население столицы, рассчитывая на их силу и поддержку в будущей своей дея-

тельности». Но сможет ли он это выполнить до улучшения общего положения? Все же я обратился к нему с новым предложением:

— Вы правы, — сказал я, — но снабжение продовольствием Константинополя не может мешать Вашему Величеству принять необходимые меры к спасению всей страны. Деятельность, направленная ко спасению всего, обеспечивается правильным ходом всей машины, и если механизм не функционирует, то невозможно вызвать продуктивность части его. Я уверен в основательности моего предложения. Вы же можете найти его преувеличенным. Я считаю своим долгом предупредить вас, что прежде всего новый государь должен обеспечить себе силу, на которую опираются государство, нация и союзники, а, пока она будет в руках других, ваше царское достоинство — лишь мнимое.

Он ответил мне следующей фразой:

— Я говорил о нужном с Энвер и Талаат пашами.

Это произнес тот Вахидэддин, который несколько месяцев тому назад, будучи еще наследником, презирал их и критиковал их действия, ведшие страну к гибели. Теперь султан и халиф Вахидэддин беседовал с ними и заявил, что сообща с ними принял «необходимые меры для обеспечения спасения родины». Этим он желал сказать: «Вы превышаете права свои и хотите войти в дружбу со мной».

Поняв этот намек, я счел, что долг совести по отношению к Вахидэддину мною выполнен. Я встал и попрощался. Он закрыл глаза и протянул руку, не сказав ни слова.

Выходя из гостиной, я увидел Наджи пашу, который прочел грусть в моих глазах. Мы не обменялись ни словом; я удалился. Придя в свою комнату в гостинице Пера-Палас, я предался размышлениям. Какое разочарование!

Надо было приняться за другое.

Прошло еще несколько дней. Я продолжал являться по пятницам, в качестве командующего армией на «селямлик» (выход султана на моление в мечеть Гамида в Ильдизе — дворец султана), чтобы не вызывать преждевременной тревоги.

Однажды перед молением в ожидании часа «намаза» (молитвы) в гостиной собрались: Энвер паша, Иззет паша, Вахиб паша, я и еще другие командующие, участвовавшие в операциях Балканской войны. Наджи паша сообщил мне, что Вахидэддин после молитвы желает поговорить со мной в отдельной гостиной. Я спросил, буду ли я один.

— Нет, — ответил он, — его сопровождают два германских генерала.

— Прошу вас доложить Его Величеству, что я предпочел бы быть принятым после ухода генералов, — сказал я.

— Я также подумал, но он желает вас принять в их присутствии.

— Попытайтесь еще раз, если возможно, — сказал я.

Наджи паша сделал все возможное и даже шепнул ему: «Следовало бы его принять после ухода генералов». Так как султан все же желал принять меня при генералах, Наджи паша подумал, что он таит некоторые намерения, и передал мне о результате попыток.

Я вошел к Вахидэддину. Какой вежливый и благосклонный монарх! Не дав мне времени сесть, он произнес краткую речь в присутствии генералов. Он не закрывал теперь глаз:

— Вот командующий, которого я ценю и которому вполне доверяю,— произнес он, представляя меня.

Мы сели.

— Я вас назначил командующим наших войск в Сирии. Положение там стало серьезным, и ваше присутствие необходимо. Не допускайте, чтобы враг взял эти места. Я уверен в успехе возложенной на вас задачи. Выезжайте сейчас же к месту назначения, — сказал он.

Сообщив мне свои распоряжения, он обратился к германским генералам:

— Этот командующий способен выполнить мой приказ.

Повидимому, я был одарен величайшей милостью, но лишь дурак на моем месте радовался бы этому.

Я был опечален, сознавая, что передо мной интриган. Был момент, когда мне хотелось сказать ему:

— Вы мне поручаете выполнение задачи в то время, когда командующие, на которых это возложено, находятся на своих постах. Если вы назначаете меня стоять во главе их, то я счастлив выполнить ваши распоряжения. Между тем я не сомневаюсь, что вы сознательно назначаете меня командующим той армии, от которой я отказался, подав в отставку, и ныне разбитой, как, впрочем, и все армии того района. Как могу я при таких условиях выполнить отданные мне приказания?

Но об этом не стоило говорить с моим собеседником, и я, откланявшись, вернулся в ту же гостиную, где увидел сияющего Энвер пашу.

— Поздравляю вас с успехом, — обратился к нему я и прибавил серьезным тоном: — Поговорим по крайней мере, дорогой, о необходимых мероприятиях. Насколько мне известно: «армия», «войско», «положение» не существуют в Сирии — это лишь одни слова. Вы хорошо отомстили, посылая меня туда. Притом вы поступили против всяких правил: вы отдали мне непосредственное распоряжение через султана.

Энвер паша продолжал смеяться, как и Вахиб паша, но остальные лица хранили недоумевающий вид. Командиры, участвовавшие в балканской войне, о которых я говорил выше, уединились в углу гостиной и горячо беседовали. Один из них заявил:

— Господа, турецкие солдаты никуда не годятся; это стадо животных. Они умеют только обращаться в бегство. Да убережет нас Аллах от случая командовать таким стадом, которое лишено чувства...

Забыв о себе, я заинтересовался их разговором, потом обратился к принимавшему наибольшее участие в этой оживленной беседе:

— Генерал, мы с вами воины и не раз командовали армией. Турецкий солдат не убегает и не умеет этого делать. Если вам удавалось видеть бежавших с фронта солдат, то вы должны признать, что и их начальство до самых высоких рангов тоже бежало... Недобросовестно приписывать армии собственное бегство.

Говоривший со мной не знал или притворился, что не знает меня. Он остановился на момент и спросил у окружающих, кто я. Его осведомили шопотом, и снова наступила тишина.

## 17. Командование несуществующим фронтом.

Я во второй раз в главной квартире в Наблу в качестве командующего 7-й армией. Моим первым занятием было предпринять очень утомительную поездку по фронту для обследования положения. По окончании инспекции я пришел к убеждению, что все пропало; трудно было принять решение, могущее предотвратить грядущее бедствие.

Подумайте только, на обширный фронт в несколько сот километров приходилось три армии. Эти разрозненные и незначительные войска от армии сохранили лишь название... До моего от'езда из Константинополя я думал, как выйти из этого положения и помочь положению. Необходимо было об'единить разбросанные силы в плотную массу и соединить три армии в одну. Назначенный командующим, я перед своим от'ездом из Константинополя сообщил куда следует о том, что составленная таким образом единая сила должна быть вверена мне.

Мое предложение вызвало только иронию.

Я вернулся из Карлсбада совсем здоровым. Между тем утомительные поездки то из Карлсбада в Константинополь, то из Константинополя в главную квартиру, а главное об'езд фронта, трудный и совершенный в короткое время, вызвали снова недомогание. Не прошло и 15 дней со дня от'езда из Константинополя, как я слег в постель.

Однажды, по обыкновению, начальник моего штаба пришел прочитать свои ежедневные рапорты; обычно, как всегда... Но один пункт привлек мое внимание: это показания пленного англичанина... Из его показаний явствовало, что англичане начнут серьезное наступление по всему фронту через день или два.

Я поднялся с кровати, оделся и, войдя в рабочий кабинет, составил приказ о сражении. В нем говорилось, что «враг атакует нас в вечер 19 сентября», и указывались необходимые мероприятия по армии.

Я послал для сведения этот приказ Лиману фон-Сандерс паше [1]) — командующему фронтом. Этот человек, к которому я питаю глубокое уважение, не хотел верить в правдоподобность выводов, сделанных мной из рапортов, и, кажется, улыбнулся. Но, думая, что лишняя осторожность не может повредить, он не нашел нужным высказаться на этот счет.

Я предвидел, что мои распоряжения могут быть неправильно истолкованы, поэтому я внимательно следил за развитием наступления врага в ука

---

[1]) Лиман Сандерс получил титул фон-Сандерса в 1913 г. Родился в 1855 г. В 1908 г. — генерал-майор и начальник 4-й кавалерийской инспекции. В 1911 г. — генерал-лейтенант; в 1913 г. отправлен в качестве руководителя германской военной миссии в Турции, где руководил защитой Дарданелл и операциями в Сирии и Палестине. Прим. пер.

данный день. В ночь с 19 на 20 сентября я вызвал к телефону командующих корпусами армии (Исмет и Али Фуад пашу), чтобы узнать, приняты ли ими требуемые моим приказом меры.

— Ваши распоряжения выполнены, — был ответ.

Не успели мы закончить нашего разговора по телефону, как вражеская артиллерия открыла огонь по нашим линиям. Сражение длилось всю ночь. Ряды армии, прикрывавшей мой правый фланг, были прорваны врагом, захватившим все укрепления. Вражеская кавалерия проникла в образовавшуюся брешь и атаковала главную квартиру Лимана фон-Сандерса. Правильность моего предвидения была доказана, — но, увы, к чему? Что касается меня, то мне с большим трудом удалось привести свою армию в Дамаск, которая расположилась в окрестностях города, а я вступил в Дамаск в сопровождении небольшого эскорта. Что-то ненормальное происходило в нем. Я хорошо знал этот город, так как жил в нем во время первой ссылки после выхода из военного училища в чине капитана генерального штаба, и потому сразу понял, что враждебное к нам отношение царило в городе.

Я рассчитывал найти здесь Лимана фон-Сандерса, но он покинул город, дав инструкции начальнику моего штаба, которого я послал туда до своего приезда. Согласно его инструкции я должен был передать свою армию Мерсинли Джемаль паше, командующему 4-й армией, для защиты города, а сам немедленно принять командование военными силами в окрестностях Райака.

Я вошел в комнату гостиницы «Виктория», занятую главной квартирой 4-й армии. Здесь был Джемаль паша, которому была известна полученная мною инструкция. Я ему передал все единицы 7-й армии, командование которой принял на себя Исмет бей — командир корпуса армии.

В ту же ночь я выехал поездом в Райак. Перед от'ездом я пригласил Али Фуад пашу, командира одного из моих корпусов армии, последовать за мной.

## 18. Меры для спасения остатков армии.

В Райаке я переговорил с Лиманом Фон-Сандерс. Он хотел поручить мне все войска, находившиеся там. Помню, мы были в главной квартире немецких войск, называвшихся «азиатское крыло» и состоявших под начальством германского полковника. Эта квартира занимала сельско-хозяйственную школу в окрестностях Райака, — довольно красивое здание современного стиля... Полковник предложил нам по стакану замороженного пива и одновременно об'яснял Лиману фон-Сандерс положение «германского крыла», рисуя его блестящим. Когда полковник окончил свою речь, я сказал:

— Этот человек будет мне также подчинен?

— Да.

— В таком случае, полковник, ответьте мне: какие у вас силы, где они и каково их состояние?

Полковник колебался мне ответить.

— Я не могу вам дать сейчас ответа, так как вследствие недавних передвижений положение не вполне определилось, — сказал он.

Я обратился к нему:

— Полковник, моя родина гибнет. Кто взял на себя тяжкую ответственность за настоящее, не может рассчитывать на защиту, основанную на неизвестности. Я должен сейчас же определить, на что могу я надеяться с вашей стороны.

Полковник был умным человеком и, подумав немного, высказал правду:

— Надо признаться, на эту силу нельзя рассчитывать.

-- Словом, передо мной всего лишь полковник со своей свитой...

— Действительно так, — был ответ.

— Пойдемте в главную квартиру, — сказал я.

Моя квартира находилась в Райаке, а Лимана фон-Сандерс в Бальбеке. Мне было ясно, что в районе Райак не имелось войск, а были лишь разрозненные части без всякой дисциплины и боевого духа. Я велел офицерам и командирам, пользовавшимся моим доверием, собрать и реорганизовать их. Одновременно я распорядился поджечь вокзал в Райаке. В это время мне донесли, что некоторые командующие армиями отошли на север. Я понял, что командующий, на которого я оставил свою армию для защиты Дамаска, покинул его. Меня известили также, что командующий корпусом из состава армии, принужденной сдаться врагу, прибыл в Райак.

Никогда не забуду, как я вызвал его к себе и сказал:

— Вы покинули ваш корпус и приехали в Бейрут, а оттуда сюда. Этот корпус наиболее сильный и способный. Вы не только не спасли ни одного солдата, но оставили весь корпус в руках врага и думали только о собственном спасении. Ваш проступок, каковы бы ни были причины, его вызвавшие, заслуживает строгого порицания; но я хочу вам оказать услугу при условии: есть ли еще в вас воинская честь?

— Да, в достаточной мере, — ответил он после недолгого размышления.

— В таком случае поезжайте в Бальбек к Фуад паше,—я завтра поручу вам командование новой боевой единицей.

Этот человек вместо того, чтобы отправиться в Бальбек, поехал в Константинополь.

В тот вечер у меня зародилась идея:

На всех участках фронта в войсках не было ни порядка, ни руководства. И я издал приказ почти безумный, главный пункт которого был следующий:

«Все силы, находящиеся в Дамаске под начальством Исмет бея (председатель совета Исмет паша), и войска района Райак под командой Фуад паши должны направиться на север».

Одну копию этого приказа я переслал Лиману фон-Сандерс паше для сведения. Он возмутился:

— Чего желает этот человек?

Впрочем, я ожидал этого. Уверенный, что сумею об'яснить значение и важность совершенного мной, я на следующий день после пожара станции в Райаке прибыл в Бальбек. Там я повторил приказание Али Фуад паши о дальнейшем продвижении на север и сам поехал в Гомс, где находился Лиман

фон-Сандерс. Была ночь. Откровенно об'яснил я Лиману фон-Сандерс паше, что это было единственным выходом из создавшегося положения.

Он мне рыцарски вежливо ответил:

— Действительно, только такое решение можно было принять. В конце концов я чужестранец и не вправе принимать подобных мер. Только хозяева своей страны могут действовать таким образом.

— В таком случае решение будет выполнено, — сказал я.

Он ответил:

— Я попрошу вас убедить начальника моего штаба.

Начальником штаба был Киазим паша (из Диарбекира). Он был болен. Я отправился к нему в сопровождении Лимана фон-Сандерса и раз'яснил то, что было необходимо. Он согласился с моими доводами. Принятое мною решение заключалось в следующем: от седьмой армии оставалось лишь название, ее разрозненные части следовало соединить в Алеппо на севере Сирии и вслед за тем принять соответствующие решения.

Это предстояло совершить мне. Лиман фон-Сандерс, удовлетворенный этим, согласился на мое предложение.

## 19. Атака Алеппо.

Я собрал в Алеппо вышеуказанные войска, вверив авангард командиру дивизии Киазим бею (ныне Киазим паша). Оба корпуса моей армии находились под начальством Исмет паши и Фуад паши.

Вследствие усиленной работы в Алеппо я снова почувствовал себя нездоровым и вынужден был лечиться несколько дней.

Почувствовав себя лучше, я встал с постели и отправился в гостиницу «Барон», где я поместил главную квартиру. Я беседовал с генерал-губернатором Сирии Тахсин беем, когда неожиданно я получил известие, еще не вполне точное, что восточная часть города взята неприятелем. Чтобы проверить эту новость, я лично отправился туда. Эта новость предвещала очень близкую опасность. Меня сопровождали Тахсин бей и мой ад'ютант Джевад Аббас бей. Мы под'ехали к восточным воротам Алеппю, где собралось много арабов и бедуинов в военной одежде: мы оказались в плену. Со мной не было ни одного солдата. Бедуины окружили автомобиль и даже взобрались на него. Я приказал шофферу остановить машину. Имея лишь хлыст в руке, взятый у Тахсин бея, я спросил на понятном для них языке:

— Где ваш начальник?

— Мы сами начальники, — отвечали они.

Необходимо было принять немедленное решение. Я начал бить хлыстом без разбора:

— Уходите, — кричал я.

Они невольно повиновались. Я приказал:

— Пусть ваш начальник сейчас же подойдет ко мне.

Когда он подошел, я обратился к нему:

— Я победил войска, которым вы оказывали помощь; несмотря на это, я прощаю вам ваш проступок. Приходите ко мне вечером, мне надо с вами поговорить.

— Я к вашим услугам, — ответил он.

Я велел шофферу повернуть назад и ехать в главную квартиру в Алеппо. Вскоре явился шейх, которого я принял с церемониалом.

— Чего хотите вы? — задал я ему вопрос.

— Тысячу золотых лир, оружие и боевые припасы, — ответил он.

В тот же вечер я вручил ему деньги и обещал дать оружие и припасы.

На следующий день я был снова болен и лежал. Вдруг на улице раздались выстрелы. Я вышел на балкон и взглянул на улицу: чрезмерное возбуждение царило в толпе, наступавшей на гостиницу. Я сообразил, в чем дело, и с помощью хлыста прогнал нападавших. Когда я спускался в нижний этаж, комендант Алеппо подал мне рапорт. Он был настолько взволнован, что не мог мне прочесть его. Я хладнокровно прочитал, что на Алеппо совершено нападение.

Направо от дверей гостиницы, где я находился, был перекресток улиц, куда я направился и которые велел своим войскам занять. С крыш домов неприятель бросал бомбы, к которым присоединились бомбы с аэропланов. Мне стало смешно, что я намеревался защищать город. К вечеру я обратил внимание на кучу людей недалеко от места, где я находился. Они лежали на земле и, повидимому, думая, что я один, готовились к нападению. Я лично вел этот так называемый уличный бой. Нападавшие были нами побеждены и отогнаны. Мы были полными хозяевами положения в Алеппо, и спокойствие было восстановлено. Наступал вечер. Шоффер ждал меня вблизи места, откуда я давал распоряжения во время боя. Я сделал знак, и он под'ехал. Прежде чем сесть в автомобиль, я передал коменданту города приказ и инструкции, в которых был нижеследующий секретный пункт: «Сегодня вечером я верну аванпосты, а завтра разобью англо-арабские войска в северо-западном направлении от Алеппо. Согласуйте ваши действия с этим планом».

События совершались точно по моим желаниям. На следующее утро англо-арабы, считая, что моя армия ушла, атаковали нас, но благодаря принятым мерам были разбиты и отошли. Только после этой победы я провел свою границу и усилил ее защиту. Одновременно я дал приказание войскам, чтобы «враг не переступал этой черты». И действительно он ее не переходил.

На конгрессе в Эрзеруме или в Сивасе, когда необходимо было найти выражение, свойственное определению национальных границ Турции, я брал в основу черту, проведенную турецкими ружьями. Вам, конечно, известно, что я в Ангоре определил условия турецкого мира. Некоторые иностранцы, не знающие правды, делали всевозможные предположения, когда вопрос касался национальных границ.

Я признаюсь, что старался провести эти границы согласно гуманитарным целям, намеченным принципами Вильсона, — именно, опираясь на эти принципы, я стоял на признании границ, которые были определены и защищались турецкими ружьями.

Бедный Вильсон, он не понимал, что нельзя защищать никакими принципами границы, которые не могли быть защищены ружьями, силой, честью и достоинством.

## 20. Лиман фон-Сандерс передает свои полномочия.

Во время моего пребывания в Алеппо я размышлял об общем положении страны. Положение было таково: союзники и мы проиграли партию. Но положение в Турции было настолько критическим, что на карту было поставлено ее существование. Нельзя было и думать о восстановлении положения, когда гибель страны была неизбежной; должны ли мы колебаться и не прибегать к быстрым и решительным мерам, могущим обеспечить спасение нашей страны.

Может статься, что для этого нам нужно будет занять иную позицию, даже без ведома союзников.

Между тем этого нельзя было ожидать от государственного совета, который привел войну к таким результатам. Я был убежден в необходимости его немедленной смены и приведении ко власти правительства, способного действовать. Для осуществления моих проектов я признавал необходимым, чтобы новый кабинет доверил мне командование всей армией.

Так как положение было критическое, и нужно было действовать быстро и решительно, я известил по телеграфу падишаха Вахидэддина о своем взгляде. Я посоветовал ему передать великое визирство Иззет паше, а другие министерства его друзьям. Я искренно просил его в депеше о предоставлении мне в этом кабинете места военного министра и одновременно сообщил о своем предложении падишаху лицам, намеченным мною для составления нового кабинета.

Вскоре кабинет Талаат паши подал в отставку, и Иззет паша составил новый. Не могу сказать, оказало ли влияние на этот выбор мое предложение, но большинство указанных мною лиц вошло в состав нового кабинета. Тогда же я получил телеграмму от великого визиря, которая, если я не ошибаюсь, заканчивалась следующей фразой: «Надеюсь, что после заключения мира великий падишах обеспечит нам ваше сотрудничество».

В ответной депеше я дал понять, что просил для себя портфель военного министра потому, что не верил в заключение мира в скором времени; что, наоборот, до мира мы не раз будем в опасном положении и что при тяжелых обстоятельствах я смогу оказать родине большие услуги. Я упомянул также, что по окончании враждебных действий найдутся очень способные люди, которые с успехом выполнят обязанности военного министра. И потому я не нахожу, чтобы после заключения мира мое сотрудничество было необходимым.

7-я армия заняла позиции к северу от Алеппо. Это происходило в последние месяцы 1918 г. В это время я получил депешу с извещением, что на меня возложено командование группой армий «Ильдирим». Я назначил и. о. командующего 7-й армией Али Фуад пашу — командира одного из корпусов армии, а сам отправился в Адану, где была главная квартира этой группы.

Она помещалась в большой гостинице города. Здесь был Лиман фон-Сандерс со своим штабом.

Чтобы прибыть сюда из места расположения 7-й армии, я проехал большое расстояние по скверным дорогам на автомобиле и не спал ни днем, ни ночью. Я говорю «большое расстояние»; если вы измерите по карте дорогу от Катимэ до Аданы, то получите ясное представление о расстоянии.

Почему я так спешил? Трудно сказать. Можно предположить, что такая спешка была вызвана радостью молодого генерала, командующего армией, получившего назначение командующего фронтом.

Такое предположение можно допустить по отношению к лицам, получившим подобное назначение в начале войны, ибо надежда оказать родине услуги во главе больших военных сил является фактором, придающим человеку силы и под'ем. Но к концу войны, в период поражений и беспорядка, вряд ли возможно подобное предположение.

Что за причина этой торопливости, так утомившей меня? Хотя трудно сейчас вспомнить все чувства, говорившие во мне, но я желал скорее прибыть в Адану, стать во главе войск, бывших хозяевами положения на южном фронте, и иметь непосредственную связь с Константинополем. Последовавшие затем события доказали правоту моих мыслей. Если я обманулся в своих ожиданиях, то могу представить документы, которые помогут найти причину.

Меня прекрасно устроили в главной квартире маршала Лимана фон-Сандерс паши.

Я в кабинете у Лимана фон-Сандерс. Мы стоим друг против друга перед столом. Он вручил мне командование, сказав несколько коротких фраз с вежливостью, его отличавшей, но с оттенком глубокой грусти:

— Ваше Пр., я вас знал командующим на боевых фронтах у Ари-Бурну и Анафартас. Если и были столкновения между нами, то они послужили к тому, чтобы мы лучше узнали друг друга, и я надеюсь, что мы стали друзьями. Покидая Турцию, я передаю армии, которыми я командовал, начальнику, способности коего мною оценены с первого дня моего прибытия в эту страну. Нельзя не печалиться при виде общего бедствия. Но одно меня утешает: это вручение вам командования. С этого момента вы здесь хозяин, а я ваш гость.

## 21. Мои предсказания о поражении центральных держав оправдываются.

Полные грусти слова маршала растрогали меня.

— Сядемте, — произнес лишь я в ответ.

Мы сели друг против друга и закурили папиросы. Я попросил его велеть подать кофе. Молча смотрели мы один на другого. Какие мысли проносились в этот момент в моей голове?

...Я видел себя четыре года тому назад подполковником — военным атташе в Софии. Война только что разразилась. Оттоманская империя приняла в ней участие в союзе с Германией. Лиман фон-Сандерс — председатель германской миссии по преобразованию армии — был назначен командующим корпуса для защиты Дарданелл. Я еще ничего не знал об этом.

Вступление Турции в войну вследствие инцидента на Черном море, причина возникновения которого мне неизвестна до сих пор, и немедленная мобилизация вызвали во мне недовольство. Но в то время очень многие находили мои сожаления неосновательными. Я высказал также мнение, что Германия и ее союзники будут побеждены. Правда, эти предсказания были неуместны: германские войска шли гигантскими шагами на Париж.

В то время, когда многие лица занимались умышленно или нет пропагандой, чтобы убедить союзников и Турцию в силе Германии, и радовались начавшейся войне, нашелся военный атташе в Софии, утверждавший противное в своих письмах к некоторым лицам в Константинополе. Такой человек мог быть только безумным.

Лишь впоследствии всем стала известна судьба германской армии, с невероятной быстротой наступавшей на Париж. Мог ли я продолжать вести спокойный образ жизни при дипломатическом корпусе в Софии, когда родина вступила на путь, на мой взгляд роковой, и когда не было иного выхода для турецкой армии, как проливать свою кровь? Я послал помощнику главнокомандующего армиями письмо с просьбой предоставить мне какую-нибудь соответствующую моему чину должность в армии. Я получил следующий вежливый ответ: «Для вас всегда найдется место в армии; мы вас оставляем в Софии, считая обязанности военного атташе более важными».

Я ответил:

— Нет более священной обязанности, как защищать свою родину. Я не могу оставаться военным атташе, когда мои товарищи сражаются на фронте. Если я недостоин, по вашему мнению, находиться среди командного состава армии, прошу откровенно это сказать.

Мне не отвечали. Трудно описать пережитые мной за эти дни страдания. Я решил отправиться на фронт, если понадобится, и простым солдатом. С согласия посла, своего друга Фетхи бея, я перенес свою обстановку в посольство. Оставив все лишнее, я уложил вещи в чемодан и намеревался покинуть дом. В этот момент я получил телеграмму, подписанную Измаил Хакки, с заметкой в начале депеши: управляющий военным министерством. Вот точное содержание ее:

«Вы назначаетесь командиром 19-го корпуса. Немедленно выезжайте в Константинополь».

Энвер паша — помощник главнокомандующего — в то время находился в Сарыкамыше; Измаил Хакки паша, начальник главного интендантства, исполнял должность военного министра.

Когда я приехал из Софии в Константинополь, Энвер паша уже вернулся в Константинополь. Я отправился к нему с визитом. Пока докладывали

обо мне, я ждал ответа у двери. Тут я увидел Осман Шефкет бея (ныне паша) — начальника кабинета военного министра — и спросил у него: не управляющий ли военным министерством Измаил Хакки паша назначил меня командиром 19-го корпуса армии.

Осман Шефкет бей ответил мне откровенно, но конфиденциально:

— Энвер паша лично назначил вас. Это распоряжение дано им депешей из Эрзерума.

Через несколько минут я уже был у Энвер паши. Он немного похудел и побледнел. Я заговорил первым:

— Вы немного устали.

— Не только это, — отвечал он.

— Что случилось?

— Мы участвовали в сражении.

— В каком мы сейчас положении?

— В очень хорошем.

Не желая более утомлять Энвер пашу, я уклонился от разговора о своей новой должности:

— Благодарю вас. Вы назначили меня командиром 19-го корпуса. Где он находится и к какой группе армий относится?

— Ах, да. Поговорите по поводу этого со штабом, и вы получите более точные указания.

Я не продолжал больше беседы, ибо видел, что Энвер паша был очень занят и утомлен.

— Хорошо, — сказал я, — в таком случае я не хочу вас дольше беспокоить и поговорю со штабом.

Я направился в штаб командующего армией и представился старшим офицерам:

— Командир 19-го корпуса, подполковник Мустафа Кемаль.

Все, кому я представлялся, с удивлением смотрели на меня и, казалось, с трудом узнавали меня. В штабе не нашлось ни единого человека, знающего что-либо о существовании такого корпуса. Судите сами, в каком странном положении я оказался. Я всем заявляю, что я командир 19-го корпуса армии, когда никому не известно, существует ли он. Я очутился на положении обманщика.

Пока я, удивленный, смотрел на своих собеседников, один из них, более сообразительный, сказал мне:

— Такая дивизия, а не корпус, вероятно, существует в армии Лимана фон-Сандерса, — справьтесь там.

Я спросил, где он находится.

— Его канцелярия помещается в здании министерства, — был ответ.

— Кто начальник его штаба?

— Киазим бей.

Я попросил провести меня к нему. Мне дали в сопровождающие мальчика из конторы.

В канцелярии Киазим бея я изложил ему все происшедшее:

Е. П. помощник главнокомандующего назначил меня командиром 19-го корпуса армии, но ни он, ни его штаб не могли дать точной справки о его местонахождении. Они направили меня сюда в предположении, что он составляет часть армии Лимана фон-Сандерса. Вам несомненно это известно.

— Ни дивизии, ни корпуса за этим номером нет в нашем составе. Но возможно, что 3-й корпус армии, находящийся в Галлиполи, проектирует выделить из своего состава эту новую дивизию. Потрудитесь с'ездить на место для точного сведения.

— Вы хотите сказать, что для справки: существует ли дивизия, командиром коей я назначен, необходимо отправиться в Галлиполи?

— Точно так. Однако я вас представлю командующему до вашего от'езда.

Киазим бей вошел в кабинет командующего армией и несколько минут спустя пригласил меня следовать за собой: я не могу ясно воспомнить, как он меня представил: командующим ли 19-й дивизии или вообще дивизии или корпуса, я только расслышал слова: «подполковник Мустафа Кемаль — военный атташе, прибывший из Софии». Лиман фон-Сандерс принял меня вежливо и с довольным видом; предложив сесть около себя, он любезно спросил меня:

— Когда вы прибыли из Софии?

— Вчера, — отвечал я.

Он прибавил без всякого предисловия:

— Болгары еще не начинают воевать?

— По моим сведениям, они еще не скоро начнут, — отвечал я.

— Почему?

Задав этот вопрос, он сделал рукой жест удивления. После недолгого размышления, я сказал:

— По-моему, болгары примут участие в войне лишь при двух возможностях: или будучи убеждены в победе германской армии, или если театр войны перенесется на их территорию.

Мой ответ рассердил вдруг Лимана фон-Сандерса; сжав правую руку в кулак и подняв вверх, он продолжал:

— Болгары до сих пор не уверены в успехах германских войск?

— Нет, — совершенно спокойно ответил я.

Мой ответ еще более раздражил Сандерс пашу, лицо которого покраснело. Он разгневался.

— Почему? — спросил он.

Я не понял смысла вопроса и взглянул на него прямо.

Он раз'яснил:

— Как можно сомневаться в успехах германской армии? Разве это возможно?

— Да, это так, — ответил я.

Он посмотрел на меня пристально.

— А каково ваше убеждение? — спросил он меня.

Я колебался, отвечать или нет. Но какие чувства должны были меня волновать, когда я находился в положении командира без назначения. Впрочем, свой взгляд я уже давно высказывал по этому поводу и не мог теперь говорить обратное. С другой стороны, я не мог не оценить осторожного последних дней поведения болгар, тем более, что перед самым от'ездом из Софии я вел откровенную беседу с генералом Фичевым, занимавшим тогда очень высокий пост. Его взгляды сходились с моим. В таком случае, что мог я сказать маршалу, принявшему на себя дело защиты проливов турецкой страны? После минуты размышления я кратко ответил:

— Я нахожу, что с своей точки зрения болгары правы.

Лиман фон-Сандерс тотчас же встал и простился со мной. Таков был человек, с которым я вновь встретился к концу войны, сейчас спокойно курящий папиросу.

---

В то время, как мы молча сидели друг против друга с Лиманом фон Сандерсом в номере гостиницы в Адане, я вспомнил еще об одном эпизоде, я был командующим под Ари-Бурну, когда англичане высадились у Анафарта. Положение было критическим и очень опасным. Я был вынужден обратиться непосредственно к помощнику главнокомандующего Энвер паше, от которого не получил удовлетворительного ответа. В это время меня вызвал к телефону Лиман фон-Сандерс паша, командующий армией, главная квартира которого находилась в Валове; разговор велся через посредство начальника его штаба Киазим пашу. Вот о чем меня спрашивал он:

— Каково положение по вашему мнению и какие меры советуете вы принять?

Я уже неоднократно высказывал заинтересованным лицам свои взгляды на положение и на необходимые мероприятия. Под влиянием досады, вызванной бесполезностью всех моих попыток, я не задумываясь ответил:

— Я вам не раз об'яснял, что я думаю о положении. Что касается мероприятий, то до настоящей минуты их было много и очень действительных. Но теперь остается лишь одно.

— Какое?

— Передать в мое распоряжение все силы, которыми вы командуете.

Ответ был ироническим: — не многовато ли это?

— Этого даже едва ли будет достаточно.

Он бросил трубку.

После этого было еще много различных историй, которые кончились моим назначением командующим группой под Анафартас.

Чтобы решить, много ли это или недостаточно, нужно было прожить четыре длинных года, полных трагедий и невозвратимых потерь.

Это судьба. Лучше ли было бы признать мои требования истиной или, может быть, следовало ждать четыре года, чтобы вручить мне командование фронтом? Это спорный вопрос. Даже после того, как Оттоманская империя пережила несчастье, которое должно было ее постичь и которое

ся рассыпало на части и привело к позору, не было смысла в том, что предпринималось.

Что ж, всякая эпоха имеет свой конец.

Я очень доволен тем, что сегодня могу удостоверить, что мне помешали быть замешанным в прошлом.

Ведь действительно человек, который находится в единомыслии с руководителями какой-нибудь эпохи, не может не быть человеком этой эпохи. Я считаю своим долгом поблагодарить тех, которые ничем не брезгали, насколько это зависело от их власти, чтобы держать меня вдали от участия в этих несчастиях, тем более что они шли бессознательно по этому пути.

## 22. Мудросское перемирие [1]).

Единицы, командование которыми мне было вручено, были следующие:

1) 2-я армия под командой Нихат паши, главная квартира которой находилась в Адане — это была моя старая армия.

2) 7-я армия, которой я тоже ранее командовал, под временным начальством Али Фуад паши.

3) Экспедиционные силы Геджаса под командой Фахреддин паши: когда-то я был назначен командовать и этой частью, но отказавшись выехал из Дамаска.

Кроме этих сил были еще некоторые небольшие части в Маане.

Соображения, которыми я руководился после принятия командования всей этой группой «Ильдирим», были следующие: превратить их в реальную силу, несмотря на все испытания, которые претерпели эти части, взять их под свое непосредственное управление, организовать, переформировать, усилить. Я даже не мог рассчитывать на экспедиционные силы Геджаса и Маана, так как еще два года назад я говорил Джемаль и Энвер пашам, что эти части обречены на пленение.

Я хотел увидеть 6-ю армию, находившуюся в районе Моссула, в состоянии, годном для использования.

В связи с этим я вошел в сношения с командующим этой армией, так как я совершенно не надеялся на наши силы, находившиеся под Константинополем и Дарданеллами. Я не имел никаких сведений о восточных армиях, бывших в Азербайджане и Персии, и не мог даже думать о каком-либо их использовании. Я даже не помню о существовании дивизии Саид паши, которая взяла с бою Аден. Я все-таки думал, что, переформировав две армии, бывшие в моем распоряжении, как я бы этого хотел, я буду иметь силу в своих руках, достаточную для того, чтобы даже и в несчастии к голосу Турции прислушивались. Я начал работать в этом направлении. Командующие армиями и корпусами так же, как и мои товарищи по генеральному штабу,

[1]) Заключено 30 октября 1918 г. между союзниками и Турцией на острове Лемнос в порту Мудрос на английском корабле «Агамемнон». Главным действующим лицом со стороны союзников был английский адмирал Кальторп, о котором будет итти речь в следующих главах. Прим. пер.

были людьми, которые поняли мою задачу и обещали свою помощь. Были и такие, которым это не пришлось по нраву. Я нашел средство от них избавиться; например случай с Авни пашой, инспектором этапа, который впоследствии был временным военным и морским министром. В то время, как я с товарищами принялся за реализацию важнейших мероприятий, я получил следующее распоряжение из Константинополя:

«Верховное командование. Командующему группой армий «Ильдирим». 2729.

Ниже приводим условия перемирия, заключенного с союзными державами. Примите к сведению и немедленному исполнению сообразно с особенностями каждой армии. В случае необходимости будут сообщены дополнительные раз'яснения и инструкции.

Великий визирь и начальник штаба верховного командования. Иззет»[1].

Всем известны условия перемирия, приложенные к этому распоряжению, и я не нахожу нужным приводить их здесь. После того, как я изучил условия этой конвенции, я убедился в том, что Оттоманская империя согласилась отдаться неприятелю без всяких условий, она не только согласилась, но и обещала свою помощь врагу, когда он явится оккупировать страну. Это навело меня на очень грустные размышления. Я хотел открыть глаза константинопольскому правительству. Я работал в этом направлении, но два различных понятия и взгляда столкнулись. Мне не хочется говорить об этом, и я предпочитаю представить вам документы, часть которых уже известна; они более красноречивы, чем то, что я могу вам сказать в настоящий момент.

Читая их, вы дадите себе отчет, насколько я понимал промахи в условиях перемирия. Я сообщил заинтересованным инстанциям свое убеждение, что необходимо постараться исправить допущенные промахи, я об'яснил им, что в случае применения договора в таком виде, в каком он существует, вся страна будет оккупирована. Я давал им понять, что не может быть сомнения, что результатом подписания всех требований неприятеля явится оккупация всей Турции и что недалек тот день, когда враг будет назначать турецкое правительство.

Не нужно было быть сверхчеловеком, чтобы понять действительность.

Мне совершенно непонятны чувства людей, сознающих свою слабость и бессилие, но старающихся побудить к жалости более сильных, чем они сами.

## 23. Я предпочел покинуть командование, чем согласиться на отдачу Александретты.

№ 565. В штаб верховного командования из Аданы 3. II. 34.

Я получил ваше распоряжение, касающееся условий перемирия и немедленного исполнения их сообразно особенностям каждой армии. Прежде

[1]) Иззет паша Ахмет родился в 1864 г. После младотурецкой революции 1908 г. — начальник генштаба. В Балканскую войну главнокомандующий, а потом и военный министр до вступления в эту должность Энвер паши. Во время войны командовал Кавказским фронтом. После падения кабинета Талаат паши — великий визирь. Прим. пер.

чем приступить к выполнению, я считаю необходимым получить от вас раз'яснения некоторых общих условий, которые я изложу по порядку.

1. Пункт 10. Пункт, касающийся занятия союзниками туннелей Тавра, требует раз'яснения. Под вышесказанными туннелями подразумеваются ли только два недавно проведенных и лишь они должны быть оккупированы? Выразится ли оккупация в эксплоатации железной дороги этого района или же она ограничится организацией охраны? Принадлежат ли туннели Аманос, составляющие отдельную группу, к их числу? Какие войска займут туннели Тавра и откуда они прибудут?

2. Мне необходимо знать, имеется ли еще другой взгляд по поводу границ Сирии. Мы не оставляли никаких сил в Сирии, которые бы состояли с нами в связи. В Геджасе остались экспедиционные войска, с которыми нельзя снестись даже по беспроволочному телеграфу. Я знаю, что Киликия составляет большую часть Аданского вилайета, но ее границы мне неизвестны — это также требует раз'яснения.

3. Окончательные решения по демобилизации находятся в тесной связи с другими операциями. Когда и откуда будут получены указанные в пункте 20-м конвенции инструкции? Остается ли это право всецело за нашим правительством или принадлежит союзникам?

4. Вы приказываете тотчас же применить особенности условий перемирия сообразно каждой армии. Желаете ли вы, чтобы нами были посланы миссии для выполнения вышеуказанного распоряжения, не ожидая подобных шагов со стороны союзников?

Ниже привожу принятые мною меры до получения затребованных инструкций:

1. Образование миссий для переговоров.

2. Подготовка отряда моряков, обязанных при требованиях помогать вылавливать мины, установленные в береговой полосе в районе действия группы.

3. Организация средств транспорта для военнопленных и пленных армян.

4. Образование сильной дивизии, кадры которой бы состояли из свежих людей самых молодых полков, и усиление жандармерии.

5. Принятие мер к отправке на север Тавра излишка военного материала, не указывая места его уничтожения.

6. Приведение в порядок жел.-дорожного товарного движения, принимая во внимание, что германские гражданские служащие будут уволены (группа ожидает поддержки в этом Константинополя).

7. Сборы материала, оружия, амуниции и т. д. у предназначенных для демобилизации единиц войск.

Мустафа Кемаль
Командующий 7-й армии.

567/1505.

Командующему группой армий «Ильдирим».

Харбие. 4/5. II. 34.

3. II. 34. № 565.

1. Занятие туннелей Тавра союзными силами имеет значение лишь простой охраны. Эксплоатация дороги наша, но под контролем. В тексте договора говорится лишь о туннелях Тавра. Если будут настаивать на оккупации таковых в Аманосе, ссылаться на то, что в тексте конвенции упоминается лишь Тавр и об этом известить ставку верховного командования. Английский командующий сообщит наличный состав оккупационных войск и откуда они прибудут.

2. Пункт, касающийся сдачи гарнизонов Сирии, является предварительным условием. Между тем это не должно во всяком случае касаться войск, находя-

щихся на фронте, тем более группы Ильдирим. Командование группы Ильдирим должно будет давать распоряжения, вытекающие из условий перемирия и относящиеся к экспедиционным силам Геджаса и силам, находящимся в районе Маан и подчиненным группе Ильдирим. Для этого вы можете пользоваться английским радио-телеграфом. Части, находящиеся в данный момент на фронте, сохранят свои позиции в соответствии с пунктом 5-м условий перемирия, пока не будет определена новая фронтовая полоса. В случае надобности границы Киликии будут вам сообщены.

3. Инструкции по демобилизации, определению боевой линии будут вам сообщены.

4. Нужно ждать, пока союзники не предпримут шагов в соответствии с особенностями перемирия.

5. Мы утверждаем принятые вами меры.

Начальник штаба верховного командования Иззет.

Начальнику штаба верховного командования.

Весьма спешное.

Адана, 5. II. 34.
4/5. II. 34. № 557/1505.

1. Вы говорите, что английское командование определит наличный состав оккупационных сил Тавра.

Должны ли мы позволить, чтобы эти войска были настолько сильны, чтобы оккупировать всю Анатолию?

2. Говорится, что сдача сирийских гарнизонов является предварительным условием, но оно не касается войск, находящихся на фронте. Я считаю, что англичане поставили этот пункт только для того, чтобы путем обмана распространить его и на войска, находящиеся на фронте. Этот пункт спорный и турецкая делегация была введена в заблуждение. Я уверен, что англичане будут требовать сдачи 7-й армии, как находящейся на Сирийском фронте. Если я требовал, чтобы мне сообщили границы Киликии, что вы обещали сделать лишь в случае надобности, так только для того, чтобы знать, известно ли турецкому императорскому правительству, что английский атлас по этому району проводит линию границы к северу от Мараша. Нет сомнения по-моему, что англичане, которые связывают Киликию с Аданой, не желают довести Сирийскую границу до запада северной границы Киликии.

Впрочем, это подтверждается на карте, посланной английским командованием 6-й армии, где границы Ирака представлены проходящими через Зеерт. Англичане выгружают уже несколько дней войска в Александретте, и, несмотря на то, что у них достаточно продовольствия в Алеппо, они говорят о необходимости новых запасов для своих войск. Это доказывает, что они считают Александретту входящей в Сирийскую территорию и в Киликию.

Я горячо настаиваю на том, что если мы демобилизуем армию раньше, чем выясним все неясности условий перемирия, мы не будем в состоянии сопротивляться английским требованиям.

Мустафа Кемаль
Командующий армией Ильдирим.

Командующему группой армии Ильдирим.

№ 2735.

Харбие 5. II. 34.

Копия приказа 6-й армии.

Написано вице-адмиралу Кальторпу, находящемуся в Мудросе, что английская армия в Ираке по условиям перемирия не имеет права ни оккупировать Мо-

су, ни толковать границы Ирака по своему усмотрению и что в условиях перемирия не говорится об оккупации Александретты. Адмирал ответил, что он просил Лондон дать инструкции командованию английской армии не создавать почвы для недоразумений. Сообщите об этом английскому командующему и попросите его ожидать распоряжений из Лондона.

Великий визирь и начальник штаба
верховного командования Иззет.

Великий визират.

Командующему группой Ильдирим.

На рапорт № 650. 4. II. 34.

Хотя командование английское не имеет права оккупировать Александретту, его требование использовать этот порт для подвоза продовольствия ангновойскам в Алеппо справедливо. Я не вижу неудобства в том, чтобы англичане пользовались этим портом для транспорта и железной дорогой Александретта — Алеппо.

Тем более по-моему это допустимо, чтобы доставить удовольствие английскому делегату, который, будучи джентльменом, изменил несколько условий перемирия, по которым, за отсутствием времени, он нам дал устные заверения.

Это избавит нас также от активности Греции. Предоставляя им право пользования портом и городом Александреттой, мы нисколько от них не отказываемся. Наша военная и гражданская администрация остаются, и англичане являются просто гостями.

Мы просим передать об этом английскому коменданту в Сирии.

Великий визирь и начальник штаба
верховного командования Иззет.

№ 579.

Начальнику штаба верховного командования.

Адана. 6. II. 34.

**Всякое задержание в передаче наказуется смертью.**

Сообщаю, что я счел необходимым задержать и обдумать выполнение ваших депеш от 5. II. 34.

Претензии англичан на пользование портом Александретты для продовольствования их войск в Алеппо несправедливы. Продовольствие в несколько миллионов ценностью перешло в руки англичан в Алеппо и в его окрестностях. Если англичанам нужно дополнительное продовольствие, могут быть приняты меры для доставки его из Килисс и Аинтаба, где оно имеется в громадном количестве.

Я вас уверяю, что предлог продовольственного характера прикрывает желание оккупировать Александретту и продвинуться по линии до Хан Ратиме, чтобы отрезать 7-ю армию и поставить ее в положение, при котором она не сможет сопротивляться так же, как это было с 6-й армией в Моссуле. Это предположение подкрепляется появлением армянских банд в районе.

Я вам сообщаю о моей неспособности понять качества джентльмена из английской делегации и причину уступок ему авансом с нашей стороны. Я не понимаю также, почему это может помешать выступить Греции и захватить англичанам дорогу из Александретты в Алеппо. Наоборот, я думаю, что было бы невыгодно выказывать нам снисходительность в этом вопросе.

Я не в состоянии был передать вашего сообщения английскому командующему в Сирии. Я приказал воспрепятствовать силой всякой попытке англичан высадиться в Александретте и собрать 7-ю армию

внутри Киликии по линии Катимэ—Ислахи, оставив небольшой заслон на линии, где она сейчас находится.

Так как мой характер не позволяет мне выполнять приказания, осуществляющие вероломные действия англичан, а неисполнение распоряжений верховного командования повлечет за собой многочисленные обвинения, я вас прошу срочно сообщить мне лицо, которое вы предназначаете вместо меня и которому я могу немедленно передать командование.

Мустафа Кемаль
Командующий группой Ильдирим.

## 24. Трусливая позиция Блистательной Порты увеличивает претензии англичан.

781 и 782 шифрованные.

Командующему группой армии Ильдирим.

Харбие. 6/7. II. 34.

1. Приказания сопротивляться оружием высадке англичан в Александретте противоречат политике государства и интересам страны. Поэтому рекомендуется тотчас же сообщить об этих ошибочных приказах. Возникли затруднения на почве неправильного толкования различных пунктов перемирия. Мы приняли эти условия не потому, что были обмануты, а вследствие полного поражения. Государство предпринимает меры, которые вызываются настоящим положением, и дадут результаты. Выполнение вами в этот тяжелый период на фронте всех необходимых мер, имеющих громадное влияние на будущность государства, создаст наше полное доверие к вам. В настоящем трудном положении не может быть ни промедлений, ни обсуждений. Распоряжения, отданные нами армиям, должны буквально выполняться, и приказ о сокращении частей должен быть исполнен. Штаб, необходимый для действий, должен называться штабом 7-й армии, а все остальное должно быть сокращено. Права, предоставленные инспекторам и другим лицам группы, сохраняются в штатах 7-й армии, и мы не думаем, чтобы они отказались от выполнения обязанностей в это тяжелое время.

Иззет, великий визирь.

Е. В. великому визирю Ахмет Иззет паше.

На шифрдепешу от 6. II. 34.

Адана. 7. II. 34.

1. Я вам сообщаю текст секретного приказа от 5. II. 34 по поводу применения оружия против десанта в Александретте:

«По моим предположениям англичане под различными предлогами желают высадить свои войска в Александретте, чтобы поставить 7-ю армию в тяжелое положение. Чтобы воспрепятствовать этому, третий корпус армии будет оказывать вооруженное сопротивление высадке войск в Александретте до прекращения движения 20-го корпуса армии, указанных в пункте 1-м».

Вышесказанный 1-й пункт относится к концентрации большей части 20-й армии к северу от линии Фатиме — Су-Баши.

После окончания этого движения приказ о применении оружия теряет свою силу. Между тем по вашему распоряжению были даны новые инструкции командующим на местах.

2. От души прошу Всевышнего оказать вам помощь в политических делах, на успех которых вы надеетесь, чтобы вывести нашу страну из критического положения, — следствия прошедших бедствий. Я не сомневаюсь в искренности выраженного вами доверия в выполнении мною всех необходимых мер на фронте.

Уверенность в искренности вашей вызовет с моей стороны выполнение падающей на меня обязанности освобождения родины.

3. Более всего меня тронуло выраженное вами доверие к тому, что я смогу ясно понять во всем значении трудность настоящего положения. Я вас прошу не принимать за критику мои просьбы, адресованные вам, имеющие целью спасение страны.

4. Распоряжения Вашего Высочества о преобразовании главной квартиры группы в ставку 7-й армии совершенно совпадают с просьбой, с которой я обратился к вам об отмене главных квартир 7-й и 2-й армий и оставлении ставки при группе армий. Все различие заключается в названиях. В настоящее время большие затруднения вызывает прекращение связи между единицами, находящимися под моим командованием, и группой армий Ильдирим. Так как 7-я армия рано или поздно будет уничтожена, я прошу вашего соизволения сохранить наименование «группы армий Ильдирим», ввиду производимого им до сих пор большого морального влияния.

Мустафа Кемаль.

№ 24.

Командующему 7-й армии.

8. II. 34.

Согласно полученному мною сегодня сообщению Британского правительства, вице-адмирал Кальторп будет требовать сдачи города Александретты в срок, который будет указан генералом Алленби. В противном случае этот генерал возьмет город силой. Меня просят дать срочные инструкции командующим отдельными силами Александретты, ссылаясь на пункты 7, 10 и 17 конвенции перемирия, выставляя на вид, что они вправе этого требовать.

Ввиду того, что мы совершенно не в состоянии продолжать войну и что рискуем аннулированием условий перемирия, с большим трудом нами заключенного, из-за одного города Александретты, необходимо дать инструкции срочно кому следует эвакуировать и сдать город, когда это потребуется. Столь энергичный запрос был вызван по-моему, несмотря на наше предложение пользоваться портом Александретты и шоссе Алеппо, холодным и резким ответом коменданта Александретты на первые попытки союзных держав. Чтобы спасти родину, необходимо принимать во внимание наше бессилие и сообразовать с ним наши действия, не выявляя нашей слабости.

Ахмет Иззет.
Великий визирь и начальник штаба
верховного командования.

Е. Высочеству великому визирю Иззет паше.

Адана. 8. II. 34.

Ваше распоряжение о сдаче англичанам города Александретты мною получено. Я не понимаю, почему вы предположили, что мы холодно и резко ответили союзникам на их желание пользоваться портом Александретты и шоссе Алеппо.

Я вас уверяю, что ответ коменданта города, согласно вашим инструкциям, данный англичанам на их требования оккупировать под разными предлогами Александретту, был очень вежлив и соответствовал как условиям перемирия, сообщенным нам правительством, так и вашим приказаниям. Никакого упоминания о том, что англичанам был дан резкий ответ, не имеется. А потому причину последнего ответа англичан, который вы находите «ужасным», надо искать в другом месте.

Так как вне сомнения, что эти «ужасные» возражения будут постепенно повторяться до полной оккупации страны, я считаю обязанностью просить вас обратить серьезное внимание на мои доводы.

Английский командующий в Алеппо сообщил нам, что их главнокомандующий известил Константинополь о том, чтобы мы отвели свои войска на север линии Килисс — Пейас для обеспечения безопасности шоссе Александретта — Алеппо, которым они хотят пользоваться. Рапорт командующего 7-й армии от 7. II. 34, несомненно, привлек ваше внимание. В нем говорится, что английский командующий просит о немедленной передаче Моссула, присовокупляя, что, в случае неповиновения, он войдет силой в город. В этом заключается указание армии оккупировать железные дороги Нассабин — Джараблусс — Алеппо. Разве можно иначе понять это предложение?

Из этого явствует, что поведение англичан не могло быть вызвано холодным отношением к английским делегатам.

Изложением своих соображений я хочу указать, что перемирие, заключенное с англичанами, не гарантирует спасения Оттоманской империи. Необходимо возможно скорее установить значение главных пунктов этой конвенции. Если же будут продолжать соглашаться на все претензии англичан, они не ограничатся линией Пейас — Килисс, требуемой ныне; завтра они предложат оккупировать весь район Киликии до Тавра, а затем и район Кония — Смирна.

Таким способом они захотят командовать нашей армией и найдут нужным назначать сами турецкое правительство. Я отлично понимаю нашу слабость и бессилие. Все же я убежден, что государство должно определить границы жертвам, которые оно может принести. Добровольное согласие на отдачу англичанам того, что они бы завоевали, если бы мы продолжали вести войну до конца в союзе с Германией, составит черную страницу в истории Оттоманской империи, а именно нашего нынешнего правительства.

Если Оттоманское правительство заключило или верит в возможность заключения с англичанами секретного соглашения, способного внушить доверие, — я бы просил мне осветить этот вопрос.

Я прошу считать мои соображения достойными обсуждения, так как они диктуются моим беспокойством о судьбе родины.

Ваше Высочество знает очень хорошо, что, какова бы ни была ситуация и где бы я ни находился, я не могу отказаться от возможности высказывать кому следует свои искренние убеждения, когда вопрос идет о спасении родины.

Мустафа Кемаль.

После прочтения моих заметок и документов, которыми я их сопровождаю, я хочу обратиться к совести турецкого народа и турецкой интеллигенции: — Не думайте, что то, что я вам рассказываю в качестве воспоминаний, результат желания писать мемуары, аналогичные другим, написанным до сих пор.

## 25. Возвращение с фронта. Неожиданная история в парламенте Фундукли.

Однажды Иззет паша позвал меня к аппарату. Сообщив мне о своей отставке, он сказал, что было бы хорошо, если бы я находился в Константинополе. Я решил, что обстановка в Константинополе критическая и, так как к тому же войска, которыми я командовал, были распущены, я направился в столицу. Если мне память не изменяет, я впервые говорил с Иззет пашой

в конаке великого визирата против мавзолея Фуад паши, откуда он еще не выехал. Он мне сообщил, почему он подал в отставку — в сущности это был вопрос личного желания. Я ему сказал, что он нехорошо поступил, подав в отставку, что следовало помешать сформированию кабинета Тевфик паши [1]), и я ему советовал образовать новое правительство под своим руководством. Мы говорили о положении, и он кончил, приняв мое предложение. Он даже приготовил список своих новых сотрудников. Нужно кстати заметить, что, когда я прибыл в Константинополь, какого-нибудь видного кандидата на должность военного министра уже не было.

После решения, принятого в великом визирате, каждый из нас начал действовать с своей стороны. Важнейшим принципом, которым мы руководились, было сбросить правительство. Я вошел в контакт с депутатами и говорил со многими моими друзьями; я им сообщил свои взгляды и просил меня свести с представителями парламентских групп наиболее влиятельных. Благодаря своим друзьям я проник в первый раз в штатском платье в палату Фундукли. Стоял вопрос о доверии кабинету Тевфик паши. Я считал, что нужно было выразить ему недоверие. Это был день, когда Тевфик паша вышел представиться парламенту. Я пытался как можно скорее об'яснить депутатам все, что я знал. Некоторые колебались, говоря, что если они выразят недоверие, то парламент распустят; в противном же случае, говорили они, у нас будет немного времени, чтобы сделать что-нибудь полезное. Я же был убежден, что парламент распустят, и распустит его именно новый великий визирь. Но чтобы это сделать, он, конечно, должен был сначала получить доверие парламента, чтобы законно сесть в великий визират. Гораздо выгоднее было выразить недоверие кабинету и выиграть время, ожидая образования нового правительства. Тогда мы могли бы найти возможность привести к власти новый кабинет Иззет паши.

Эти рассуждения шли наспех в салоне и коридорах парламента и дали следующие результаты. Большая группа депутатов собралась в одной из зал, прося моих раз'яснений. Я сообщил свое мнение, описал обстановку, необходимые меры и условия, в которых они находились, и что следовало сделать. Я усиленно рекомендовал им выразить недоверие. Они приняли это предложение и, выразив надежду, что они сумеют это сделать, они последовали в зал.

Я ожидал в одной из лож результатов голосования. Происходило голосование поименное: кабинет Тевфик паши получил доверие и большинство.

Зачем лгать: я был удивлен. Количество депутатов, которые, как казалось, подписывались под моим предложением, не оставляло сомнений, что кабинет мог бы быть в меньшинстве, тем более, что многие из них пользовались влиянием на других. Впрочем, не нужно удивляться, что такой солдат, как я, находившийся всегда далеко от парламента, не знал, что настроения палаты могут быстро меняться.

[1]) Тевфик паша Ахмет родился в 1858 г. Служил в армии, перешел на дипломат. службу. С 1882 г. был послом в Афинах и Берлине, в 1909 г. — мининдел и затем великий визирь. В 1910 г. — снова посол в Лондоне, и великий визирь в 1920—1922 г.г. после ухода Иззет паши. Прим. пер.

Я не хотел ожидать дольше и покинул немедленно парламент. Вернувшись к себе, я протелефонировал во дворец, испрашивая аудиенции у Вахидэддина. Я думал, что было полезно поговорить с ним. Я хотел высказать откровенно, какие меры нужно принять и насколько они срочно необходимы. Я думал убедить повелителя. Наджи паша, узнав о моих намерениях, отправился испрашивать для меня аудиенцию. И я уверен, что он сделал все, что было в его силах, чтобы аудиенция была мне дана в этот или на другой день. Но Вахидэддин, скрывавший с дьявольской хитростью свои намерения, велел мне передать, чтобы я присутствовал на церемонии «селямлика», после которого он меня примет. Оставалось еще довольно много дней до пятницы, но иначе ничего нельзя было сделать.

## 26. Трусость Вахидэддина — признак нечистой совести.

В пятницу я отправился на селямлик. Вахидэддин пригласил меня после молитвы в салон, и мы с ним начали беседу, которую ждавшие в соседнем помещении считали весьма продолжительной. Действительно беседа была весьма длинна, но зато мысли, которыми мы обменивались, были очень короткими. В то время как я пытался привлечь его внимание на вопросы, о которых вы знаете, он очень ловко их обошел и сказал:

— Я уверен, что командующие и офицеры имеют к тебе большую симпатию; можешь ли ты меня уверить, что они не причинят мне никакого вреда?

Я не мог понять смысла этого вопроса и в свою очередь спросил:

— Получили ли вы какие-нибудь сведения о восстании, направленном против вас?

Он закрыл глаза, он ничего не ответил ни положительно, ни отрицательно, но еще раз повторил свой вопрос.

— Я всего несколько дней как в Константинополе, — ответил я, — и я не знаю здешней обстановки. Я не думаю, что могут быть причины, по которым штаб- и обер-офицеры могли бы быть недовольны вами. С своей стороны я могу вас уверить, что вам нечего опасаться.

Он сказал очень удивленный:

— Я не говорю только о сегодняшнем дне; речь идет о настоящем и будущем.

Эта последняя фраза возбудила во мне подозрение: не обозначало ли это, что падишах мог завтра издать такой акт, который бы возмутил всех патриотически настроенных офицеров. Его величество искал возможности меня надуть и воспользоваться мной для собственной безопасности. Но как ему дать понять мои мысли? Не выгоднее ли было мне оставить его в заблуждении? Человек, который был передо мной, производил впечатление принявшего давно свои решения, тогда как мы были связаны с людьми, которые не могли постичь их значения. Мы не имели ни времени, ни возможности принять контр-меры.

Открыв глаза и встав, повелитель закончил разговор следующим:

— Вы — выдающийся генерал, и я уверен, что вы примете меры, чтобы образумить и успокоить ваших товарищей.

Я покинул салон Вахидэддина, глубоко разочарованный, но не мог понять причину этого состояния.

Снаружи, в коридорах, лица, ожидавшие стоя конца беседы, казались усталыми. Но я видел, что все эти люди бросают на меня многозначительные взгляды. Тогда я не понял их причины, но через несколько дней я уже знал, в чем секрет: парламент был разогнан. Потом я уже узнал, что полагали, что Вахидэддин советовался со мной по вопросу о необходимости распустить парламент, что будто бы я его убедил, что армия того же мнения и обещал помощь от имени своего и товарищей.

Я был слишком потрясен, чтобы придавать значение этим сплетням. Решения, которые были приняты вместе с Иззет пашой и некоторыми другими друзьями в доме великого визирата, уже давно были неосуществимы.

В своем доме в Шишлах я размышлял над создавшимся положением. Улицы Константинополя были полны вооруженными солдатами. Синие волны Босфора были покрыты вражескими кораблями, пушки которых были направлены направо и налево. Никто не выходил из дому, как только в случаях крайней надобности. Во избежание обид и оскорблений двигались по улицам, прижимаясь к стенам. Несмотря на это, в сценах притеснений и оскорблений населения не было недостатка. Весь Константинополь и сотни тысяч его обитателей казались умершими. Не слышно было во всем городе иной речи, кроме вражеской, и не видно было других знамен и оружия кроме неприятельских.

Не удивительно ли, что в этой обстановке унижения нашлись люди, которые смогли еще верить в возможность независимости и национального правительства?

# Об обрядах.

**В. Вересаев.**

В январской книжке «Красной Нови» за 1926 год мною была помещена статья «К художественному оформлению быта (об обрядах старых и новых)». Потом она вышла отдельной брошюрой («Об обрядах старых и новых», изд. «Недр»). В статье этой я пытался рассеять тот совершенно непонятный принципиальный страх, который испытывают перед обрядностью люди, преодолевшие религию. Я старался доказать, что существо обряда — не в мистической и не в магической его сторонах. Обряд есть условное действие, символически отражающее наши чувства. Главнейшее значение его в том, что он, с одной стороны, дает людям готовые, художественно закрепленные русла для проявления теснящихся в душе чувств, — с другой же стороны, организует сами эти чувства, направляет, просветляет и углубляет их. Огромное действенное значение обряда великолепно учитывала церковь. Все торжественные моменты в жизни человека она обставляла величественными, потрясающими душу обрядами, посредством этих обрядов вызывала соответственные, нужные ей настроения и таким путем воспитывала души людей в нужном ей направлении. И теперешняя наша безрелигиозная жизнь вся цветет обрядами, потому что в человеке очень сильна потребность художественно оформлять торжественные моменты своей жизни. Но нынешние обряды, — все эти октябрины, красные свадьбы и гражданские похороны,— удручающе-бездарны и убоги. Новая общественность должна учесть огромное психологическое и агитационное значение обряда, перестать смотреть на него, как на пустяк, должна понять, что он отвечает глубокой человеческой потребности.

На статью мою появилось несколько печатных откликов, она послужила предметом обсуждения на ряде диспутов и вызвала целый поток читательских писем ко мне (около пятисот писем). Печатные отзывы, — по крайней мере, те, которые мне довелось прочесть, — совершенно неинтересны и не вызывают никакой охоты отвечать. На диспутах пришлось услышать кое-что интересное, читательские же письма — материал захватывающего интереса, и главная цель этой моей статьи — познакомить читателя с этим материалом.

Первое и главное возражение, какое приходится слышать на диспутах и читать в письмах несогласных со мною читателей, — такое: обряд — это

нечто ветхозаветное, нужное только для человека культурно-отсталого; сознательный человек в нем совершенно не нуждается. Один врач, работающий в Киевской губернии, пишет:

«Вы и сам признаете, что есть люди, которым глубоко чужды и неприятны какие-либо обряды, вы полагаете, что их сравнительно не так много. Мое же глубокое убеждение, что этих людей столько же или почти столько же, сколько вообще есть культурных людей, и что отрицательное отношение к обрядам — это определенный показатель культурности. И утверждение ваше, что потребность в обряде у человека огромна, было бы более правильно, если иметь в виду человека наиболее отсталого, наименее культурного. С общим ростом культур ности и сознательности обряд вытесняется из личной жизни человека... Зачем же укреплять и санкционировать то, что историческим ходом вещей предназначено к изживанию? И почему не форсировать изгнание обрядов из личного быта, если это можно сделать безболезненно?»

Таких возражателей очень много. Все это сплошь — интеллигенты, преимущественно учащаяся молодежь. Письма их полны того рационалистического, писаревски-«разумного» подхода к вопросам, который так характерен был всегда для российской учащейся молодежи. Одна моя ленинградская корреспондентка описывает споры трех девушек-вузовок по поводу моей статьи:

«Они решительно заявили, что никогда не допустят в своей жизни никаких обрядов. Ни церковь, ни запиои не будут их связывать с товарищем жизни. Ведь этими обрядами мы глубоко оскорбим любимого человека и оттолкнем его. А отпраздновать свадьбу мы сумеем вдвоем. Одни спразднуем на-диво, или пригласим друзей, или поедем вдвоем по Волге... О похоронах молодежь не захотела говорить долго: как хотят, так и пусть хоронят; можете сжигать, можете зарывать в землю, только поскорее, чтобы другим покойники не мешали жить!»

Год назад я читал мой доклад в Гаспре, в крымской санатории Цекубу. Молодой ученый, лобастый, с сильно вогнутыми очками на близоруких глазах, возражал:

— Как может сколько-нибудь развитой человек тяготеть к таким глупым условностям, как обряды? Для чего все эти пошлые публичные торжества в таком, например, глубоко интимном деле, как свадьба? Кому какое до этого дело? Мы с женою в этот день читали интересную книгу, потом пошли в Загс, зарегистрировались, — никто из знакомых наших об этом даже не знал.

Я слушал его и не мог в душе не согласиться: да, для подобных людей всякий обряд должен быть только пошлостью и глупостью.

А на следующий день шел я по ялтинскому шоссе, и меня с шумом и грохотом обогнал свадебный поезд. Смуглые красавцы в низких барашковых шапках мчались впереди на конях, потом пронесся экипаж с играющими

музыкантами, а вслед за ним замелькали линейки, усаженные разряженными, смеющимися людьми; ярко пестрели разноцветные ленты, вплетенные в гривы и челки лошадей. Мне смешно стало, когда я представил себе на передней линейке моего лобастого молодого ученого с его сутулою подругою в пенснэ. Конечно, им тут делать было бы нечего! Но для тех, кого я видел, — для них этот сверкающий вихрь топота, музыки и кликов был радостью, от которой они не так бы легко отказались.

Культура, сознательность... Да, если культура и сознательность пойдут в дальнейшем по пути, по которому идет наш российский интеллигент, то обряды, конечно, свянут, как цветы на сухой земле. Но если в будущей культуре хоть капля останется буйной и солнечной крови джигитов, то обряды будут цвесть — и тем больше, чем больше будет у людей солнца на небе, радости на земле и веселой энергии в крови.

Другие из моих оппонентов принципиально не отвергают обрядов, но возражают, во-первых, — против их обязательности и, во-вторых, — против зафиксированности обряда, его трафаретности.

Курьезно, что первое из этих возражений, — против обязательности обряда, — приходится выслушивать от очень многих, как будто я где-нибудь хоть словом говорю об обязательности! Слишком, очевидно, крепки в нас старые воспоминания, — тогда ведь, действительно, обряды были обязательны. Если в паспорте у вас значилось, что вы — православного вероисповедания, то вы должны были венчаться в православной церкви, крестить детей и хоронить близких по православному обряду. Иначе брак ваш считался «незаконным», дети лишались гражданских прав, и на кладбище вам не давали места. Нужно ли говорить, что ничего такого я не предлагаю, что отправление обряда я представляю себе только в тех случаях, когда его хотят.

Потом — «зафиксированность» обряда, его трафаретность. Тут другое дело. Да, это составляет существеннейшую сторону обряда, в этом его сила и заключается. Возражают: необходимо полное уничтожение шаблона, совершенно свободное творчество, оригинальное, каждый раз новое, вольно проявляющееся чувство. Скучно спорить, когда у противника — не живое представление о предмете спора, а только фразы, кажущиеся ему красивыми и убедительными. «Уничтожение шаблона», «вольно проявляющееся чувство», «свободное творчество»... Представьте вы себе все это конкретно. Умер у вас близкий человек. Пожалуйте! Соединитесь с товарищами — и тут же на месте, «вольно проявляя свое чувство», импровизируйте коллективно слова и музыку похоронного гимна! Если вы играете, скажем, на скрипке, — станьте с другими играющими на разных инструментах во главе похоронной процессии и без дирижера, без репетиций — зачинайте новый похоронный марш!..

Единообразие? Трафарет? Во всяком коллективном действии необходимо как раз единообразие. Условное действие есть именно такое действие, которому люди условились придавать один определенный, общий для

сех смысл. Мы хотим выразить наше общее одобрение оратору или артисту — и хлопаем в ладоши. Что было бы, если бы каждый выражал свое одобрение индивидуально,—один бы хлопал, другой бы шаркал ногами, третий бы свистел? Как возможно какое-либо стройное, коллективное действие, если оно уже заранее не намечено всеми участниками в одной строго определенной форме? Революция разрушила большинство прежних обрядов и условных действий, и на каждом шагу ощущается большая потребность в новых «трафаретах». Например. Работал человек какую-нибудь работу. Подходил другой человек, и первые его слова были: «бог в помочь!». Этим он выражал свое уважение к труду, свое товарищеское сочувствование работающему. Теперь этих слов не скажешь. А нового общепринятого слова нет. И всякий поймет, что тут нужно именно общепринятое, трафаретное слово, а не слово, индивидуально творимое каждым в отдельности.

Главное же, — как я указывал в своей статье, — вся сила, все значение обряда именно в его художественной закрепленности, в том, что он дает уже готовое русло для проявления теснящихся в душе чувств, избавляя человека от необходимости искать в минуту сильной эмоции путей для ее проявления. Но это, конечно, вовсе не значит, что форма обряда должна из себя представлять нечто застывшее, раз навсегда данное, не подлежащее изменению. Само собою разумеется, обряд может перерабатываться, эволюционировать, улучшаться.

Еще такое делается возражение. На дискуссии в комячейке одного крупного наркомата один старый коммунист говорил: «Раз обряд будет твердый, закрепленный, с заранее известным и каждый раз повторяющимся содержанием, то он надоест так же скоро, как старые обряды, будет та же серая скука, как от теперешних убогих новых обрядов». Ему возражал совсем юный пионер, мальчик лет пятнадцати: «Если будет художественно и красиво, то не надоест. Я припоминаю свое детство. Дорого было именно то, что мы заранее знали, что на рождество будет елка, на пасху — красные яйца, на троицу — зеленые березки и цветы. И я бы очень хотел, чтобы наши дети имели в прошлом такие светлые, поэтические воспоминания, какие нам дала, например, светлая заутреня».

От себя прибавлю. Совершенно не могу понять, как может скоро надоесть обряд, если он глубоко-художественен? Поверхностные слова, пошлая музыка, — да, это надоест скоро. Но вот в двадцатый или даже в сотый раз мы слышим похоронный марш Бетховена из героической симфонии или траурное шествие с трупом Зигфрида из «Гибели богов» Вагнера. Неужели может найтись кто-нибудь, кто скажет: «Ах, опять этот Бетховен, опять Вагнер! Какая скука!». Я лично с семнадцати лет стал неверующим, никогда с тех пор не испытывал никакой тяги к религии, — а и до сих пор без волнения не могу слушать сотни раз мною переслушанного, гениального «Со святыми покой».

Возражают еще: все такие обряды не могут быть предметом единоличного творчества, они творятся постепенно, органически, самою массой. Православная панихида единолично создана Иоанном Дамаскиным. И если

новый Моцарт напишет созвучный нашей эпохе реквием, то как он сможет не привиться, хотя и будет продуктом единоличного творчества?

Некоторых очень рассмешило мое предложение ввести в свадебный и крестинный обряды гигиенические и евгенические советы. Какое принижение и опошление обряда!.. С такими «презирателями тела» мне разговаривать не о чем. Да, нужно понимание всего значения нашего тела, всей глубокой нашей ответственности перед производимыми нами детьми. Гальтон, знаменитый основатель евгеники, считал необходимым, чтобы евгенические идеалы проникли в сердце человечества и сделались его **религией**, социальным его идеалом. Он говорит: «Евгеника должна проникнуть в национальную совесть, подобно новой религии».

---

Как я говорил, мною было получено около пятисот писем. Все они резко делятся на две категории. Интеллигенты, — советские служащие, ответственные партийцы, преобладающая часть вузовцев, — решительно высказываются против всякой обрядности, и при этом нередко обрушиваются на меня весьма свирепо: я, дескать, до сих пор считал вас, тов. Вересаев, писателем передовым, а вы вот какой! Хотите под новым видом восстановить старый поповский дурман; душа ваша возжелала покоя, мещанского уюта, герани и канареек на окнах и т. п. Другая часть писем — от народных учителей, библиотекарей, рабочих и крестьян. Эти почти сплошь приветствуют мое выступление, и поднятый вопрос считают очень важным и жизненным. Очень скоро глаз у меня наметался, и я уже по первым строкам письма и общему его виду безошибочно мог определить, против ли меня высказывается автор письма, или за. Письмо длинное, на нескольких листах, написано хорошим почерком, «символизация», «конкретизация», «психофизиологический»... Ну, значит против; много умных рассуждений, много ссылок на хороших писателей — и полное отсутствие фактов. Письмо короткое, на серой бумаге, писано каракулями, в первых строках—извинение за орфографию,— ну, значит за; мало рассуждений, всего один-два факта, — но они стоят целой диссертации на тему о символизации и конкретизации.

Существо возражений против моей точки зрения приведено уже мною в первой половине этой статьи. Здесь я познакомлю читателя с письмами, разделяющими мои взгляды.

Один народный учитель Нежинского округа пишет:

«Прежде всего стремлюсь приветствовать появление в печати того, о чем мы, учителя, руководители сельской общественности, давно уже поговариваем, и что так необходимо нам для укрепления нового быта. Как-то случайно совпали два момента: в тот день, когда происходила в нашем селе «красная свадьба», мне пришлось прочесть в журнале ваш доклад. Ваша апология необходимости ритуалов находит самое убедительное подтверждение в действительности. Это была поистине «вялая и небрежная попытка замены старого». Пассивность действующих особо усугубляла убожество ритуала. Участвовал КСМ в 90 процентов, и почти все после заявляли: «Як би знав, той не пишов би — тильки час занапастив». Содержание обряда «красной

свадьбы» включало в себе следующие элементы: 2—3 музыканта, игры, приветствия, но скомбинировать все это не удалось, что не удовлетворило стариков, и последние ушли вместе с брачущимися к себе домой, можно полагать, — с целью дополнить, конечно в более интимной обстановке, все то, что в более категорических формах определяет символику перехода молодых в новую фазу жизни. Попытки создать новый обряд проваливаются, а это дает серьезный толчок к необходимости сотворить и упрочить новый обряд. Что масса требует ритуала, — это нам, людям, близко стоящим к ней, доказывать не надо».

Из «глухих краев далекого Урала», с одного из пермских металлургических заводов пишет, — повидимому, библиотекарша:

«Расскажу, какое впечатление произвела ваша статья на окружающих и на меня. Комсомольцы сказали так: «Нам нравятся те обряды, которые есть сейчас». Рабочие призадумались, а потом ответили: «Старые обряды нам не глянутся (?), а новые и подавно не приглянутся (т.-е. которые существуют сейчас). А то, что нам нужно что-то другое, так это даже необходимо». Обыватели же города стремятся в церковь, и другого не желают. Я, человек близко стоящий к жизни масс, скажу, что если действительно у нас крестины, венчание и похороны будут заключаться не в еде и речах, а в красивом, сильном, величественном стиле, одухотворяющем человека, которое бы так захватило его, чтобы не только кто признает Загс, а даже те, неуспевшие отлепиться от церкви, забыли бы ее и придвинулись к общему настроению. Это был бы большой плюс в антирелигиозной пропаганде».

Еще более ярко последнюю мысль выражает один мой иваново-вознесенский корреспондент: «Красотою новой обрядности надо создать тягу к ней даже у тех, кто верен старине».

Крестьянин из Ветлужско-Керженецкого края, студент геофака пишет из Ленинграда:

«Статья ваша меня сильно обожгла и обрадовала, над этой темой я по-простому, по-деревенски страдал. Если мы до сих пор наблюдаем слабый переход деревни к новому быту, если деревня в целом продолжает жить по-старому, то это, безусловно, потому, что нет для деревни ничего привлекательного в нашем «новом» быте. Добровольно ни один крестьянин не бросит пышный обряд, например, свадьбы и не станет совершать брак наподобие:

Ноне легкая женитьба
Со советским листом.
Называли это ракс —
Под ракитовым кустом.

«Работник библиотеки» в Оренбурге, партиец, пишет:

«На все сто процентов согласен с вами. Да это иначе и быть не может. Ведь если отбросить все эти обрядности, то жизнь будет скучна, а человек обратится в пустую коробочку. Имею я родственников, товарищей, работающих по делу народного образования, да и сам из деревни только два года. Вот что сказал мне не очень давно один из них: «Знаешь, Степа, хорошо вести политико-просветительную работу на селе, а вот с антирели-

гиозной пропагандой хорошо и плохо: хорошо — что можно легко доказать на данных науки нелепость религии и ее обрядностей, а плохо потому, что сделаешь человека неверующим, отнимешь у него, вместе с религией, все обрядности, а дать ему взамен нечего. Прямо нечего. Поэтому я особенно не веду антирелигиозной пропаганды». Так говорил мне передовой, хорошо грамотный крестьянин из сектантского поселка евангельских христиан. А у них весьма не импозантные обряды! И таких примеров можно привести тысячи. И я не мог ему возразить, а я коммунист. Жизнь этой массы крестьян деревни, а также трудового народа городов тяжела, ее нужно чем-нибудь скрашивать. Не будь обрядностей, которые частью создаются вновь, частью хранятся по наследству от религий, — жизнь этой массы станет еще мрачней и безотрадней... Теперь, когда мне райком или ячейка дают наряд итти делать доклад о новом быте, я всегда подчеркиваю, что быт и обрядности — это не «пустяк», что мы должны сделать наши «обрядности» и наш быт более торжественным, чем обрядности религиозные и гражданские времен капитализма. Если мы этого не сделаем, то не царство социализма и торжество человека будет в будущем, а царство скуки, царство автоматов. Каждую бытовую «мелочь» прошлого мы должны заменить «крупной» величиной настоящего и будущего пролетариата (его быта)».

Газетный работник из Ростова-на-Дону пишет:

«Читал вашу статью в «Красной Нови» об обрядах. Конечно, с очень многим, особенно в части выводов, согласиться пока мне трудно. Может быть, это от недостаточно глубокого продумывания вопроса, — на это, к сожалению, времени нет. Но, признаюсь, некоторое охлаждение пылкого лозунга: «долой и никаких таких!» по отношению к обрядам ваша статья должна за собой влечь. В ней очень убедительно выглядят примеры. Работая в редакции юношеской газеты, я сталкиваюсь с обилием материала, так или иначе относящегося к вопросу об обрядах. Материал этот прет, и почти исключительно из деревни. Показателен такой факт: маленькая газетная заметка о секретаре комсомольской ячейки, отказавшем в устройстве октябрин, вызвала массу откликов от юнкоров».

И корреспондент мой прилагает вырезку из ростовской-на-Дону газеты «Большевистская Смена» (2 марта 1926 г.). В ней ряд отзывов молодежи на отказ секретаря комячейки устроить октябрины. Случай, вызвавший отзывы, таков:

«Приходит к нам в ячейку, — рассказывает секретарь ячейки, — женщина и заявляет: «У меня, мол, ребенок, которого я не хочу крестить в церкви, а вы, комсомольцы, сделайте что-нибудь другое». Я пошел к секретарю ячейки ВКП (б) и в райком РКЛСМ поговорить насчет октябрин, но получил ответ: «Никаких октябрин не устраивать, пусть в Загсе зарегиструрует, и баста». Конечно, так со старыми традициями бороться нельзя, необходимо их заменить новыми, и тогда можно будет говорить, что новый быт продвигается и в деревню. Но какие новые традиции заводить вместо старых обрядов? Этот вопрос стоит где-то далеко от деревни и требует скорейшего разрешения».

Это вот сообщение вызвало ряд откликов, — и поразительны они тем единодушием, над которым, право, не мешало бы задуматься людям, оторванным от жизни и занятым только вытягиванием из своего мозга умственной паутины.

Один пишет: «Мы знаем, как медленно проходит в жизнь новый быт, и как мало население выполняет новые обряды. Нужно обставить их так, чтоб они были привлекательными, показательными, и тогда масса станет больше их применять. Один товарищ говорил: «я бы тоже сделал новую свадьбу, да она как-то непоказательно проходит, и по привычке выполняешь все старое». А этот товарищ в бога не верит».

Другой пишет: «Для того, чтобы успешнее бороться со старым бытом, необходимо ввести новый, более жизненный. Одной регистрацией в Загсе со старым бытом бороться нельзя, но мне кажется, что одно из основных, это — нужно поставить регистрацию в Загсе более торжественно, чтобы дать почувствовать хотя бы вступающим в брак, что регистрация не просто механическая работа (как это у нас есть в действительности), а заключение жизненного союза. Да, введение нового обряда необходимо, за это высказываются многие крестьяне, которые на заданные им вопросы: «почему вы идете в церковь венчаться или несете ребенка крестить?» откровенно отвечают: «Как-то ничем не отметить это событие мы не привыкли, а нового чего-то, чтобы отставить старое, ничего нет».

И всё в таком роде.

Из Калуги мне пишет один комсомолец: «Действительно верно, что обрядность нужна и до зарезу необходима. Ну, что хорошего, когда комсомолец, активный парень из моей же ячейки, женится на комсомолке, просто расписываясь в Загсе! Все это как-то бесследно, незаметно и уж чересчур бледно. И ты знаешь, что это так и нужно комсомольцу, что такая система выхода в «половую жизнь» мне и всем другим положена по «штату», так сказать. Чувствуешь, что чего-то недостает, нехватает, вот не берет тебя за душу. Мне привелось один раз присутствовать вот на этом самом «бракосочетании». Ну, и что ж я получил, или был ли я этим доволен? Нет! Эта уж обычная, даже по-моему нудная процедура мне надоела, прямо-таки приелась. Хочется чего-то получше, покрасивей и приятней. Все это проходит страшно буднично, очень просто и до невозможности шаблонизированно. Много казенщины, сухости и до-нельзя уже надоевших речей и пожеланий. Во всем этом отсутствует вот именно та «художественность», про которую я читал в вашем докладе. Нет «переживаний», никакой исторической особенности во всем этом нашем обычае. А он нужен. — Мы вот у себя недавно хоронили комсомолку. И что ж вы думаете, как мы эту процессию-то организовали? Собралась организация, пришли ребята комсомольцы, все, так сказать, заинтересованные организации, чтобы сказать «речи над гробом умершей». Когда шли по улице, то чувствовалось что-то унылое, скорбящее, что ли. Музыка прямо вот в самую душу залезала, и я переживал, жалея, что ушел твой хороший товарищ по комсомолу. Во время происходившей смены несущих гроб, каждый старался хоть несколько,

да нести гроб умершей. Процессия что-то оставила во мне. Но уж вот когда начали на кладбище речи произносить, то вот здесь-то уж хоть бросай все и обратно при домой. Не этого хотелось мне видеть. И не громкие речи, нарушавшие мои размышления о ней, мне хотелось в это время слышать. Никаких вот этих самых «эмоций», что ли, я и не переживал. Хотелось другого. Что же касается обрядности вообще, в каких бы она формах в нашем быту ни проявлялась, — она нужна. Без наших новых обрядов нам не обойтись».

Письмо из одного большого южного города:

«Прочитал вашу статью об обрядах старых и новых (извините за орфографию), где вы в конце обращаетесь написать по этому вопросу. Но два слова о себе. Я рабочий, сапожник. Теперь волею судеб милиционер, благодаря посту в помещении имею много свободного времени и читаю много. Прочитав вашу статью, я, вращаясь, так сказать, в массе низов, скажу следующее: вы правы, что надо художественно оформить бытовые явления, как рождение, брак и смерть. А в этой области у нас почти ничего нет. Один суррогат. И очень скверный. Да и его нет. Например, случай: у нас в милиции в 1925 г. ячейкой об'явлены октябрины. Собрались в маленьком клубе, спрашиваю: не первые октябрины? Нет, говорят, здесь во всех союзах было уж несколько, и вот вышел товарищ с речью. Начал чуть ли не с Адама, жевал-жевал, насилу кончил, родители с ребенком стоят, ну, знаете, не знаю как все, но мне было прямо стыдно за родителей ребенка. Потом, помешкав, вышел комсомолец, взял в руки ребенка, давая обещание воспитать его в коммунистическом духе. Потом отдал обратно матери, а сам ушел за кулисы. Родители стоят, ребенок на руках, ждут еще чего-то — вы понимаете, — но речи кончены, у президиума вопрос к публике: «больше высказаться нет?» Молчание. Ну, говорят, товарищ, все, можете итти... Я не знаю, но мне было очень неловко, нехорошо, наверно, чувствовали себя и ораторы, и родители. Уж лучше бы они к попу отнесли, или ничего не делали и не выносили на посмешище ребенка и себя. Но они не виноваты: в бога не верят, а обряд-то хочется сделать, поделиться радостью, а для этого у нас и абсолютно ничего нет. А из октябрин получается смешное горькое положение. Говорят, что некоторые товарищи после таких октябрин тут же идут в церковь и крестят. И они правы, они ищут, чем заполнить обрядную пустоту, которую пока не заполняют нисколько.

«Еще случай. Старый партиец, мой дядя. Умер у него отец. Покойник был верующий, и вот надо хоронить. Мать говорит, что надо хоронить по-христиански, и что же? Мой дядя дает своей жене денег, она покупает гроб, приглашает монашек, хор, попов. Дело было в квартире, где дядя не жил, а жили старики и мы, и вот утром перед выносом, — да еще в первый день смерти дядя приезжал, поплакал, но перед выносом, когда хор монашек и певчих запели «Со святыми упокой», дядя часа два разливался — плакал. (На могилу не пошел). И я думаю, что это тоже действовал сильно обряд,— обряд, с которым конкурировать трудно.

«Еще случай. Работая в сапожной мастерской, у рабочего умерла жена. Надо хоронить, рабочий неверующий, берет катафалк, союз дает плохенький

оркестр, играет с промежутками похоронный марш, донесли до могилы, музыканты бегом домой, молчание, гроб в могилу, ни к чему совсем речь. Чувство такое, что что-то не солено, чего-то большего нехватает. Это же чувствовал и рабочий вдовец и пошел с могилы с сухими глазами. Потом пошел, выпил бутылку сорокаградусной и ревел целый час.

«Я теперь в раздумьи. Я неверующий, я бы должен агитировать каждому верующему рабочему, крестьянину, но вот вопрос? Не за обрядность ли держится крестьянин или вообще верующий? Может быть, он верит меньше меня, но обрядность в его быту, да и у всех почти в быту, самое важное в его редких случаях жизни. И вот и к попу не итти и замены нет ничего, а надо. Вот тут образовывается пустое место: ни сахару, ни сахарину. А поэтому, отбрасывая панихиду, надо кое-что внести получше ее, и вы тысячу раз правы, что надо художественно оформить редкие печальные или радостные дни в нашей жизни, иначе мы от церкви долго никого не оторвем. Иначе, уничтожая старое, надо создать лучшее новое.

«Да еще, а сколько партийцев не {крестили / венчались / хоронили} в церкви из боязни исключения?

«А сколько партийцев все это сделали, но не раскрылось? А сколько раскрылось? А почему? Потому что нет в этой области у нас почти ничего не от религии.

«С почтением к вам один из тысяч ваших читателей. К.».

Не довольно ли выписок? Может быть, и довольно. Но все-таки мне хотелось бы привести еще несколько писем, — так прет из них подлинная живая жизнь, таким раздражающе-тупым и педантическим представляется после них отвлеченное резонирование разных умников об обрядности.

«Я женился полтора года тому назад, — пишет мне из города Богородска, Московской губернии, один из читателей, — я сам человек очень скромный, как и вы терпеть не могу разных шумных празднеств, официальных торжеств, но все же обстановка в Загсе уездного городка при брачной записи на меня подействовала угнетающе. Как никак, чувствовал, что в жизни совершается что-то большое, непоправимое, что может в корне изменить жизнь, и хотелось хотя бы минимума торжественности. Скажут, надоело все это советским чиновникам. Но ведь и попам все это надоело, но умеют они держать себя. Пришли мы с будущей моей женой в Загс. Маленькая, заплеванная комнатушка, что-то вроде прихожей, ободранный столик с двумя девицами, ни стула, ни дивана. Не посмотрев на нас, одна из них долго что-то писала, потом предложила расписаться. Заведующий Загсом даже не вышел (стоит ли выходить ради таких пустяков?), и девица сама сходила в его кабинет. Мы люди взрослые, сознательные, ничего нам было не нужно, но все же хотелось, чтоб кто-то в этот решительный момент хотя бы сказал слово поздравления, протянул бы руку. Хотелось, чтоб хоть немного кто-то отметил этот делаемый нами шаг, но девица сухо сунула нам в руку бумажку и на мой вопрос «всё?» — сухо сказала — «всё» и начала писать что-то другое. И на лице моей новой подруги улыбка (я заметил, но не показал виду) начала сменяться удивлением и потом каким-то невы-

сказанным испугом или таким чувством, когда человека несправедливо, гру[illegible] оскорбляют».

Красноармеец-артиллерист пишет с Кавказа:

«Недавно застрелился мой друг. Перед нами, его сослуживцами, вст[illegible] вопрос: «Как мы его похороним?». А надо сказать, что, по воинским устав[illegible] современной Красной армии, самоубийц хоронят без всяких воинских п[illegible] честей. Просто на подводу и на кладбище. В конце концов решили мы о[illegible] везть тело его на лафете и самим пойти молча за ним. Оркестра нам не да[illegible] Когда мы всё приготовили и тронулись, к нам присоединилась одна женщин[illegible] просто слегка знакомая. Видя такие «бедные» серые похороны, она пош[illegible] за гробом и стала причитать. И странно, хотя то, что она выговарива[illegible] были самые обыденные слова, которые приходится слышать на обычных дер[illegible] венских похоронах, казалось все-таки, что наши скромные похороны за[illegible] полнились, сразу получили смысл. Эти причитания заменили нам и музык[illegible] и неизбежные (на других похоронах) речи. Мы все вдруг почувствовали, ч[illegible] не просто отвозим то, что нужно закопать, а провожаем товарища, которо[illegible] больше в своей семье не увидим».

Рабочий одного подмосковного электролитического завода пишет:

«С огромным вниманием прочел ваш доклад «О художественном оф[illegible] млении быта». Он дал мне понять, почему так глубоки корни религиозн[illegible] обрядностей и в нашей рабочей массе. У нас на заводе были похороны бе[illegible] партийного рабочего. Жена его, активная делегатка, совершенно нерели[illegible] озная, узнав о том, что похоронить мы с музыкой не можем ее мужа, на[illegible] стойчиво потребовала похорон мужа с попом, об'ясняя это, что с поп[illegible] торжественнее и заметнее. И только предложение наше похоронить пр[illegible] звуках заводского гудка заставило ее пойти на соглашение. И только, ка[illegible] загудел заводский гудок—мы, безразлично относившиеся к смерти рабоче[illegible] почувствовали грусть, вспомнили, что этот рабочий не раз шел по призыв[illegible] гудка, строил наше общее дело, переживал с нами хорошее и плохое. И это[illegible] гудок дал искренние задушевные слова говорящему над могилой. Вот ка[illegible] создал чувство простой гудок. И велика сила обрядностей. И нам нужн[illegible] найти новые обрядности. Это вылилось как сильное впечатление от вашег[illegible] доклада».

Тульский один журналист-партиец пишет:

«Все мы — еще весьма юные коллективисты. Комсомол же, а тем нач[illegible] пионерия — коллективисты более зрелые, чем мы, старики. И что-либо по[illegible] добное (по форме) торжественно-мощной и вместе — простой панихиде Гет[illegible] из «Вильгельма Мейстера» скорее всего и в первую голову выполнят имен[illegible] они, пионерия и комсомол и вообще учащиеся (только не вузисты, мног[illegible] из них больны).

«И правда, разве не чудное зрелище дети и юноши, поющие о смерт[illegible] как о смене на дежурстве великом и радостном? Поющие над гробом, забра[illegible] сываемым землей, о кирпичах, что положил умерший в строенное им и ег[illegible] пережившее здание? Уходящие с песнями, что зовут к радостной борьб[illegible] и жизни?

«Или малыши, встречающие не скучным до зелени — «мы принимаем, дескать, тебя в свои ряды и вот тебе галстух», — а песнями, зеленью и летом — цветами, с песней звонкой в свой хоровод принимающие новорожденного ребенка? Старики разве не подтянут малышам, сначала отворотясь к окну, а потом и прямо смотря на ребят играющих? Не одарит их пряником, леденцами новорожденного отец?

«Гряди, голубица» — заплеванная, опошленная песня. Не по времени товар. Так разве мы не можем создать новых радостных песен, глубоко-воспитательных, как вы заметили, укрепляющих бурную радость?

«Право же, теперь репортер или рабкор может не заходить в клуб на октябрины (они же — звездины, они же — красные крестины), а, брякнув по телефону или устно осведомясь об именах брачущихся, тем же вечером смело может сдавать в набор заметку о речи, сказанной профпредставителем, о поднесенном новорожденному красном галстухе и о «взволнованной» матери.

«...ВКП (б) поведет по ленинскому пути...

«Потом мать новорожденного, в памяти которой застрял из всех октябрин лишь кусок подаренного кумачу, пьет чай и сообщает мужу о семейной потасовке соседей... Зелень!! Тараканы в щелях дохнут! Брак и прием новорожденного — богатые и сочные темы для обрядов».

# Павел I.

(Окончание).

**Георгий Чулков.**

## VI.

Павел внимательно следил за тем, что происходило во Франции. Когда в 1789 году он узнал о разрушении Бастилии, о декларации прав человека и гражданина, о походе черни на Версаль, его разум отказывался верить в реальность этих событий. Не дурной ли это сон? Еще так недавно он сидел в Версале за интимным ужином с Людовиком и с его женою, которую буйные парижане называют теперь подлой австриячкой. Павел живо представил себе этого застенчивого и, как ему казалось, добродушного человека, с большим носом, полными губами и короткой шеей, о котором ораторы говорили теперь, как о тиране. И эта Мария-Антуанета! Он вспомнил почему-то, как она произносила французские фразы с едва заметным немецким акцентом... И эта женщина, оказывается, предмет ненависти всей нации. В чем дело? Правда, в воображении Павла предстала тотчас же толпа голодных оборванцев, которую он видел однажды около Пале-Рояля и которая показалась ему дикой и страшной, но эти санкюлоты, вероятно, сами виноваты в своей нищете. Добрая половина их — порочные пьяницы. Во всяком случае не лилии Бурбонов повинны в нищете народа. Впрочем, Павел не мог уже рассуждать последовательно и здраво. Ему казалось, что дело вовсе не в банкротстве страны, не в нищете, не в привилегиях, а в чем-то ином. Восстали темные дьявольские силы, которые посягают на священное право монархов. Об этих таинственных прерогативах верховной власти было обстоятельно и убедительно написано в масонских книгах, которые он получал от Плещеева, Панина, прусского принца Генриха, шведского короля Густава III и прочих магистров и мастеров братства. Но теперь до Павла дошли странные вести, которые сводили его с ума. Ему стало известно, что будто бы страшные якобинские клубы инспирированы были масонами. В чем смысл и тайна этих безобразных противоречий? Не стал ли он сам и его коронованные друзья жертвою адской интриги? Может быть, масоны руководятся теми же правилами, что и последователи св. Игнатия Лойолы, которые не брезгуют всякими средствами для своей единой цели? Масоны внушили Павлу, что христианская церковь отстала от просвещенного века,

что религиозные истины хранятся в тайном учении, которое мудро согласуется с духом времени, что он, Павел, как будущий самодержец, выше епископов и соборов. Эта идея нравилась Павлу. Но вот, однако, всемогущие масоны не могут или не хотят спасти короля Франции. Значит, им все равно — монархия или якобинская власть, только бы изничтожить страшную соперницу — церковь. Надо или убить ее вовсе, как хотят якобинцы, или поставить над нею иную самодержавную императорскую власть и лишить ее свободы. Так бредил Павел.

Совсем по иному рассуждала Екатерина. Эта поклонница энциклопедистов, эта холодная разумница вовсе не склонялась к романтическим бредням, не интересовалась таинственным смыслом событий. Ей не приходило в голову отрицать революцию по существу. В самом деле, не сама ли императрица весьма трезво и точно толковала о правах человека? Какие там высокие санкции, когда не только земные, но и небесные святыни пора сдать в архив! Такой способ рассуждать никак не мог понудить Екатерину противопоставлять что-либо принципиальное революционным идеям. Зато у нее явились в душе серьезные аргументы против революции в плане практическом. Ей решительно не пришлась по вкусу якобинская тактика. Она вдруг сообразила, что идеи идеями, но — как она любила выражаться — «своя сорочка ближе к телу». Одним словом, если Бурбонам надо пасть, пусть падут, а ей, русской царице, есть еще соблазн поцарствовать. У нее возражения были тактические. Революция, мол, уместна при известном уровне цивилизации, при условии, если абсолютизм оказался непросвещенным и упрямым, но в России все наоборот: правительство весьма просвещенное, а народ еще не успел прочесть энциклопедистов и не заинтересовался Руссо. Надо сначала его обучить по-французски, но — к сожалению — для этого нехватает парижан и денег. И она раздавала тысячи и десятки тысяч этих неучей своим любовникам. «Пугачеву я дала хороший урок, — думала она: — он из могилы не встанет. Авось в мое царствование второй не явится».

Однажды, когда Павел в ее присутствии, читая французские депеши, воскликнул в негодовании: «Я бы давно все прекратил пушками!» — Екатерина спокойно заметила: — «Vous êtes une bête feroce, или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями?».

Это было сказано, повидимому, с совершенной искренностью и полною убежденностью.

Она была убеждена, как Робеспьер, что истина вся целиком открыта примерно к средине XVIII века. Они разошлись только в практическом применении этой истины. Прозрачный и простой ум Екатерины естественно отвращался от всего туманного, неопределенного и загадочного. Ей не хотелось вникнуть в глубокомыслие мартинистов, и она не старалась понять их целей, быть может, не таких уже далеких от целей якобинцев, несмотря на различие их тогдашнего пути. Ей нужны были ясные формулы, вразумительные для всех. Влечение Павла к масонству уже само по себе могло

внушить ей враждебные чувства. Она не догадывалась, что ее любимец, ее внук Александр, которого она прочила в наследники престола, значительную часть своей жизни посвятит впоследствии тому самому учению, которое очаровало Павла и которое Екатерина высмеивала в своих комедиях. Этот юноша, красивый, способный, а, главное, умеющий пленять сердца, с отроческих лет, однако, вынужденный делить свои чувства между двором Екатерины и «Гатчинским семейством», этот обольстительный юноша был, как точно о нем сказал Пушкин, — «в лице и в жизни арлекин». Екатерина не заметила в характере Александра этой двусмысленности, а иногда и странного коварства, ему свойственного.

В 1793 году, когда женили Александра, Екатерина на тайном заседании ближайших к престолу вельмож решительно поставила вопрос об устранении Павла от короны. В Совете нашлись упрямцы, которые помешали единогласному решению этой нелегкой задачи. Пришлось отложить это дело. Но императрица нисколько не поколебалась в своем мнении. Этому предшествовал в 1792 году арест Новикова и его товарищей масонов. Екатерина узнала о сношениях друзей Новикова с Павлом, которые начались еще в 1787 году. Она знала, что знаменитый зодчий Баженов, по поручению московских мартинистов, имел свидания с Павлом и снабжал его книгами и документами. Если бы не эта связь с Павлом, может быть, Новикову не пришлось бы сидеть в том самом каземате Шлиссельбургской крепости, где был убит Иоанн Антонович. В указе от 1 августа 1792 года по поводу связи Новикова с Павлом сказано было: «Они (розенкрейцеры) употребляли разные способы, хотя вотще, к уловлению в свою секту известной по их бумагам особы; в сем уловлении так, как и в помянутой переписке, Новиков сам признал себя преступником». Насколько Павел был «уловлен» Новиковым, мы не знаем. Мы не знаем также, когда именно Павел был «посвящен», однако едва ли можно сомневаться в том, что он был посвящен. В Шведском королевском замке, в галлерее коронованных масонов, имеется, между прочим, портрет Павла, украшенный эмблемами розенкрейцеров.

Для устранения Павла от престола необходимо было согласие на это Александра, и Екатерина старалась обеспечить это согласие, но уклончивый молодой человек вел себя так загадочно, что императрица не вполне была уверена в успехе своего предприятия. Она обращалась даже с этою целью к Лагарпу, но добродетельный швейцарец не пожелал быть орудием императрицы. В начале 1795 года он получил отставку. Уезжая, он добился свидания с Павлом, который считал его якобинцем. Лагарп постарался внушить ему доверие к сыну. Между Павлом и Александром неожиданно для Екатерины установились некоторые сочувственные отношения. Этот «ангел» оказался довольно ревностным служакою Гатчинской кордегардии. Можно даже говорить, что Александр был не двулик, а многолик: он был в молодости и якобинцем, и гатчинским экзерцирмейстером, и сантиментальным мечтателем, и хитрым дипломатом...

Павел чувствовал, что кольцо враждебных ему сил становится все уже и уже. Людей к нему доброжелательных или удаляют, или сажают в крепость, или стараются восстановить против него. Милый мальчик Александр как будто чувствует в нем отца, но что-то непонятное и жуткое в глазах этого юноши. Ложе шестнадцатилетней императрицы делит теперь Зубов. Этот негодяй, не обладая способностями Потемкина, распоряжается государством, как своим хозяйством. Екатерина вовсе не скрывает своего намерения лишить Павла его права на престол. Она даже предложила Марии Федоровне убедить мужа в необходимости отречься от власти и требовала, чтобы она подписала документ об отстранении Павла от короны. Растерявшаяся великая княгиня не посмела даже открыть Павлу страшного в ее глазах умысла. Но после смерти царицы Павел нашел этот документ в бумагах матери и заподозрил свою жену в предательстве.

Павел жил, как затравленный зверь, всегда готовый к гибели, но все еще не утративший надежды на власть. Чем менее было оснований для этой надежды, тем мучительнее жаждал он этого ускользающего от него самодержавия.

## VII.

В ночь с 4 на 5 ноября 1796 года Павлу неоднократно снился сон, который тревожил его суеверное сердце. Ему снилось, что некая незримая и сверх'естественная сила возносит его кверху, и он каждый раз просыпался в смятении. Заметив, что Мария Федоровна не спит, он рассказал ей свой сон, и она в свою очередь призналась, что и ей снится тот же самый сон несколько раз.

Перед обедом Павел рассказал за столом Плещееву и другим об этом сне, который казался ему многозначительным. Все молчали, зная странности Павла и причуды его воображения. В три часа прискакал в Гатчину граф Зубов. Он явился к Павлу бледный, испуганный и подобострастный. С Екатериной случился апоплексический удар. Предусмотрительный граф Н. И. Салтыков послал еще раньше к Павлу офицера с известием об ударе, постигшем царицу. Но Зубов опередил его. В четыре часа цесаревич уже поскакал в Петербург, в Зимний дворец. Здесь всем руководил Салтыков, никого не допуская к умирающей императрице, которая, впрочем, лишившись языка, едва ли могла бы сделать какие-нибудь неожиданные распоряжения.

В Петербург Павел прибыл вечером. По дороге он встречал длинную вереницу курьеров, которые мчались к нему в Гатчину: все спешили известить Павла о новой его судьбе.

В Софии он встретил Ф. В. Ростопчина и обрадовался ему. Около Чесменского дворца Павел вышел из кареты. Там, в Гатчине, когда ему сообщили о неожиданном приезде графа Зубова, он был в ужасе, предполагая, что тот приехал его арестовать. До Павла в это время дошли слухи о намерении Екатерины заточить его в замке Лоде. И теперь, когда выяснилось,

что Екатерина умирает, он боялся поверить этой вести, от которой зависела вся его жизнь. Была тихая, слегка морозная лунная ночь. Павел смотрел на летучие облака, которые то закрывали луну, то снова, летя куда-то, оставляли ее без покрова, нагую и таинственную.

Ростопчин увидел, что Павел плачет. Нелепый курносый нос и безумные глаза были устремлены на луну. Этот сорокадвухлетний человек вдруг почувствовал, что он жалок и ничтожен, что это лунное небо, снежный саван земли и безмолвие — все исполнено тайной мудрости, и ему, Павлу, не разгадать этой тайны никогда. Ростопчин схватил Павла за руку, забыв этикет, и пробормотал: «Государь, как важен для вас этот час!» — Павел очнулся. Он вошел в роль цесаревича, готового принять власть, и сказал что-то подходящее к случаю и торжественное. Потом они сели в кареты и поскакали дальше.

В Зимнем дворце Павла встретили сыновья, Александр и Константин. Они были в гатчинских мундирах, и это было приятно Павлу. Он тотчас же прошел в спальню к императрице. Грузная, распухшая, она лежала недвижно с помутившимися глазами. Редкие хрипы вырывались из груди старухи. Императрицу долго не могли перенести на постель, потому что не хотели пускать в спальню посторонних, а камеристки не в силах были поднять с полу это жирное тяжелое тело.

Павел расположился в угольном кабинете рядом со спальной императрицы, и являвшиеся к нему должны были проходить через спальню, где лежала умирающая.

Одним из первых явился Аракчеев. Он был весь забрызган грязью, и Александр повел его к себе, дал ему свою рубашку, которую этот раб свято хранил до конца своих дней. В приемных Зимнего дворца толпились гатчинцы. Изнеженные вельможи, избалованные гвардейцы шопотом перебрасывались французскими фразами, делясь впечатлениями от этих незнакомцев, которые в своих прусских мундирах, стуча огромными сапогами, расхаживали по залам, как завоеватели.

На рассвете 6 ноября Павел вошел в спальню Екатерины и спросил дежурных медиков, есть ли надежда на выздоровление. Надежды не было. Самодержавная царица умирала. Ростопчин привел к Павлу графа Безбородко, который знал тайну престолонаследия. Существует рассказ, будто хитрый граф, разбирая с Павлом бумаги Екатерины, молча указал на пакет, перевязанный лентою. Через минуту пакет пылал в горящем камине. Павел стал императором. Безбородко вскоре был осыпан милостями чрезвычайно щедрыми.

Когда Павел сжигал в камине документ об отстранении его от престола, императрица еще дышала. В камерфурьерском журнале сказано, что страдания ее величества продолжались непрерывно—«воздыхание утробы, хрипение, по временам извержение из гортани темной мокроты»... Наконец, из ее горла вырвался последний вопль, и она умерла. По словам Ростопчина, все тотчас же бросились «разыгрывать безумную лотерею безумного счастья».

Крестьяне, вопреки мнению некоторых историков, отнеслись к смерти Екатерины с полным равнодушием, и немудрено, ибо в ее эпоху крестьянская жизнь характеризуется лучше всего пословицей: «Босоты да наготы изнавешены шесты, а холоду, да голоду амбары стоят». В ее царствование, как известно, крепостное право достигло пределов своего развития.

Но знать и дворяне, избалованные императрицей, искренно оплакивали покойницу. Им казалось чудовищным, что Павел, не щадя ее памяти, повелел извлечь из могилы останки Петра III и перенести их из Александро-Невского монастыря в соборную Петропавловскую церковь. Из ветхого гроба было вынуто тело некогда бесславно умерщвленного царя и положено в новый богатый гроб. Павел лобызал истлевшие кости своего родителя и приказал сделать то же своим детям. 25 ноября император короновал мертвеца. Он сам вошел в царские врата, взял с престола корону и, сначала возложив ее на себя, потом увенчал ею костяк Петра III. Вся гвардия стояла шпалерами, когда 2 декабря везли гроб из Невского монастыря в Зимний дворец, и Павел, тонко и страшно издеваясь, повелел Алексею Орлову нести за царским гробом корону убитого им императора.

Первые распоряжения и приказы нового императора касались масонов, гонимых при Екатерине. Императрица еще дышала, а Павел уже послал фельд'егеря к удаленному от двора А. Б. Куракину. Немедленно, приняв власть, Павел отдал приказ об освобождении Новикова из крепости. С И. В. Лопухина был снят надзор. Н. Н. Трубецкой и И. П. Тургенев вернулись в столицу. Возвращен был также из Сибири Радищев. Кн. Н. В. Репнин произведен был в фельдмаршалы на третий день по воцарении Павла.

Павел, повидимому, не верил, что Французская революция подготовлялась при участии массонов. Коронованные розенкрейцеры не были, очевидно, посвящены в планы, о которых рассказал Баррюэль, если надлежит верить его рассказам. Как бы то ни было, мы не можем сомневаться в яростной ненависти Павла к якобинцам. Ему мерещились цареубийцы. Судьба Капета и его жены не давала ему спать. Ему противны были даже французские моды, и он поспешил запретить круглые шляпы и фраки. Градоначальник Архаров, как будто желая выставить Павла в смешном виде, отрядил двести полицейских чинов, которые в Петербурге срывали с прохожих якобинские платья. Приказано было всем, даже дамам, выходить из экипажа при встрече с императором, и это наводило ужас на все население столицы. На первом плане у нового самодержца был вахт-парад.

Все эти анекдоты тщательно записывали мемуаристы, почти все, впрочем, так или иначе обиженные новым властелином. Началось четырехлетнее царствование Павла.

Авторы воспоминаний и дневников записывали то, что они видели и слышали, но они руководствовались при этом своими симпатиями и враждой. Когда перечитываешь эти длинные обвинительные акты, пред'явленные Павлу его современниками, изумляешься жестоким причудам самодержца.

Но жизнь государства не зависит от одного человека, даже облеченного неограниченною властью. Мнимый самодержец подчинялся фатальному ходу событий, не замечая, что судьба играет им, как он в детстве играл мячом. Тысячи незримых сил влияли на Павла, и он тщетно пытался уверить себя, что он управляет народом самодержавно. От его прихотей зависели иногда те или другие лица, но общий поток жизни он не в силах был остановить или произвольно направить по другому руслу.

Павел верил, что он самодержец, не связан ни с какою партией, ни с каким сословием. Вопреки Екатерининской традиции, он не опирался на дворянство и гвардию. По его представлению, все сословия равны. Нет привилегированных. Он однажды сказал: «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю». Павел успел лишить дворян некоторых их правовых преимуществ. При нем местное дворянское самоуправление подверглось стеснениям. Зато было приостановлено дальнейшее развитие крепостного права и даже сделана попытка его ослабить. Барщина была ограничена тремя днями в неделю. Это было первое умаление помещичьих прав, важное принципиально, но не имевшее никаких практических последствий. При Павле было запрещено продавать дворовых людей и крестьян без земли с молотка. Однако сам Павел успел раздать немало крестьян своим любимцам, полагая, что частновладельческим крестьянам легче живется, чем крестьянам государственным. Его внешняя политика всецело зависела от сложных международных отношений. Ему приходилось иногда жертвовать своим самолюбием, подчиняясь требованиям обстоятельств. Он делал вид, что он сам желает и может направлять государственный корабль по определенному пути. На самом деле корабль плыл по воле иных сил.

Павел хотел вести политику невмешательства в дела Европы, но он был вынужден вступить в 1799 году в коалицию Англии, Австрии, Турции и Неаполя против Франции. Он не любил Суворова, и он был вынужден призвать гениального полководца для борьбы с французами.

При восшествии на престол, Павел тотчас же обнаружил свое нерасположение к герою Екатерининских войн. Суворов был водворен в своем Нижегородском имении, и к нему был приставлен для надзора какой-то коллежский советник. В феврале 1798 года Павел вызвал Суворова в Петербург, желая, очевидно, с ним примириться, но из этого ничего доброго не вышло... Строптивый старик не спешил явиться к государю: он поехал на долгих, проселочными дорогами. Наконец, состоялось его свидание с императором. Тщетно Павел намекал ему, что он не прочь воспользоваться его военными талантами. Суворов рассказывал про Измаил и Прагу, делая вид, что он не понимает сделанных ему предложений. На вахт-параде шутил и чудил, хотя Павел старался обратить его внимание на введенную им дисциплину. Суворов сказал генералам: «Не могу, брюхо болит» — и уехал, пренебрегая этикетом. Он явно издевался над новым обмундированием. Кривлялся на глазах Павла, застрял в каретной дверце, уверяя, что ему мешает шпага,

прикрепленная на прусский манер. Не умея будто бы справиться с плоской шляпой, он ее уронил к ногам императора. Бегал и суетился между взводами, проходившими церемониальным маршем, вызывая мрачный гнев Павла. Наконец, фельдмаршал получил разрешение снова покинуть столицу.

Ровно через год, однако, Павел по настоянию союзного Венского Кабинета, вызвал Суворова из деревни, дабы поручить ему руководство армией. Генерал-фельдмаршалу Суворову об'явлены были разные милости и, между прочим, сам Павел возложил на него, с подобающей церемонией, большой крест св. Иоанна Иерусалимского. Немедленно Суворов отправился на театр военных действий.

Начались изумительные походы. Суворов в три месяца очистил всю Северную Италию от французских войск. Битва на реке Адде и трехдневная битва на берегах Требии вписаны в военную историю золотыми буквами. Несмотря на австрийское предательство, Суворов, вступивший в Швейцарию, разбил французов у Сен-Готарда, удивляя Европу своею неожиданною тактикою и стратегией.

Недовольный Австрией и Англией, Павел был вынужден порвать с коалицией. У него завязались переговоры с Наполеоном, которому он писал собственноручно, забыв, что он якобинец и узурпатор. В 1800 году Павел отозвал нашего посла из Лондона, негодуя на небрежное и даже коварное отношение англичан к нашему корпусу, который действовал против французов в Голландии. Павел уже намерен был, по соглашению с Наполеоном, сделать военную демонстрацию против Великобритании, угрожая ее владениям в Индии. Донское казачье войско двинулось к Оренбургу. Многим этот поход казался прихотью самодержавного безумца.

VIII.

Еще в 1785 г., когда Павел был престолонаследником и, однако, жил в опале, окруженный врагами, опасаясь всех и больше всего своей матери, его внимание привлекла к себе фрейлина его супруги, Екатерина Ивановна Нелидова. Ей было тогда двадцать шесть лет, а Павлу тридцать. Нелидова была некрасива, однако еще на выпускном экзамене в Смольном она обратила на себя внимание многих своими способностями, остроумием, живостью характера и грацией в танцах. Екатерина поручила даже Левицкому написать ее во весь рост, танцующей менуэт. По знаменитому портрету и по другим, нам известным, легко себе представить эту прелестную дурнушку с японским разрезом глаз, с иронической и вместе нежной улыбкой на губах. В эту крошечную женщину с маленькими ножками влюбился будущий император.

У Марии Федоровны, красивой дамы с пышным станом, неглупой, образованной, добродетельной и набожной, явилась неожиданная соперница, смутившая семейное счастье великокняжеской четы. Мария Федоровна, плача, жаловалась даже Екатерине на увлечение Павла. Она, Мария Федоровна,

знает, что отношения ее мужа к этой «маленькой» носят платонически характер, но неизвестно, чем все это кончится. Многоопытная любовница Екатерина подвела великую княгиню к зеркалу и сказала: «Посмотри на себя. Может ли с такою красавицей соперничать эта смешная дурнушка!» — но Мария Федоровна долго не могла успокоиться.

Уезжая на театр военных действий, на север, Павел оставил Нелидовой записку: «Знайте, что, умирая, я буду думать о вас». Эта нежная дружба, не омраченная грубою чувственностью, продолжалась четырнадцать лет. Несколько раз, тяготясь ревностью Марии Федоровны и сплетнями придворных интриганов, Нелидова удалялась от двора к себе, в Смольный, но эти разлуки продолжались недолго, потому что цесаревич скучал без своего крошечного друга. Тайна этой нежной связи была не только в том, что Павел восхищался остроумием и живостью характера Нелидовой, но и в том, что эта женщина полюбила его, Павла, бескорыстно и самоотверженно. Нелидова прекрасно видела все недостатки и пороки сумасбродного принца, но именно эта зоркая любовь, требовательная и откровенная, внушала Павлу доверие к его маленькой возлюбленной. Он пленен был ею, как женщиной, которая сумела сохранить свою власть над ним, не делая уступки его страсти. Сознавая свою силу, она нисколько не боялась Павла, этого — по представлению многих — ужасного тирана. Однажды, когда Павел был уже императором, дежурный во дворце гвардейский офицер видел, как отворилась дверь из аппартаментов фрейлины и оттуда поспешно вышел грозный император, а над его головою пролетел женский башмачок, упавший к ногам гвардейца. Через минуту вышла Нелидова и совершенно спокойно подняла утраченную ею в пылу гнева обувь.

Но, несмотря на подобные сцены, целомудренная связь Нелидовой и Павла никогда не была нарушена, хотя придворные сластолюбцы спешили истолковать эту связь весьма цинично.

Когда в 1790 году Павел серьезно заболел и думал о близкой смерти, он написал Екатерине такое письмо: «Мне надлежит совершить перед вами, государыня, торжественный акт, как перед царицею моею и матерью, акт, предписываемый мне моею совестью перед богом и людьми: мне надлежит оправдать невинное лицо, которое могло бы пострадать, хотя бы негласно, из-за меня. Я видел, как злоба выставляла себя судьею и хотела дать ложные толкования связи, исключительно дружеской, возникшей между m-lle Нелидовой и мною. Относительно этой связи клянусь тем судилищем, пред которым мы все должны явиться, что мы предстанем пред ним с совестью, свободной от всякого упрека, как за себя, так и за других. Зачем я не могу засвидетельствовать этого ценою своей крови! Свидетельствую о том, прощаясь с жизнью. Клянусь еще раз всем, что есть священного. Клянусь торжественно и свидетельствую, что нас соединяла дружба, священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому бог».

Легко представить себе физиономию коронованной блудницы, когда она читала это послание Павла. Этот вопль безумного сердца казался ей

...нтиментальной глупостью, и, вероятно, в ее голове уже складывалась ...акая-нибудь новая комедия с каким-нибудь заглавием, казавшимся ей ...троумным — «Опекун девства» или что-нибудь в этом роде. В ее созна...ии не вмещался этот рыцарский бред. Ей казалось противоестественным ...осиживать целыми часами с своей возлюбленной в беседе о Паскале или ...Фоме Кемпийском, не смея коснуться ее руки. Она, смеясь вспоминала, ...роятно, длинную вереницу своих бравых любовников, которые не тратили ...ремени на пустяки. И при этом Павел Петрович вовсе не был больным ... бессильным человеком. Он успел народить многочисленное потомство, ...доровое физически, и вообще был мужем, на которого не жаловалась ...ария Федоровна, вовсе не склонная к аскетизму.

Нелидова оказывала влияние на Павла. Но у нее не было никакой ...осударственной программы; она, как любящая женщина, хотела охранять ...авла от неосторожных и сумасбродных поступков, когда дело шло об ...дельных людях или о каких-нибудь дворцовых и придворных делах, но ...на не могла противопоставить политическим идеям Павла ничего само...тоятельного. Романтизм Павла даже импонировал этой чувствительной ...ольнянке.

Мария Федоровна, наконец, сообразила, что вовсе неразумно бороться ...й с Нелидовой. Фаворитка Павла охотно пошла навстречу жене, поте...явшей свои супружеские прерогативы. Обе женщины, искренно любившие ...авла, заключили союз, стараясь оградить его от его подозрительной мни...тельности, похожей на манию преследования. Нелидова являлась постоянной ...одатайницей за опальных. Ее способ воздействия на императора мог иногда ...оказаться забавным. Пользуясь правами на известную фамильярность, она, ...увствуя, что Павел готов наговорить гневные и несправедливые слова, дер...жа его за мундир, и это напоминало безумцу о необходимости сдерживать ...вои порывы.

Но влиянию Нелидовой положен был предел. Ее близость к Марии ...едоровне, повидимому, не нравилась Павлу. Нравственная связь с женою ...него была порвана после того, как он узнал, что Екатерина хотела ее ...ривлечь к делу устранения его, Павла, от престола. Нашлись клеветники, ...оторые внушали мстительному императору, что Мария Федоровна не чужда ...естолюбия. К этому времени и супружеские отношения между ними были ...ерваны: врачи запретили государыне поддерживать близость с мужем, ...веряя, что возможная беременность будет для нее на сей раз смер...тельна.

Павел, привыкший к женской любви, тяготился одиночеством. При...дворные интриганы старались использовать его слабость. На коронационных ...оржествах ему указали на девятнадцатилетнюю Анну Петровну Лопухину, ...что бы в него влюбленную. На ее портрете, написанном Боровиковским, ...на представлена красавицей брюнеткой. В ней не было, повидимому, тон...го и острого очарования, какое было в Нелидовой. Это была, вероятно, ...страстная женщина, хотя, быть может, с несколько томною и сонною

чувственностью, которая пробуждается не сразу, но, пробудившись, владеет сердцем до конца.

Сводником явился бывший брадобрей императора, граф Кутайсов, который договорился с отцом красавицы, сенатором Лопухиным, и все семейство переехало в Петербург в угоду сентиментальному и чувственному царю.

На этот раз Павел не был расположен к платоническим отношениям и черноглазая красавица разбудила в нем страсть. Когда однажды его ухаживания стали слишком настойчивы, она расплакалась. Смущенный Павел спросил о причине этих слез, и Лопухина призналась ему, что у нее есть жених, князь П. Г. Гагарин, находившийся в то время в армии Суворова. Павел, как рыцарь, немедленно предписал Суворову прислать под каким-нибудь предлогом Гагарина в Петербург. Князь приехал, привезя известие об очередной победе Суворова. Свадьба Гагарина и Анны Петровны Лопухиной была отпразднована при дворе с необыкновенной пышностью. Впрочем, рыцарские чувства Павла были непрочны. И Гагарин, повидимому, не слишком был чувствителен к своей чести супруга. Красавица сделалась любовницей Павла незадолго до его смерти. Ей были отведены аппартаменты во дворце.

IX.

Трудно быть императором. Страшно быть самодержцем. Павлу хотелось иногда забыть о том, что он повелитель миллионов и что нет над ним никакой власти. Но как забыть? Вот разве пойти к княгине Гагариной, которая проста, слишком проста, и, кажется, не в силах уразуметь, что с нею делит ложе тот, кого сам бог помазал на царство. Для нее Павел всего лишь возлюбленный и, к несчастью, чужой муж. Она его целует, а сама плачет, потому что он прелюбодей, и она — прелюбодейка. Об этом она думает, а вот о том, что Павел ответит за судьбу России, она не размышляет вовсе. Об этом он думает один. И не с кем ему поделиться мыслями. В сущности, у самодержца и не может быть друга. Эти мысли сводили с ума императора. Самодержавие он понимал буквально. Он думал, что может управлять государством один. Он стоит в центре и от него по радиусам исходят повеления. Начальники всяческих коллегий исполняют его волю. Их помощники передают дальше, в низшие инстанции, все, что повелевают им свыше. При этом надо все делать незамедлительно. Скорей, скорей! Пусть мир узнает, как плодотворно самодержавие. Нельзя терять ни одного мгновения. Надо ввести поэтому железную дисциплину. Он так и сказал однажды: «Надо управлять железной лозой». После вахт-парада — экзекуции для зевак и лентяев. Солдаты роптали на эти порядки, но все-таки мирились с ними. Было утешение — хорошо кормили, одевали и — главное — вся тяжесть дисциплины падала на офицеров. Это они — «потемкинцы», «якобинцы» — виноваты во всем. С них, Екатерининских баловней надо взыскивать прежде всего. Введено было своеобразное равенство — равенство бесправия.

Чем дальше от престола, тем спокойнее жилось российским гражданам. Император был беспощаден, если узнавал о злоупотреблениях власти. Боялись брать взятки. Судебная волокита стала легче. Грабеж населения чиновниками ослабел. Но столичные жители, особенно те, кто был причастен к двору и гвардии, жили в непрестанном страхе строгого взыскания. Страна принадлежала ему, императору. Высшая сила поручила ему опекать Россию, и он, как отец, устанавливал порядок, мораль и быт. Никто не смел одеваться по своему вкусу; принимать гостей позднее известного часа; на улицах по ночам стояли пикеты полицейских, которые проверяли виды на жительство; город был как в осаде. Цензура была дикая. Одно время ввоз иностранных книг был запрещен вовсе. Мимо дворца надо было проходить без шляпы, и обыватели бежали рысью по площади, когда зимний ветер леденил беззащитные головы. Во всех этих полицейских мерах виноваты были не менее Павла не по разуму ревностные исполнители царской воли. А иногда совершалось кое-что и против воли императора. Павел был противником смертной казни, однако на Дону казнен был полковник Грузинов, преданный Павлу. Об этом постарался, кажется, граф Пален. Были кошмарные случаи и в самом Петербурге. Так, напр., лейтенант Акимов за эпиграмму на построение Исаакиевского собора сослан был в Сибирь, при чем ему предварительно отрезали язык. Пастор Зейдер за то, что он держал у себя в библиотечке какие-то неразрешенные книги, был наказан кнутом. Некий штабс-капитан Кирпичников в мае 1800 года прогнан был через строй и ему дали 1000 ударов шпицрутенами. Впрочем, при оценке этих фактов надо принимать во внимание нравы эпохи и вообще историческую перспективу. Шпицрутены были и до Павла, и после него. Шпицрутены были и при «просвещенном абсолютизме» Фридриха Великого. Да и вообще власть имущие делали политику на Западе не в белых перчатках. Безумный император был не хуже иных здравомыслящих королей.

Вводя гатчинский порядок в гвардию, Павел беспощадно удалял неисправных офицеров, иногда отправляя их в ссылку прямо с парада. Офицеры шли на военные смотры, беря с собою деньги на случай внезапного ареста. От репрессий Павла пострадало несколько тысяч человек. В рассказах о режиме Павла были и тенденциозные преувеличения, напр., знаменитый анекдот о ссылке целого полка, который будто бы был отправлен в Сибирь прямо с военного парада. Но и без этих анекдотов Павловское время не было похоже на счастливую пастораль, несмотря на сантименты государя и его возлюбленных.

Жить было страшно при Павле, но и самому Павлу страшно было жить. Восемь лет тому назад в Париже отрубили голову Людовику XVI. Павлу снится эта окровавленная голова. И это страшно. В самом деле, какая странная привилегия у королей: они всегда первые кандидаты на казнь. Только на долю счастливцев выпадает казнь публичная и торжественная. Чаще их убивают где-нибудь тайно, и они умирают мучительно, без покаяния... Что делать? Кто поймет страдания его, Павла? Прежде

у него не было друга более близкого, чем жена, Мария Федоровна. Но теперь он знает, что эта женщина утаила от него намерение Екатерины лишить его престола. Не мечтает ли и она, как покойная императрица, завладеть короною мужа? Граф Пален, этот проницательный, слишком даже проницательный человек, намекал на это дважды. Его, Павла, могут отравить. Эти женские нежные руки как будто предназначены для того, чтобы вливать яд в стакан с вином. Хорошо, что теперь у него стряпуха-англичанка, которой, кажется, можно довериться. Надо быть осторожным, однако. А сыновья? Нежный Александр и буйный Константин — они почтительны. Но он, Павел, помнит, как Саша еще отроком любил щеголять, прицепив к мундирчику трехцветную кокарду. Якобинец! Легкомысленная бабушка внушила своему любимцу безбожие, неуважение к авторитету, нелепые идеи о какой-то мнимой свободе... И, почем знать, не честолюбив ли этот скромник? Не таится ли в душе этого вольнодумца развратная и подлая мысль об овладении престолом? Ведь, именно этого хотела Екатерина.

А эти пьяные, распутные, наглые, избалованные гвардейские офицеры, которые привыкли смотреть на государей, как на своих ставленников? Разве можно быть уверенным в их преданности взыскательному и строгому императору? А близкие к царю вельможи, которые до сих пор не научились носить мундира по-гатчински и не забыли привилегий, которыми щедро их оделяла расточительная царица? Каждый из них ненавидит Павла. Лицемеры! И есть еще одна ужасная мысль. Они все думают, что он, Павел, сумасшедший. Когда к Зимнему дворцу, по его приказу, прибили ящик, куда всякий мог класть прошения на имя самого императора, и — Павел собственноручно разбирал эти жалобы простецов, — что находил он там, в этом ужасном ящике? Не находил ли он там рядом с воплями о поруганной справедливости карикатуры на самого себя? Не там ли он нашел ряд жестоких писем, где его называли безумным тираном, жалким идиотом, презренным чухонцем, намекая на то, что он вовсе не сын Петра III, что он незаконнорожденный, что он даже не сын Екатерины, а какой-то неведомый, подмененный кем-то в час рождения? Разве это не страшный кошмар? Так, ведь, пожалуй, и в самом деле сойдешь с ума! И странно: все, что ему, Павлу, кажется прекрасным и мудрым, добродетельным и благородным, вызывает двусмысленные улыбки у этой придворной черни, которая толпится вокруг трона и втихомолку смеется над монархом. Он, Павел, в 1798 году возложил на себя корону и регалии Великого Магистра Мальтийского Ордена. Само провидение внушило ему взять под свое покровительство рыцарей Иоанна Иерусалимского. С тех пор, как Мальтою овладели французские якобинцы, не прилично ли русскому самодержцу соединиться с верными защитниками христианства и рыцарских традиций? Но над ним все смеются. Даже аббат Жоржель иронизирует по поводу того, что русский император, явный схизматик, оказался вдруг магистром Ордена, который признает папу главою церкви. Однако иезуитский патер

Грубер понимает сердце монарха. Они вместе обдумали великий план для борьбы с революцией. Сам Пий VII извещал чрез своих агентов русского венценосца, что он не прочь заключить с ним союз дружбы и духовного единения. Какие всемирные перспективы! Какой гениальный замысел! Но кругом жалкие глупцы, которые ничего не понимают в великих идеях. Кроме того эти люди завидуют ему... Они не могут простить ему его духовной высоты. Они готовят ему месть. Они убьют его.

## X.

Михайловский замок стоит в нашей северной столице особняком, как Эскуриал в Мадриде: по стилю подобных ему зданий нет, но от него, однако, веет своеобразной и мрачной прелестью. Зодчий — масон, Баженов, сочинил план замка. Разработал этот план и воздвиг желанный Павлу дворец архитектор Бренна. Сам император влиял на труды зодчих. Это здание проникнуто его меланхолией. Странное бароко исполнено неожиданной силы и суровой красоты. Замок был отделен от города лугом и рвами. Император торопил художников и мастеров. Ему надо было приготовить себе великолепную усыпальницу.

В замке был мрачный лабиринт зал, и лишь в конце этих пышных комнат находился кабинет и спальня императора. Здесь стояла статуя безбожника Фридриха Второго, а над узкой походной кроватью висел сантиментальный ангел Гвидо Рени. Все прочее было сухо и строго в этой келье. Роскошен был только письменный стол, который покоился на ионических колонках из слоновой кости, с бронзовыми цоколями и капителями. В спальне было несколько дверей. Одна, вскоре запертая Павлом на-глухо, вела в покои императрицы. Была и потаенная дверь, ведущая вниз по винтовой лестнице в покои царской любовницы Гагариной.

Еще не просохли стены, когда император повелел двору переехать в полюбившийся ему дворец. «Ничто не могло быть вреднее для здоровья, как это жилище, — рассказывает Коцебу в своем описании дворца. — Повсюду видны были следы сырости, и в зале, в которой висели большие исторические картины, я видел своими глазами, несмотря на постоянный огонь в двух каминах, полосы льда в дюйм толщиною, а шириною в несколько ладоней, тянувшиеся с верху до низу по углам». Темные лестницы и жуткие коридоры, в которых постоянно горели лампы, придавали дворцу вид страшный и таинственный. В нем легко было заблудиться. На площадках дул непонятный ледяной ветер. Везде были сквозняки. И двери хлопали неожиданно, наводя ужас.

Первого февраля императорская фамилия переехала в Михайловский замок, а на другой день был маскарад. Приглашено было три тысячи человек. Гости робко бродили по залам, пораженные необычайностью обстановки, но трудно было оценить роскошь и великолепие убранства, потому

что от холода, сырости и дымных печей все залы были наполнены синим туманом, и, несмотря на множество свечей, люди возникали из полумрака, похожие на привидения.

Император держал себя странно, пугая придворных неожиданностью своих заявлений. Впрочем, казалось иногда, что он сам худо понимает то, что происходит вокруг него. Кто он в самом деле? Самодержец или игрушка невидимых и враждебных сил? Главное — одиночество, томительное и ужасное. Некому верить. Все враги. Пришлось удалить в Москву Никиту Петровича Панина, который был когда-то близок ему. Разве мог он не удалить его, когда он слышал собственными ушами, как этот человек в разговоре с сыном Александром употребил слово «регентство»? Правда, он больше ничего не слышал. Но о каком регентстве шла тогда речь? Они считают Павла сумасшедшим; они хотят заключить его в крепость; они хотят об'явить регентство! И этот кроткий вольнодумец Александр, баловень бабушки, с грустной улыбкой заточит его, Павла, в каземат. Дружба этого Панина с английским послом Виртвортом более чем подозрительна. Он даже явно стремился противодействовать политике императора, отказавшегося от союза с Великобританией. Этот человек не понял великой идеи Первого Консула, который сказал, что Россия и Франция созданы для того, чтобы управлять Европою. Жалкий прозаический ум дипломата Панина не оценил гения Бонапарта. Но Павел протянет руку этому необыкновенному якобинцу, ибо дело идет на сей раз о чудотворном умиротворении всей Европы. Они поделят мир — Бонапарт и Павел. Они, как братья, будут управлять земным шаром. И граф Панин был выслан из Петербурга.

Как жаль, что пришлось выслать также Аракчеева, этого верного раба. Жаль, очень жаль. Этот верный пес готов разорвать всякого, кто приблизится с враждебною целью к чертогам императора. Но все-таки пришлось выслать Аракчеева: он провинился по службе, старался спасти своего негодного родственника и свалил вину на другого, невинного. И Аракчеев сидел у себя в Грузине, не смея просить о помиловании. А как нужен сейчас этот верный раб!

Вот кто мил сердцу Павла — это юный принц Вюртембергский Евгений, который гостит в Петербурге. Издеваясь над законным наследником престола, Павел уже несколько раз говорил, что он, император, возведет юношу на такую высоту, которая удивит мир. Павел не знал, что его любовница, Гагарина, не решавшаяся говорить ему о грозящей опасности, предупреждала об этом юного Вюртембергского принца. Она даже предложила ему укрыться у нее, Гагариной, если наступят страшные события. И немудрено, что Гагарина догадывалась о возможном перевороте. Любовник ее матери был в числе заговорщиков.

Весь Петербург знал, что существует заговор. Надо было выбрать человека умного, сильного, тонкого, смелого, находчивого и вручить ему власть для обеспечения государства и трона. Павел выбрал для этого графа Палена.

В руках графа Палена были сосредоточены решительно все нити государственного управления, а, главное, ему был подчинен петербургский гарнизон и государственная почта. Он перлюстрировал письма. Он был вездесущ и всевластен. Заговор не мог бы осуществиться, если б он того не захотел. Но он захотел. Он помнил, как четыре года тому назад Павел послал ему выговор, именуя его действия подлостью. И он понимал, что нет никаких гарантий от новых оскорблений в какой-либо иной мрачный час. И он стал во главе заговора. К заговору присоединились многие — в том числе Орлов, Чичерин, Татаринов, князь Голицын, Талызин, Мансуров, Уваров, князь Яшвиль, Бенигсен, братья Зубовы...

Но этого было мало. Нужен был Александр. С ним уже вел переговоры Н. П. Панин, когда он еще не был выслан. Хитрец уверял его, что дело идет о регентстве. Ведь, управлял же Великобританией принц Уэльский, когда заболел Георг III; ведь, было же регентство в Дании при Христиане VII. Россия гибнет, ибо государь заболел душевно... И Александр поверил. В качестве регента он предоставит отцу его любимый Михайловский замок. Павел не почувствует заточения. Там можно будет устроить гипподром. Он будет кататься верхом по парку. В театре для его развлечения будут даваться спектакли. В его распоряжении будет прекрасная библиотека... Сам бы Александр согласился на такое уединение.

Утром 7 марта в кабинет Павла вошел с рапортом о положении столицы граф Пален. Император рассеянно слушал доклад. Потом он спросил:

— Господин Пален, где вы были в 1762 году?

— Я был в Петербурге, государь.

— Итак, вы были здесь?

— Да, государь. Но что вы хотите сказать, ваше величество?

— Вы участвовали в революции, когда моего отца лишили трона и жизни?

— Я был, государь, только свидетелем, но сам не действовал. Я был очень молод. Я служил в гвардии унтер-офицером... Но почему вы задаете мне этот вопрос, ваше величество?

— Почему? Да потому, что хотят повторить 1762 год...

И глаза Палена встретились с глазами императора.

— Да, государь, этого хотят... И я сам в заговоре.

Павел удивился, но, кажется, не очень. Все было так странно и безумно, что еще что-то новое, непонятное и страшное не слишком поразило воображение Павла. Может быть, так надо, чтобы заговорщики вдруг сообщали откровенно своей жертве о намерении ее убить. Однако Павел решился спросить:

— Вы в заговоре тоже? Что это значит, господин Пален?

Пален обстоятельно стал об'яснять угрюмому императору, что он, Пален, сосредоточил в своих руках все нити заговора и скоро все разоблачит и всех арестует. Пусть только император не мешает ему исполнить задуманный план.

Павел смотрел на вельможного провокатора и думал о том, что него дня надо арестовать прежде всех. Он, Павел, знает, кто сумеет арестовать этого всемогущего царедворца. Такой человек есть. Это Аракчеев. Надо послать письмо с повелением немедленно ехать ему в столицу. Павел не знал, что письмо будет перлюстрировано Паленом, что будет отдан приказ задержать Аракчеева у заставы.

— Ступайте, господин Пален, и будьте ко всему готовы.

Когда граф ушел, Павел со страхом оглядел свой кабинет. Дверь к императрице на-глухо заперта. Эта изменница не ворвется к нему с кин жалом. У других дверей верные гайдуки. Во дворе кордегардия. Везде караулы. Надежны ли эти караулы? Неизвестно, что у них в головах, у этих якобинцев. На днях он зашел к сыну Александру. Цесаревич читал Вольтеровского «Брута». Ага! Вольтерьянец! Ага! Якобинец! Тебе нравится что цезарь убит! Ты забыл, негодный, участь царевича Алексея Петровича Не всегда убивают цезарей. Иногда убивают и непокорных, восставших против помазанников божиих! В воскресенье 10 марта в замке был концерт. Павел был рассеян и мрачен. Все безмолвствовали, не смея поднять головы. Перед выходом к вечернему чаю распахнулись двери; появился Павел; подошел, тяжко дыша, к императрице; остановился перед нею. скрестив руки и насмешливо улыбаясь; потом с тою же гримасою он подошел к Александру и Константину. За чаем была гробовая тишина. Потом император удалился, не прощаясь.

Даже на улицах Петербурга было мрачно и жутко. Все принимали друг друга за шпионов. Разговаривали шопотом. После пробития зори, в 9 часов вечера, по большим улицам ставились рогатки и пропускались только врачи и повивальные бабки.

За несколько дней до события Павел катался верхом по парку. Погода была туманная. Солнце уже давно не заглядывало в Петербург. Вдруг Павел обернулся к сопровождавшему его оберштальмейстеру Муханову и стал жаловаться на удушье.

— Как будто меня кто-то душит, —сказал император. — Я едва переводу дух. Мне кажется, я сейчас умру.

— Это от сырой погоды, — сказал Муханов, почему-то дрожа: — Это, государь, иногда бывает, когда туман...

Утром 11 марта патер Грубер единственный человек, который входил к императору без доклада, принес свой проект о соединении церквей. Это была последняя редакция, которую Павел должен был утвердить. Граф Пален загородил дорогу патеру и властно потребовал, чтобы он подождал. Войдя в кабинет к Павлу, он так утомил Павла длиннейшими докладами, что тот отложил свидание с иезуитом. Надо было ехать на развод. Соединение церквей пришлось отсрочить надолго.

В этот день Александр и Константин вторично приносили присягу императору. Они были под арестом и не знали своей дальнейшей судьбы. Однако к вечеру их пригласили к императорскому столу. Павел разве-

селился. Он громко говорил и шутил. Он несколько раз заговаривал с сыном Александром. А тот сидел, бледный и молчаливый, опустив глаза вниз.

Взглянув в зеркало, император сказал Кутузову:

— Какое смешное зеркало! Я себя вижу в нем с шеей на сторону.

После ужина, вместо обычного приветствия, Павел неожиданно сказал:

— Чему быть, того не миновать.

Вечером 11 марта состоялось последнее собрание заговорщиков. Пален и Бенигсен, руководившие собранием, были трезвы и знали, что делают. Но они охотно угощали вином гвардейцев. Шампанское рекой лилось на этой мрачной попойке. Предполагалось, что тиран подпишет отречение от престола. Кто-то сочинял даже конституционные «пункты». Но этим не очень интересовались. Надеялись, что легко будет поладить с молоденьким Александром. Кажется, не все понимали, что собственно готовится. Об'единяла ненависть к самовластному императору, который посмел сказать, что в России тот вельможа, с кем он, Павел, разговаривает и пока он с ним разговаривает. В чаду попойки какой-то молодой человек вдруг громко спросил: «А что делать, если тиран окажет сопротивление?» — Пален тотчас же ответил французской пословицей: «Когда хочешь приготовить омлет, надо разбить яйца»... Все засмеялись, впрочем, не очень весело. И снова захлопали пробки от шампанского.

Командиры Семеновского и Кавалергардского полков привели своих солдат. Талызин привел батальон преображенцев. Солдаты не знали точно, куда и зачем их ведут, но догадаться не так уж было трудно.

Пален предложил разделиться на два отряда и с двух сторон подойти к замку. Одним отрядом командовал Бенигсен и Зубов, другим — сам Пален.

Ночь была холодная. Моросил дождь. Когда заговорщики вошли в Летний сад, сотни ворон поднялись со старых лип, оглашая туманную ночь зловещим карканьем.

Гвардейцы остановились, страшась итти дальше. Зубов пристыдил солдат. Они-де идут защищать цесаревича Александра, которому грозит беда. Александра любили солдаты за кроткий характер. Отряд двинулся дальше. Перешли замерзшие рвы.

Преображенский ад'ютант, состоявший в охране замка, без труда провел заговорщиков. Когда они очутились перед покоями императора, дежурные гайдуки-гусары попробовали не пустить ворвавшуюся банду. Одного из них ранили, другой убежал и поднял тревогу. Солдаты на карауле заволновались, но офицер-заговорщик пригрозил шпагой, и восторжествовала Павловская дисциплина: солдаты повиновались командиру. Пока отряд шел по коридорам и лестницам замка, некоторые заговорщики отстали и заблудились в дворцовом лабиринте. Немногие ворвались в спальню императора. Тут были Платон и Николай Зубовы и Бенигсен. Пален со своим отрядом куда-то исчез. Это промедление, хитрое и коварное, было, разумеется, неслучайно.

Когда заговорщики вошли в царскую спальню, Платон Зубов бросился к кровати. Она была пуста. Все озирались, недоумевая. Кто-то подошел к ширме и отодвинул ее. За нею стоял босой, в ночной рубахе, император. Блестящие и страшные глаза были устремлены на этих непонятных ему теперь людей, в орденах и лентах, со шпагами в руках. Бенигсен сказал, стараясь не смотреть на белое, как у Пьеро, лицо Павла:

— Государь, вы перестали царствовать. Александр — император. По его приказу мы вас арестуем.

В это время ворвалась в спальню новая толпа отставших офицеров. Пока Павел стоял недвижно, никто не смел его коснуться. Один из братьев Зубовых, совсем пьяный, решился заговорить с ним. Заплетающимся языком он стал упрекать в чем-то Павла, называя его тираном. Павел, перебив его, вдруг заговорил:

— Что вы делаете? За что?

Его голос, раздражавший их, знакомый голос, к которому офицеры привыкли на вахт-парадах, тотчас же пробудил у всех страсти. Толкая друг друга, офицеры окружили императора. Кто-то коснулся его руки. Павел брезгливо ее оттолкнул. Это было началом конца. Николай Зубов ударил императора в висок тяжелой табакеркой. Павел бросился в угол, ища оружия. На него зверски набросился пьяный князь Яшвиль. Павел закричал, защищаясь. Тогда все, в кошмаре хмеля, опрокинули императора на пол. Кто-то схватил шарф и, накинув петлю, затянул ее на шее самодержца. Бенигсен подошел к Павлу, когда он уже не дышал. Император лежал недвижно с изуродованным и окровавленным лицом.

---

Когда весть о смерти императора Павла разнеслась по городу, обывательская жизнь мгновенно изменилась. Сняты были рогатки повсюду; появились кавалеры в запрещенных круглых шляпах и жилетах; пышные выезды цугом с гайдуками загремели по улицам. Знать и дворяне ликовали. Все почувствовали, что ожил Потемкинский и Екатерининский дух, ненавистный убитому императору.

Мемуаристы пишут, что ликовали все сословия и классы. На самом деле это было не так. Ликовали привилегированные. Народная крестьянская масса была равнодушна к смерти Павла. Мужикам при Павле жилось так же трудно, как и при Екатерине, как впоследствии при Александре и Николае. Мужикам жилось худо, но не хуже, чем до Павла или после него. Час крестьянской России еще не пробил. На сцене истории господствовало дворянство. Это они, дворяне, оставили нам свои пристрастные записки об императоре. Крестьяне тогда еще не писали своих дневников, и мы знаем их мнения лишь по случайным рассказам и живому преданию. Мы знаем, что крепостные возлагали на царя особые надежды, оказавшиеся, правда, тщетными. Мужики поняли, что Павел не расположен к дворянству. Это давало повод рассчитывать на изменение условий крепостной зависимости, но расчеты эти оказались неверными.

Отказавшись от Екатерининской политики по отношению к привилегированным, Павел не посмел или не успел опереться на крестьян. Лично он старался проявить к ним благожелательность, о чем свидетельствуют многочисленные документы, но это «народолюбие» Павла не шло дальше частных случаев. Он принимал меры во время голода, отправляя в голодающие губернии сенаторов «насытить голодных»; он делал попытки к оздоровлению сельского населения, посылая на места врачей; он неоднократно разрешал в пользу крестьян дела о «тиранстве» помещиков, карая насильников... Но во всех этих действиях не было единого и последовательного плана.

В народе, со времен Пугачева, бродила мысль о том, что Павел будет крестьянским царем. Эта идея укрепилась, когда при своем восшествии на престол, он повелел впервые привести к присяге крестьян, подчеркивая то, что они прежде всего граждане. Отмена рекрутского набора, об'явленного Екатериною незадолго до ее смерти, возбудила в мужиках новые надежды на облегчение их участи. Даже складывалась легенда о том, что государь Павел не прочь освободить крестьян, но мешают помещики. Летом 1797 г. крестьянин Владимирской губернии, Василий Иванов, сказывал: «Вот сперва государь наш потявкал, потявкал, и отстал, — видно, что его господа переодолели». В этом выразительном замечании была доля истины. Император был бессилен совершить социальную и правовую реформу, потому что крепостное хозяйство, хотя и достигло в своем развитии предела и должно было неизбежно клониться к упадку, поддерживалось, однако, об'ективными экономическими и культурными условиями эпохи, тогда еще непригодными для новой формы землепользования.

За четыре года царствования Павла было издано несколько законодательных актов и указов с целью обеспечения крестьянам достаточного земельного надела, но эти попытки упорядочить крестьянскую жизнь или вовсе не осуществлялись реально, или не достигали своей цели. Экономический и социальный процесс, который в конце концов, спустя шестьдесят лет, заставил правительство освободить крестьян, тогда еще только начинался.

В Петербурге однажды на разводе крепостные подали Павлу челобитную, где они требовали свободы от помещиков. Челобитчики за то, что действовали «скопом», были жестоко наказаны. Эта расправа не помешала распространяться слухам об отмене крепостного права. Были случаи возмущения и неповиновения крестьян помещикам в Вологодской, Тверской, Псковской, Новгородской, Пензенской, Орловской, Калужской и Новгород-Северской губерниях. Бунты усмирялись довольно легко и, за редкими исключениями, без суровых репрессий. Однажды, впрочем, для подавления мятежа пришлось послать генерал-фельдмаршала Репнина. Крестьяне во всем винили дворян, а не Павла. У них не было основания питать к нему расположение, но и для прямой ненависти он не давал повода. Равнодушие народа к смерти Павла сказалось, между прочим, устами того гвардейца.

который ходил смотреть тело покойного царя, дабы убедиться, что он действительно умер: «Да, крепко умер, — сказал он. — Лучше отца Александру не быть. А, впрочем, нам что ни поп, то батька».

У народа к Павлу не было ни любви, ни ненависти. В судебных делах Павловского времени встречаются, впрочем, отзывы об императоре весьма непочтительные. Мужички именовали его то «плешивым дураком», то «курносым царишкой», но, наконец, почему-то «гузноблудом».

Правовое и хозяйственное положение крестьян при Павле почти не изменилось по сравнению с Екатерининской эпохой, и естественно, что средняя крестьянская масса не почувствовала вовсе этого четырехлетнего царствования. И смерть Павла не произвела на большинство крестьян никакого впечатления.

Зато те мужики, которые склонны были к религиозным вопросам и размышляли на религиозные темы, по-своему поняли духовное лицо Павла. Несмотря на то, что Павел проявил некоторую терпимость к раскольникам, их отзывы об императоре дышат гневной непримиримостью. «Тот, кто царствует, рожден не от христианской крови, а от антихриста»; «царь Павел — настоящий дьявол»; «император наш воистину антихрист»...

# ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ.

## Радио.

**Михаил Пришвин.**

Было это в междуречьи Большой и Малой Нерли в районе острова Кобылья Голова. Мне встретился тут один охотник за белыми куропатками, деревенский радиослушатель и ликвидатор (неграмотности). Разговор у нас после встречи начался о болоте: очень меня удивило, что болоту этому не было общего названия. Оно было такое большое, что деревни и села на краях не общались между собой, и каждая деревня понимала только ей доступный кусочек. Торф на этом болоте был до того спелый, что местами уже размывался дождями и, значит, начинался обратный процесс: было когда-то озеро, потом вместо него стало непереходимое болото и теперь опять начиналось старое озеро. Очень возможно, если только жили люди на берегах этого древнего озера, что они плавали на лодках и общались между собой. В болотное время связь потерялась до того, что в отдельных селах исчезло представление о цельности этого болота. А вот теперь связь налаживалась небывалая, по радио через Москву: между собой ничего общего, а из Москвы тот же самый для всех Коминтерн — станция, передающая новости на волне в тысячу четыреста пятьдесят метров. Пройдет всего лет пять, а через десять уже наверно связь по радио будет непосредственная от села к селу и даже от лица к лицу, не считаясь с пространством. Значит, тогда нельзя будет заблудиться в лесах и болотах, как это теперь достигнуто на море. Захочет тогда, например, поэт напечатать свое новое стихотворение, написанное в болоте под крик журавлей, и ему не надо будет ехать на почту; прямо с глухариного тока он будет диктовать: — Алло, алло, слушайте, слушайте, записывайте: говорит «Кобылья Голова» на волне...

Так и еще гораздо интересней мечтаю я о будущем, но одно неприятное воспоминание обсекает веселую мечту. Помню, что совершенно так же мы веселились, когда начались первые полеты по воздуху. А чем кончилось? Страшно вспомнить одну зеленую лужайку, где сидели и лежали в ожидании перевязки сотни раненых. Прилетел неприятельский аэроплан, раздался взрыв где-то очень близко, завернул, взрыв раздался еще ближе; аэроплан снова завернул, и тут все эти раненые, кто левой рукой, кто одной правой, в панике стали палить из винтовок в безобразно рычащую страшную птицу. Вспоминается и рассуждение какого-то простого солдата при виде военного аэроплана:

— Ум человеческий произвел машину, а жизнь человеческая не произошла.

Война такую набила оскомину, что весь аппетит прошел к аэроплану, и так представляется, что когда и не будет совсем войны, то вместо военного страшилища аэроплан явится в деловом виде: есть деньги, или служба, связанная с полетом — полетишь, нет — прогуляешься по-старому с палочкой, не обращая никакого внимания на деловые полеты. Жизнь протекает обыкновенно и, пока жизнь новая сама не произошла, пустое это занятие стихами и прозой встречать новое изобретение.

Вероятно, только эта близость войны и мешает теперь всем удивляться чудесам радиотехники в полной мере, как это заслуживает. В больших городах совсем даже как-то уж и неудивительна говорящая труба. Но в болоте невозможно не думать, — сам не подумаешь, встретится кто-нибудь и заведет разговор.

Встреченный мной деревенский радиослушатель, когда я назвал себя по фамилии, спросил:

— Михаил?

Я подумал, обрадованный, что ликвидатор читал мои книги, но нет, он из моего не прочел ни одной строчки, слышал только по радио рекламу одного издательства о моей охотничьей книжке. Однако и это знакомство по радио было достаточно, чтобы угрюмый ликвидатор развязал язык. Он мне много рассказывал о деревенском радио, что молодежь, несколько ребят в их селе, сделались страстными слушателями, а масса все не верит, думает, или это граммофон, или что-нибудь подстроено, только речь и пение не из Москвы. Не в радио и электрификации сказалась революция для этих людей. Было в прежнее время, деревенский человек работал удивительно дешево, за четыре, за пять рублей отдавался весь на чужую работу и не помнил себя. Теперь он что-то понял и на это не идет.

— Работает для себя? — спросил я.

— Нет, и для себя мало работает, — сказал ликвидатор.

— Но чем же он живет?

— Исхитряется и живет, а в петлю уж больше не лезет. И в этом главное достижение революции против прежнего времени.

Ликвидатор замолчал. Ему хотелось о чем-то меня спросить, собирался и думал.

— А как вас по батюшке? — спросил он после долгого молчания.

Я сказал:

— Вот что, Михаил Михайлович, — спросил он, — об'ясните мне, что значит длительный парный брак?

— Вы это, наверно, по радио слышали? — сказал я.

— По радио,—ответил он,—Анатолий Васильевич Луначарский читал лекцию о семье в прошлом и в настоящем, а когда заговорил о современном строительстве для будущего, то очень рекомендовал эту форму: длительный парный брак. Скажите, разве может это происходить не парно?..

В этом роде мы еще долго беседовали, и это была важно и запало в меня, что толчок к беседе был от радио, и что разговор был на острове Кобылья Голова среди такого большого болота, что отдельные села не знают его общего названия.

---

С малых лет удивляло меня, что брошенное в землю семя потом растет само по себе, и человек не работает, а только дожидается Казанской (старое 8 июля), с которой у нас в Елецком уезде начинали косить рожь. Теперь то же самое бывает в литературной работе, когда нечто посеется в душе через впечатление и потом живет само по себе и, нарастая изнутри, непременно приводит к определенным, как бы заранее кем-то подстроенным встречам. По-моему, в этом-то и заключается почти весь секрет того литературного дела, которое художникам позволяет давать нам на бумаге ясную зримость жизни: секрет заключается в спокойствии, в этой выдержке хозяина впечатления, с которой он дожидается своей собственно Казанской.

Так я записываю в своей книжечке Радио на Кобыльей Голове и совершенно уверен, что скоро сама жизнь подведет меня к радио. Приходится так доходить своим опытом, отдаваясь как бы неведомым силам, потому что мы ведь не знаем ни эфира, ни тех волн, по которым передается нам чувство жизни всего мира. Я не верю в писателей, лишенных этого чувства, одним разумом, стилем, сюжетом, конструкцией и всякой архитектоникой тут не возьмешь, как все равно без земли при всей башковитости не станешь сельским хозяином.

Случилось со мной этим летом, сложная цепь жизненных обстоятельств подвела меня к розыску жилища в одном городке, неподалеку от Москвы. Когда я осматривал себе домик для жилья, то не обратил внимания, что от макушки высокого дерева в палисаднике над крышей в сад тянулась антенна. Когда же я потом через два месяца вернулся на зимнее житье к этому домику, то жилец, занимавший его до меня, еще не уехал. Это был радиотехник, Сергей Александрович, на столе у него был сложный аппарат с четырьмя катодными лампами. Оказалось, что весь этот аппарат он сделал своими руками и потому очень дешево предлагал его мне вместе с антенной и со всем своим электричеством в доме. Пришлось очень задуматься, дешево, любопытно, а с другой стороны, вспоминается ужасная труба на Никольской, которая летом по вечерам не давала мне заниматься в редакции «Охотника» (тоже на Никольской).

Я колебался. А радиолюбитель, напряженно серьезный молодой человек, рассказывал тем временем о своих достижениях: да, это, конечно, новая небывалая пора жизни молодых людей в провинции...

Я давно теперь уже устроился в этом домике и часто вижу из окна, как Сергей Александрович, урвав свободный час между своими службами, бежит по улице с корзиночкой, из которой виднеются сработанные им аппараты. Голова его работает на миллион, а дело выходит на гривенник и только что вот из-за этого гривенника и нельзя считать Сергея Александровича

вполне американцем. Так бежит он с корзиночкой устанавливать свой аппарат к какому-нибудь новому соблазненному им радиопотребителю. Другой, похожий на него член радио-кружка, едет на телеге в село или завод устанавливать громкоговоритель. Третий организует радио-выставку. Четвертый конструирует новый аппарат. Пятый украшает свой прибор: выливает из свинца две фигуры горнорабочих, один с киркой, другой с лопатой, и когда кирка коснется лопаты, аппарат приводится в готовность.

Слушая доводы Сергея Александровича, я долго не мог понять его, потому что на самых интересных местах чтения или пения, или музыки, в поисках лучшей слышимости, он постоянно обрывал пьесы и лишал ораторов голоса: он совершенно не обращал внимания на содержание и нужна ему была только слышимость. И когда я об этом сказал, он улыбнулся снисходительно, как столичный большой политик улыбается обывателю:

— Слушают радиопотребители, — сказал он.

После того я собрался отказываться: зачем же мне делаться радиопотребителем, если я могу все слышать и видеть в оригинале и читать в подлинниках.

Концерт станции имени Коминтерна кончался.

— Хотите послушать Англию? — спросил меня радиотехник.

— Неужели можно и Англию?

— Вот зато мы и называемся любителями, а не потребителями: мы ищем в эфире волну и когда находим и удается разобрать всего два слова иностранных, вот у нас бывает радость! Великое, скажу я вам дело, декрет о свободе эфира!

Я первый раз слышал о таком декрете к словам Лермонтова: вольный сын эфира.

А Сергей Александрович уже ловил где-то в этом свободном по декрету эфире английскую волну. Таинственно светились на аппарате четыре катодные лампы. Современный волшебник, канцелярист Красного Креста, Сергей Александрович повертывал разные ручки.

— Плохо, — шепчет он, — на пути в Англию где-то в эфире гроза.

Переждали немного грозу. Где она была, у нас, в Германии, Франции или в Англии?

Вдруг что-то визгнуло и взвыло.

— Мы близки, — сказал радиотехник, — мы бродим где-то около самой волны.

Он повернул ручку в другую сторону и тут опять сильно визгнуло, получилось что-то вроде недолета и перелета снаряда, надо теперь взять посередине и тут будет волна.

— Неужели Англия?

Я не разобрал цельной фразы на мало знакомом языке, только понял, что английский язык был настоящий, и этого было достаточно. Не в словах и пьесах тут дело, даже не в этих электрических волнах, а что одновременно с этими волнами в себе самом бежит волна ощущения мира. Техническая волна не всегда сопровождается волной душевной. Мы еще не знаем ни этого

эфира, ни этих волн, по которым добегает до нас радость о величии мира и его цельности. Но мало того, мы еще не умеем ловить в себе это волнение, придавать ему значительность, по крайней мере хотя бы такую, как радиоволнам. И вот потому наверно так называемая деловая сторона изобретения побеждает, и поэты вопят о мещанстве цивилизации.

Я считаю себя счастливым, что пережил вместе с русским народом революцию: я постиг, голодая, солнечную природу черного хлеба, прикованный к месту в болотных лесах, я научился понимать свисток паровоза, а после смоленской лучины я до сих пор и, наверно, до самой смерти буду, зажигая некоптящую электрическую лампочку, расширяться душой вместе с светом и улыбаться теням моих убегающих мелких врагов.

Бывает, и еще испытываешь в себе какой-то внутренний интернационал, когда очень долго идешь по земле с горизонтом, закрытым лесами, и вдруг открывается где-то внизу простор воды. Что-то очень близкое к этому было мне, когда я впервые услышал волну, передавшую мне звуки из далекой страны. Я понял сразу, почему и Сергей Александрович отделяет себя от просто потребителей радио, почему не спит по ночам, придумывает какие-то свои особенные детекторы...

Колебания мои кончились. Я купил себе аппарат, заплатил на почте налог за радиоустановку, достал номер «Известий» с декретом о свободе эфира и сделался настоящим радио-любителем.

---

Мне часто кажется, что мы, люди старшего поколения, многое могли бы скорее понимать в современности, чем молодежь: у них сравнивать не с чем. У нас, впрочем, другая трудность, — поднять пласты пережитого, трудно их поднимать, но зато если удастся, куда им молодым угнаться за нами. Смутно встает в моей памяти время, когда царское правительство задумало бороться с хулиганством и пьянством и предоставило какие-то особенные права обществам трезвости и их чайным. В какой-то чайной, помню, из-за этой трезвости водку подавали в чайниках и, что особенно возмущало либеральных людей вроде моей старушки, что агенты министерства финансов тихонько поощряли это распивание водки в чайниках обществ трезвости. Моя старушка в то время, не обращая внимания на пахучие чайники, читала тут пьяницам Толстовские вещи, вроде: «Упустишь огонь, не потушишь», рассказы Короленко и другие тому подобные высокохудожественные и целительно-нравственные вещи.

Вот я часто думаю, — поднять бы теперь мою старушку и посадить за радио: какая грандиозная кампания и сразу на всю страну. В иных местах громкоговоритель работает на тысячи людей, один только, а в нашем уезде, например, в каждой волости по трубе.

К сожалению, мой аппарат находится в безнадежном углу, в хвосте последней улицы, воспитанной четырьмя кабаками. Это настоящая прежняя Растеряева улица, и нравы ее мало изменились с тех пор. Сосед мой, Иван Никитич, последний пьяница. Жена его, Ариша, взялась нам воду носить. Вместе с водой Ариша приносит нам ежедневно короба новостей из жизни

нашего хвостика последней улицы города. Мы даже знаем сегодня у кого за обедом арбуз и завтра узнаем, что арбуз оказался недозрелым и его намочили, и что моченый арбуз может иногда доставить удовольствие не меньше, чем свежий. Уличной газетой Ариша стала потому, что у нее трое детей, а муж Иван Никитич все пропивает. Потому ей необходимо ходить из дома в дом весь день, кому воды принесть, кому сбегать в лавочку, кому постирать, кому вымыть полы. Пока все это она делает, дети ее без призора бродят по улице. Мы не раз убеждали Аришу отдать детей в колонию. Но не так ей в этом мешал эгоизм материнского чувства, как страх, что пьяница муж сожжет ее собственный домик.

Однажды Ариша принесла новость исключительного интереса: на соседней улице появился с в я т о й в голубой рубашке и с крестом на красной ленточке. С в я т о й, по словам Ариши, всегда говорил одно и то же, против пьянства.

— Ал-ко-хо-ля, — выговаривала Ариша.

Местные власти, по словам Ариши, не мешали с в я т о м у собирать большие массы народа, потому что теперь идет борьба против хулиганства и пьянства и, главное, что крест у с в я т о г о висит все-таки на красной же ленточке. Множество несчастных женщин повели своих пьяниц мужей записывать их у с в я т о г о от пьянства.

Я не ходил к этому проповеднику, потому что по старому времени отлично знал этот тип братцев-трезвенников, знал, что встречу там ту же знакомую мне толпу настрадавшихся в мелочах распыленной жизни женщин, мужей-неудачников, в трезвом виде смиренных, в пьяном призрачно гениальных. Надоела до крайности и в старое время вся эта мармеладовщина. Все то же и теперь с той только разницей, что братец водку называет алкоголем и носит крест на красной ленточке.

Ариша свела к братцу Ивана Никитича, он записался, дал обет. Началась у соседей новая жизнь. Иван Никитич стал скупать старых лошадей, продавать дешевое мясо и всем говорил: «Богатые на деньги, голь на выдумки». Ариша весь месяц ходила счастливая и всем говорила о муже: «Руки у него золотые».

Но вот что-то случилось с братцем, разное говорили об этом: уехал в Москву и не вернулся. Ждать-пождать — нет! С в я т о й пропал совершенно. Пьяницы скоро воспользовались этим и один за другим стали сами себя разрешать от обета. Иван Никитич боролся некоторое время, но кончил, как все: запил мертвую.

Ариша после счастливого месяца до того озверела, что пьяного била табуреткой, с трезвым не разговаривала и морила голодом. С каждым днем нарастала у соседей беда, а с в я т о й исчез в Москве совершенно.

Однажды пришла к нам Ариша вовсе убитая. Чтобы развлечь ее немного, я усадил ее за радио и устроил ей на пружине по голове телефон на оба уха: в две трубки мой аппарат передает даже дыхание оратора. Несколько минут Ариша слушала равнодушно, и вдруг глаза ее засверкали, знаками она стала меня подзывать. Я отделил одну трубку, приставил себе

к уху, — ничего, казалось, не было особенного: обыкновенная анти-алкогольная лекция. Я шепнул:

— В чем дело, Ариша?

Она шепнула мне:

— Ал-ко-холь.

И я догадался.

— Ариша, — сказал я, — ты думаешь, это *он*?

Ариша мотнула головой, боясь пропустить какое-нибудь слово из анти-алкогольной лекции.

Я убедился окончательно: Ариша думала, что это *святой* из Москвы говорит. Но я думаю больше, Ариша представляла себе, что *святой* вроде как бы живым взят на небо и оттуда проповедует пьяницам трезвую жизнь.

После окончания лекции вдруг была об'явлена камерная музыка. Ариша положила трубку на стол: ей было не до музыки. Ариша стала упрашивать меня завлечь сюда Ивана Никитича: не удастся ли как-нибудь записать его святому по радио.

# 13 повешенных.

**П. Равич.**

13 июля ночью 13 человек были повешены в Смирне по приговору «суда независимости» за организацию покушения на президента Турецкой Республики Мустафу Кемаля пашу.

Бывшие министры и депутаты болтались на виселицах рядом с бандитами и вокруг виселиц, окруженных цепью жандармов, стояла равнодушная восточная толпа.

Смирнский процесс — замечателен тем, что в качестве обвиняемых на нем фигурировали такие крупнейшие политические деятели Турции, как Киазим Карабекир паша, Али Фуад паша, Рефет паша, Джафар Таяр паша, бывшие министры—Кара Кемаль, Джембулат бей, Шукри бей, Бекир Сами бей и т. д. и значительная часть депутатов меджилиса (всего около 60 человек)— явился завершением той борьбы, которую крупная буржуазия, связанная с иностранным капиталом и опиравшаяся на все еще сильную, хотя и нелегальную организацию «Единение и Прогресс», вела с турецкой «народной» партией, и этапы которой только теперь выявились с такой необычайной яркостью.

После поражения Турции в мировой войне великая иттихадистская тройка — Талаат-Энвер-Джемаль — бежит из боязни перед репрессиями союзников. Все остальные виднейшие деятели партии ссылаются англичанами на Мальту. Мустафа Кемаль паша, бывший в оппозиции по отношению к большинству партии и к ее верхам, устремляется вглубь Анатолии и об'единяет там остатки национальных сил Турции для борьбы за ее освобождение от интервенции. К нему примыкают отдельные паши и политические деятели из состава иттихадистов, но сама партия «Единение и Прогресс» и ее главари не теряют надежды на захват власти. Это не удается, потому что партия в целом скомпрометирована перед народными массами, потому что левое крыло кемалистов отвечает на эти попытки репрессиями. Создается другой план: иттихадисты входят в народную партию с тем, чтобы ее взорвать изнутри. Они муссируют внутрипартийные разногласия, разрывают с кемалистами, образовывают новую «республиканско-прогрессивную» партию и об'единяют вокруг нее все оппозиционные элементы страны.

Развивающееся национальное движение, возглавляемое Кемалем пашой, становится все более революционным. Земельные и внутренние реформы во-

оружают феодалов против правительства, религиозные — восстанавливают против него крайних реакционеров, экономические — введение монополий, перенесение налогов с крестьянских масс на города, централизация — в корне подрывают интересы портовой буржуазии, связанной с иностранным капиталом. Основное ядро партии все более левеет, оно стремится ввести жесточайший режим экономии для восстановления разрушенного сельского хозяйства и индустриализации страны, оно все более стремится к демократизации власти, которая вытесняет старых генералов и сановников — и это создает генеральскую оппозицию.

Иттихадисты под новым и внешне левым ликом «республиканских прогрессистов» пытаются использовать реакционные силы страны для свержения кемалистского правительства; начинаются волнения на окраинах, все более сильная оппозиция в парламенте, наконец, вооруженное восстание. Но в этой борьбе с реакцией кемалисты все более левеют, они отвечают репрессиями и об'являют крестовый поход против реакции.

Для старых иттихадистов, применявших в политической борьбе все методы, начиная от подкупов членов парламента и кончая убийствами, остается один выход — убить Кемаль пашу, поднять вопль о потере единственного вождя Турции, который способен был вести ее по самостоятельному и независимому пути, и потребовать образования правительства, об'единяющего все без исключения политические течения в стране. Остается войти сначала частично в правительство, а затем захватить власть целиком в свои руки.

Случайность сорвала этот план, и те, кто его задумал, погибли. Турецкая реакция потеряла своих крупнейших вождей. В лице их перед нами встают тени мастеров политической школы классических иттихадистов, переложивших практические методы управления, унаследованные от Абдул Гамида, на новые конституционные рельсы. Первый из них—Кара Кемаль. Мелкий телеграфный чиновник, жалкий провинциал, он высылается Абдул Гамидом из Кастамуни и случайно знакомится с Талаатом, который тогда тоже был телеграфистом. Переворот делает Талаата всемогущим. Кара Кемаль назначается начальником личного состава министерства, но вскоре уходит оттуда и целиком отдается политике. Он проникает в константинопольский комитет партии и к концу войны получает портфель министра снабжения.

Его коллеги по кабинету блистают роскошью, ведут широкий образ жизни, пытаясь подражать величию старого султанского кабинета. Кара Кемаль похож на нищего. Мрачный пьяница, завсегдатай публичных домов и кабаков, кумир константинопольской черни, он проводит дни в своем бедном жилище, лежа с наргиле в зубах, окруженный клевретами, которых он обогащает, не беря ничего себе. Он создает из своего министерства преданную ему криминальную банду. Его влияние увеличивается. Он вступает в споры с могущественным триумвиратом, но поражение Турции разгоняет вождей «Единения и Прогресса» в разные стороны: Кара Кемаль на Мальте. Оттуда он едет в Берлин и возвращается в Турцию, славословя Кемаля пашу, но при первых же спорах присоединяется к оппозиции. Он сталкивает лбами пашей и сеет раздоры среди кемалистов, он придумывает взрыв народной партии

изнутри и, наконец, составляет программу прогрессистам, не входя ли ..и в их состав. Он следит сзади и направляет игру. Игра проиграна, прогресси.. ц разбиты — Кара Кемаль от парламентской оппозиции переходит к орга..изации покушения на Кемаль пашу. Неудача. Суд. Приговор. Но Кара Кем ..и не сдается: ведь его еще нужно найти. Правительство назначает нагр..у в 10.000 лир за его голову. Кара Кемаль пишет письмо начальнику конст..нтинопольской полиции о том, что он и не думает уезжать из Стамбу..а. Его губит случайность. В одном глухом квартале старая женщина, прох..дя мимо маленького дома одного мелкого чиновника, видит в окне страш..ое заросшее лицо обезьяно-человека. Она бежит в полицию, там после расспросов подозревают, что это Кара Кемаль. Дом окружается, в доме нахо..ят только кучу газет. Ищут его во дворе. Полиция уже собирается уходить, ..но из курятника струйкой вьется папиросный дым. Взламывают дверцу, раздае..ся выстрел: в курятнике, в птичьем помете, скорчившись лежит грязный и ..аросший волосами Кара Кемаль.

Полной противоположностью Кара Кемалю являлся другой лидер кл..ссических иттихадистов Измаил Джамбулат бей.

Сын мелкого жандармского офицера, Джамбулат родился в эпоху, ко..да черкесы были в моде. По окончании военной школы он быстро дошел до ка..итанского чина и вступил в младотурецкую организацию. Его отличительн..ми чертами были: бесстрашие, громадная сила воли и исключительное често..юбие. Во время переворота он убил собственноручно полковника Нази..а. После переворота его карьера была одной из самых блистательных для ..то молодых лет: генерал-губернатор Принцевых островов, начальник тайной ..олиции, префект Константинополя, министр внутренних дел — он уже на..инал вызывать опасение у тройки своей независимостью, властностью ха..актера и самоуверенностью [1]). Сосланный на Мальту, он вернулся тем же, и его единственным принципом была бессменность власти для иттихадистов.

На суде он держался бесстрастно, резко и с громадным достоинством. ..Он шел на казнь совершенно так же, как поднимался на ораторскую триб..у в меджилисе. Говорят, что он протер платком пенснэ, прежде чем сун..ть голову в петлю.

Непосредственными руководителями покушения на президента Тур..цкой Республики были Шукри и Зия Хуршид.

Шукри был тоже одним из видных иттихадистов. Первоначально у..итель математики в Кастамуни, он переводится директором лицея в Салон..ки и там примыкает к младотуркам. После переворота в 1908 г. он назначае..ся одним из губернаторов Македонии, товарищем министра внутренних де..л и,

[1]) Он был настолько последователен в своих действиях, что однажды, приеха.. в Берлин с официальной миссией и проходя мимо почты, где у него не приняли заказн..го письма на турецком языке, а предложили написать адрес по-французски, он решил немедленно, что он не может оставаться ни часа в стране, где принимают письма на яз..ке страны неприятеля и игнорируют язык союзников. Он пришел в отель, написал об э..ом письмо в министерство иностранных дел и уехал в этот же день с первым поездо.. в Турцию.

наконец, министром просвещения. Шукри был известен, как организатор террористической группы, расправлявшейся без ведома центрального комитета партии «Единения и Прогресс» с ее противниками. В этом смысле его мрачная слава достигла апогея, когда он при посредстве Абдул Кадыра убил Ахмета Салим бея. Он стал опасен даже для самого центрального комитета, и группа его была ликвидирована тем, что члены ее получили высокие назначения в разные части страны. Он вел себя на суде так же, как и другие повешенные, хладнокровно, мужественно и настолько сдержанно, что его показания почти не давали материала для обвинения всей партии иттихадистов в целом.

Зия Хуршид — взявший на себя прямую задачу выполнения покушения — чужой человек для иттихадистов. Настолько молодой, что он был бы призван в армию, если бы не подделал своего паспорта; он выдвинулся в момент расцвета борьбы за независимость. Он был одним из соратников Кемаль паши и не имел с ним принципиальных разногласий. Отодвинутый на задний план, он был взбешен и искал новых путей для своего честолюбия. Молодой, очень красивый, громадного роста, цветущий человек с избытком сил, он был жертвой своего темперамента. Иттихадисты им воспользовались для своих целей, и он, того не замечая, сделался их игрушкой. Он понял это слишком поздно, когда после ареста его вызвал к себе Кемаль паша и очень долго с ним беседовал. В злобе он раскрыл все комбинации иттихадистов, все детали заговора. Зная, что он будет повешен, он бравировал своим хладнокровием. Подойдя к виселице, он сказал цыгану-палачу, приготовившемуся накинуть на него петлю: «Что ты беспокоишься, ведь она предназначена для меня, а не для тебя, спешить некуда, все равно через пять минут я буду разговаривать с твоими предками». Перед казнью он побрился, надушился и написал на листках французского романа «Сад любви», который он читал:

«Моя маленькая жена, передай нашему малютке, чтобы он никогда не занимался политикой, прости меня за то, что я сделал тебя несчастной, и скажи моей сестре Саэие, чтобы она жила вместе с тобой».

# Все проходит.

(Из литературных воспоминаний.)

## Н. Телешов.

## Кружок «Среда».

I.

На моей памяти, около 80-х годов, Москва не отличалась обилием общественных организаций. Отдельные писательские кружки существовали почти только при редакциях, за немногими исключениями и были крайне малочисленны. Писателей в Москве тоже в то время жило сравнительно очень немного; все они устремлялись к центру — в Петербург, в «писательскую Мекку», как шутили иногда сами же писатели. Но как ни была придавлена общественность, жизнь делала свое дело. Дух не угасал. Как ни старались раз'единить людей, но люди все-таки встречались, стремились друг к другу, и общение не умирало. Это общение, этот пульс культурной жизни поддерживались несколькими очагами, и в их числе Малым Театром, в котором многие люди того времени и в частности лично я находили первые источники вдохновения, красоты, под'ема духа, смысла жизни и, просто-на-просто, культурного воспитания и сознательности.

Далеко не все современники имели счастливую возможность быть окруженными культурным обществом, слышать убедительные слова о высоких человеческих идеалах, видеть высокие примеры, загораться светлыми порывами, исходящими от окружающих. Нередко, а то и обычно, людей окружает проза жизни, та практическая сторона ее, которая приближается к заботам о завтрашнем дне, о будущем гнездышке, об узком эгоистическом благополучии; можно было прожить целую жизнь, и не услышать ни от кого вокруг ни единого слова об ином долге, об иных обязанностях, о самопожертвовании, о любви к истине и преданности высоким идеалам, о красоте и величии искусства. Недаром же говорилось в то время, что в Москве два рассадника истинного просвещения: Московский Университет и Малый Театр. И оба они, каждый по своей линии, давали тон — думаю, что не ошибусь, если скажу — для всей России.

В репертуаре Малого Театра мы привыкли встречать, помимо русских классиков — Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Островского, еще и классиков иностранных: Шекспира, Шиллера, Гете, Гюго, Кальдерона, Мольера, Лопе-де-Вега... Нас знакомили с выдающимися произведениями мировой литературы, и при этом в замечательном исполнении. Со сцены широким потоком лилась в зрительный зал вековечная правда жизни, справедливость к униженным и угнетенным и красота всепрощающей любви. Чуткая молодежь, в душе которой горели те же огни, созревали те же отношения к явлениям жизни, ловила каждое слово, звучавшее в тон, — и между зрителями и актерами росло и крепло трогательное единение. Выходили из театра удовлетворенные, освеженные, с высоким под'емом. Немыслимо

было в то время притти в Малый Театр, видеть Ермолову и не заразиться общим настроением, общей любовью к ней. Ермолова никогда — я бы сказал — не играла роль; она в буквальном смысле слова — жила на сцене жизнью той женщины или девушки, имя которой она в этот вечер носила. Она не играла, она горела. Героический энтузиазм, пламенное вдохновение — ее стихия. Все эти определения, много раз повторенные в разное время, совершенно верны и точны, и их не избежишь. Талант восторженный в высокой любви и гневный в борьбе за высокое. Страстная любовь к свободе и не менее страстная ненависть к тирании — вот внутреннее содержание игры Ермоловой — по счастливому определению современников.

Помимо Малого Театра большое общественное дело творили еще и художники-передвижники. Их выставки являлись не только праздником, но прямо-таки событием в жизни Москвы. Они тоже брали и мысль и душу человека, увлекали ввысь и возвращали их обновленными и просветленными. И здесь так же, как в Малом Театре, росло и крепло между зрителем и художником чуткое единение. Почти не бывало такой выставки, где бы зритель оставался холоден и спокоен; его всегда умели чем-нибудь взволновать и увлечь. И волновали изумлением и восторгом, а иногда и, буквально, потрясали сердца. Невозможно, конечно, перечислять то замечательное, что появлялось на этих выставках и что во многих случаях переходило потом в Третьяковскую галлерею, которая сама в это время росла и приобретала европейское значение. Такие произведения, как «Грешница» Поленова, или Сурикова «Боярыня Морозова», или Репина «Иван Грозный», или полотна Васнецова, являлись выдающимися событиями на выставках и порождали вокруг себя целую литературу; все газеты долгое время были переполнены похвалами, спорами и доказательствами за или против.

Неот'емлемую и типичную принадлежность Москвы того времени составляла еще и газета, издававшаяся много лет — с 1863 года — и служившая как бы флагом значительной части московского общества. Это — «Русские Ведомости».

Все это вместе взятое — и Малый Театр, и передвижники, и «Русские Ведомости» — создавало атмосферу, в которой жила духовною жизнью, воспитывалась и закоренялась, ныне уже старая, московская молодежь 80—90-х годов.

Раз'единить людей не удавалось. То Общество Любителей Российской Словесности с его почтенными профессорами, с маститыми писателями и молодыми, уже известными беллетристами привлекало людей на свои заседания в правленский зал Университета, то Общество Любителей Художеств об'единяло свою молодежь на субботних вечеринках на Дмитровке, где среди таких мастеров, как Поленов, Маковский, Суриков, братья Васнецовы, появлялись Левитан, Серов, Коровин, Головин и др., где, после специальных докладов и прений, просматривали новые художественные журналы чуть не всех русских и иностранных изданий, или играли в шахматы, а иногда слушали концерт, в виде товарищеской услуги, устраиваемый местными и приезжими артистами, нередко знаменитостями, — а в заключение садились за ужин, стоивший «полтинник», с разными закусками, крымским вином и одним горячим блюдом. Непринужденность, простота и безусловная свобода мнений делали эти ужины заразительно веселыми и интересными. На один из таких вечеров С. И. Мамонтов привез высокого беловолосого юношу, Шаляпина, на которого указывал как на будущую крупную величину. Имя его было мало кому известно, и вряд ли кто рассчитывал, что этот юноша через полчаса произведет на всех такое, исключительное по силе, впечатление, какое он произвел в тот вечер.

Эти заседания, чтения, беседы, группы и встречи то тут, то там — все это было одним явлением, все это была яркая, стремящаяся, талантливая Москва, которую удерживать по одиночкам вряд ли было кому-нибудь под силу. Наконец, в 1898 году открылся Художественный Театр под руководством К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сразу завладевший общим вниманием. Об об-

щих интересах актеров, художников и литераторов заговорили еще больше и настойчивее. А через несколько месяцев был подписан Устав, и народился в скором времени Московский Литературно-Художественный Кружок, который имел в течение 20 лет большое значение в культурной и общественной жизни Москвы.

II.

С течением времени в Кружке собрана была большая и содержательная библиотека с массой автографов. Картины лучших русских художников и живописные портреты украшали многочисленные комнаты. В залах устраивались выставки и концерты, спектакли и дебаты по вопросам искусства. Почти все общественные организации Москвы, у которых не было своего помещения, имели в Кружке приют для заседаний, всегда без отказа и без всякой платы. Здесь же обычно справлялись торжественные юбилеи и давались банкеты заезжим знаменитостям. Таковым почетным гостем Кружка был между прочим Эмиль Верхарн в 1913 году; с эстрады, в мраморном зале, он читал свои стихотворения.

Незанятых вечеров в Кружке почти не бывало, но особенно наполнялся он по субботам. Иной раз в один и тот же вечер — в одной комнате происходит схватка реалистов с декадентами, в другой рассматривается проект закона о печати, поданный в Государственную Думу, или составляется записка об авторском праве; в концертном зале в это же время поют и декламируют, а затем танцуют «до петухов» с какой-нибудь благотворительной целью, а в столовых суетятся официанты в зеленых мундирах с золоченными пуговицами, подавая — кому кружку пива с белым хохлом пены, кому бутылку шампанского в никкелированном ведреце со льдом, одному — стерлядь, или рябчика, другому — бутерброд с колбасой, или стакан чая. Такие крайности во вкусах и аппетитах, а также в «валюте» блюд за одним и тем же столом уживались отлично и безобидно.

Близ полуночи, когда в Кружок со всех концов Москвы стекались отыгравшие спектакль артисты и зрители из театров, редакторы и писатели, покончившие дневной труд, секретари газет, идущие через час на ночную работу, выпускать завтрашний номер, и разного рода таланты и их поклонники, в залах Кружка можно было встретить одновременно и черный сюртук и серый пиджак и домашнюю куртку с цветным воротничком рубашки, а рядом щегольской фрак с белоснежной сорочкой и батистовым галстуком, строгую женскую фигуру в темной кофточке, наглухо застегнутой, нередко в очках и с подстриженными волосами. И тут же, в столовой, приехавших с парадного концерта декольтированных дам, с собольими боа, с пышными прическами и розовыми ушами, в которых мелкими голубыми искрами вспыхивают грани серег, с счастливыми улыбками, еще неуспевшими остыть от пережитого только что успеха и грома аплодисментов.

В специальных комнатах идет своя жизнь: играют в карты, в шахматы, на биллиарде; читальный зал всегда наполнен, так как на столах разложены всевозможные столичные газеты и журналы, много провинциальных изданий, а также последние книжные новости. Здесь полная тишина; ходят бесшумно по мягким коврам и не разговаривают... В Кружке был образован, памяти А. П. Чехова, особый комитет с целью выдавать ссуды и пособия нуждающимся артистам, писателям, художникам и музыкантам; через этот комитет и вообще на дела помощи Кружком было выдано за 15 лет, судя по отчету, 248 тысяч рублей.

Но все это было в расцвет его существования. А в 1899 году первое помещение Кружка было чрезвычайно скромное — на углу Воздвиженки и Кисловского переулка. Оно состояло из большой квадратной залы, из длинной и узкой столовой, переделанной из бывшей оранжереи, и еще из одной комнаты в подвале, где был устроен буфет и стояла огромная, до потолка, дубовая бочка с крупной латинской надписью: «In pivo veritas».

Во главе дирекции стали: А. И. Урусов, А. И. Сумбатов, В. А. Гольцев, Ф. О. Шехтель и другие представители литературы, театров, художества, музыки и общественности. Малый Театр пришел, кажется, инкорпорэ, со всеми своими знаменитостями; по крайней мере, привычно было встретить там по субботам М. Н. Ермолову, Г. Н. Федотову, Н. А. Никулину, не говоря уже о мужчинах Театра. Большой Театр был представлен лучшими своими артистами как оперы, так и балета. Газеты и журналы дали своих редакторов и виднейших сотрудников; актеры и представители частных театров, известные адвокаты, врачи, педагоги, выдающиеся художники, архитекторы, профессора Университета и Консерватории, общественные деятели — все они, по словам лермонтовского стихотворения, «все промелькнули перед нами, все побывали тут».

Такого обилия выдающихся имен и лиц вряд ли когда можно было встретить одновременно, и при том в такой товарищески-семейной обстановке, без чинов и претензий. Публика бросилась в Кружок, чтобы видеть всю эту «знать» и побывать среди них запросто. Но дирекция была строга, посторонних не принимала, и только изредка, каким-нибудь, особым случаем, почти что чудом, забредал сюда на вечер гость, не иначе, как чей-нибудь близкий знакомый. Все чувствовали себя как дома, вполне непринужденно, и потому нередко составлялся то внезапный концерт, то хор из самых лучших солистов, то беседа, то просто товарищеский ужин, где все, сидящие за одним бесконечно длинным столом, об'являлись председателем между собою знакомыми, независимо от того, были они раньше знакомы, или не были. Было необыкновенно просто все и непринужденно. Во время ужина вставали, произносили речи, тосты, шутили, острили, спорили, смеялись. Здесь же за ужином велись и деловые разговоры и устраивались деловые встречи. Был здесь и карточный столик — один на весь Кружок; стоял он в подвале, возле пивной бочки, и за ним сиживали преферансисты или винтеры, нередко с громкими артистическими именами. Было повсюду необычайно просто, весело и приятно, особенно в первые месяцы. Все перезнакомились между собой, все чувствовали, что наконец устроился общий дом, где можно отдыхать, быть свободным и проводить время как захочется. Особенно интересно бывало по субботам, когда в Кружке собиралось много народа и сидели чуть не до утра.

Но как ни желателен был отдых в такой интересной компании, как ни приятны были общие встречи и развлечения, все-таки писательская группа, по своей малочисленности, была одинока. В собраниях Кружка еще не было той общественности, которую он приобрел с годами, и не было той интимности, какую так ждали и искали писатели для своих товарищеских встреч и бесед.

Небольшая группа моих личных литературных друзей продолжала, как и раньше, время от времени собираться у меня в квартире и делиться всякими новостями и впечатлениями.

Сначала это была небольшая группа, в несколько человек. Из самых давнишних моих друзей, работающих и сейчас в литературе, были: С. Д. Разумовский, писавший в то время книгу о Гамлете и готовившийся к драматургии, и И. А. Белоусов, переводивший Шевченко и печатавший по небольшим журналам свои простые, ласковые стихи о труде и природе. Затем примкнули к нам В. М. Михеев, братья Бунины и С. С. Голоушев, известный в качестве художника — как С. Сергеевич, и в качестве литератора — как Сергей Глаголь, большой любитель и знаток искусства и увлекательный оратор. Он умер сравнительно недавно, в июле 1920 г. в возрасте, позволяющем назвать его стариком: ему было 65 лет; но все, кто знавал его, все его многочисленные товарищи по искусству, по общественности, по медицине (он был врач, по специальности гинеколог), и еще более многочисленные ученики и ученицы по художеству и по театру, могут подтвердить, что в этом 65-летнем муже горела молодая душа, и не только молодая, но юная. Зрелый и хороший ум его охватывал и анализировал явления, а горячее сердце, склонное к увлечениям, дополняло это понимание любовью к явлениям, самой искренней,

молодой и настоящей, оттого и все его работы, многочисленные театральные статьи, художественные оценки, монографии художников, его студийные лекции по искусству — все это полно увлечения, заражающего читателя и еще более слушателя; особенно увлекателен он был как оратор, и менее всего заметен, пожалуй, как беллетрист.

Обычно, Голоушев сообщал нам много интересного про художников, про их новинки, про новые течения, а Михеев рассказывал нередко о новых пьесах Ибсена, начавшего в то время сильно интересовать и волновать общество, и о других иностранных писателях, чьи произведения еще не были переведены по-русски, и мы знакомились с ними ранее многих других по пересказам и отрывкам. Юлий Бунин осведомлял нас о революционном движении в прошлом и настоящем, рассказывал о крупных деятелях революции, с которыми он был лично знаком, и вообще держал нас в курсе. Эта небольшая товарищеская группа и явилась основой того кружка, которому суждено было впоследствии сыграть заметную роль под названием Московской Литературной Среды и об'единить большинство самых видных и крупных писателей девяностых и девятисотых годов.

Почти каждый раз кто-нибудь из писателей читал у нас свое новое произведение, о котором присутствующие давали тут же свои откровенные отзывы. Посторонних никого не бывало, и высказываться вполне искренно и без стеснений никто не мешал. А это было очень нужно тогда, потому что большинство из нас были еще молодыми людьми и только что начинали выходить на дорогу. Мы нисколько не разочаровывались в Кружке; напротив, — любили бывать там по субботам, желали ему всякого блага и, чем могли, содействовали ему. Но того, что было нам необходимо, он дать нам в то время еще не мог. Он дал нам очень много хорошего, но несколько позднее.

## III.

Мало-по-малу наш товарищеский кружок начал расширяться. Пришли к нам писатели: Сергей Терентьевич Семенов, автор крестьянских рассказов, выгодно отмеченных Л. Н. Толстым, который называл их «значительными, так как они касаются самого значительного сословия России — крестьянства, которое Семенов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенскою тягловою жизнью». Пришел А. М. Федоров, поэт и романист, живший в Одессе, но часто бывавший в Москве; затем появились Евг. П. Гославский, Н. П. Ашешов, Н. И. Тимковский. В это время издавалась в Москве газета «Курьер», под редакцией Фейгина и Новика, людей свежих и энергичных, которые пытались об'единить всю нашу молодую группу; в этой газете начал работать в качестве судебного репортера Л. Н. Андреев, но его никто из нас еще не знал. Да он в то время и сам еще не знал, что он беллетрист.

Стали бывать у нас и художники: А. Я. Головин, К. К. Первухин, В. И. Росинский, написавший впоследствии с Андреева портрет, самый удачный по сходству из всех, мною виденных, тот самый, с которого изданы Кнебелем репродукции и выпущены открытки; этот портрет связан со «Средою» и находится теперь в Чеховском музее. Бывали также Ап. М. Васнецов, Эмилия Шанкс, В. Я. Тишин, И. И. Левитан. Впрочем, Левитан бывал только в начале кружка: он вскоре заболел и умер. Через год кружок уже значительно разросся, и мы стали собираться еженедельно, сначала по вторникам, потом по средам, не избегая суббот Художественного Кружка, имевших для нас иной интерес и иную привлекательность.

Однажды зимою мне довелось быть в Нижнем-Новгороде. Проходя по улице, я встретился с высоким молодым человеком с длинными почти до плеч волосами. Он нес в руке несколько книг. Несмотря на мимолетность встречи, его лицо мне запомнилось. И лицо, и несколько сутулая фигура, и ясный взгляд.

На следующий день я прочитал в местной газете письмо в редакцию, за подписью: Максим Горький. Он обращался к жителям города с просьбой помочь устроить для детей бедняков каток на реке и просил присылать к нему на квартиру по указанному адресу коньки, ремешки, деньги. Пользуясь адресом, я и поехал к нему. Ко мне в прихожую, когда я позвонил, вышел отпереть дверь тот самый молодой человек, которого я встретил на улице. Познакомились просто, без всяких предисловий. Он взял меня за руку и сам повел в комнату, вызвал жену, Екатерину Павловну, познакомил с нею, потом куда-то вышел и сейчас же вернулся с ребенком на руках, завернутым в теплое одеяло.

— А это вот Максимка — сын мой.

Стал расспрашивать о Москве, о писателях московских, большинство из которых он знал. Спросил про Ивана Бунина: говорят, он большой юморист, правда?.. Очень интересовался нашим кружком и обещал быть непременно у нас, чтобы со всеми познакомиться.

— Как только попаду в Москву, обязательно буду у вас на Среде.

Говорили много о Художественном Театре, о газете «Курьер», об эксплоатации издателями писателей и, когда я ушел, мне казалось, будто я знаком с ним по крайней мере лет десять. На самом же деле я только тут узнал, что его зовут Алексеем Максимовичем и что фамилия его — Пешков.

Горький наезжал нередко в Москву, и всегда бывал на наших средах. По его словам, ему нравились эти товарищеские собрания, где в интимном кругу молодых писателей сами авторы читают свои новинки, еще непоявившиеся в печати, самые свежие, прямо из-под пера, а товарищи высказывают о прочитанном свои откровенные мнения.

«Хочется мне, — писал он мне однажды из Арзамаса, куда был выслан из Нижнего, — чтоб вы поближе привлекли к себе Андреева: славный он, по-моему, и талантливый»...

Вскоре после этого Горький приехал в Москву и в первую же среду привез к нам Андреева. Это был молодой человек, типа студента, с красивым лицом, с небольшой бородкой и черными длинными волосами, очень тихий и молчаливый, одетый в пиджак табачного цвета. В десять часов, когда обычно начиналось у нас чтение, Горький предложил выслушать небольшой рассказ молодого автора.

— Я вчера его слушал, — сказал Горький, — и, признаюсь, на глазах у меня были слезы.

Но Андреев смутился, заскромничал и стал говорить, что у него болит горло, что читать он не может.

— Тогда давайте, я прочитаю, — вызвался Горький. — Рассказ называется: «Молчание».

Он вынул из кармана тоненькую тетрадку и сел к лампе.

Чтение длилось около получаса. Андреев сидел рядом с Горьким все время не шевельнувшись, положив ногу на ногу и не сводя глаз с одной точки, которую он выбрал где-то вдалеке, в полутемном углу. Конечно, он чувствовал, что на него все смотрят. Но вряд ли он чувствовал в то время, что каждая страница сближает с ним этих, хотя и знаемых, но все же чужих ему людей, среди которых он сидит точно новичек в школе. Всем было ясно, что в лице этого новичка Среда приобретала хорошего талантливого товарища.

Не знаю, почему так случилось, но среди молодых писателей появилась вдруг тяга к Москве. Перебрались в Москву Е. Н. Чириков и Серафимович; поселились Скиталец, потом В. В. Вересаев; наезжал очень часто А. И. Куприн, жил драматург С. А. Найденов, Леонид Андреев; всегда стал зимовать И. А. Бунин. Все они были членами Среды и ее постоянными посетителями.

Андреев с первого же вечера сделался в Среде своим человеком, и с той поры, в течение целого ряда лет, не пропустил, кажется, ни одного собрания, за исключением тех двух сроков, когда он лежал в клинике и когда сидел в Та-

ганской тюрьме. Все сразу почувствовали в нем сильный и яркий талант, а находившийся тогда среди нас В. С. Миролюбов, издатель популярного в то время «Журнала для всех», сейчас же взял у Андреева этот рассказ для напечатания. Этот вечер первого появления на Среде был для Андреева большим и хорошим шагом вперед, о чем он всегда говорил впоследствии. Успех его возрастал необыкновенно быстро. За «Молчанием» последовали рассказы «Жили-были», «Стена» и знаменитая «Бездна», затем «Василий Фивейский» — и имя Леонида Андреева заблистало в литературе. А года через два Андреев уже сам привез к нам на Среду молоденького студента в серой тужурке с золочеными пуговицами, тоже — как и он сам в свое время — сотрудника «Курьера», где появился пока только один рассказ молодого беллетриста — «Волки». Юноша всем понравился и сделался членом Среды. Вскоре из него выработался писатель — Борис Зайцев.

Но не одна только молодежь была у нас членами. Были и старшие писатели, как например — П. Д. Боборыкин, Н. Н. Златовратский, В. А. Гольцев, Д. Н. Мамин-Сибиряк, С. Я. Елпатьевский, Л. А. Хитрово, А. Е. Грузинский, А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Через Среды проходили обычно если не все новинки, то большинство из них. Первое чтение пьесы «На дне», перед постановкой ее в Художественном Театре, происходило у нас. Читал сам Горький; помимо своих, было приглашено много артистов и литераторов. Успех был исключительный. Прочитал Горький очень хорошо, особенно роль странника Луки. Было ясно, что в театральном мире пьеса будет событием. Так и случилось; особенно когда Лукою вышел на сцену Москвин, бароном — Качалов. На первом представлении автор был вызван более 20 раз.

Произведения Леонида Андреева, думаю, что все без исключения, читались автором на Средах и по-товарищески обсуждались. У нас было правило: говорить без стеснений. Это не значило, конечно, во что бы то ни стало огорчать автора. Но если он бывал достоин порицания, то уж выслушивал всю горькую правду, без снисхождения; разумеется, в тонах дружеских и необидных, хотя решительных. Так случилось с рассказом Андреева под названием «Буяниха», который до сих пор, кажется, нигде не напечатан. Так случилось с рассказом Куприна «Мебель». Но эти нападки не только не портили наших добрых отношений, а наоборот — сближали нас в действительно дружеский круг.

На Средах были читаны самими авторами: почти все пьесы Найденова, все рассказы Бунина и многие из его стихотворений, многие вещи Скитальца, Серафимовича, Голоушева, а Леонид Андреев, даже когда был за границей, присылал оттуда свои вещи по почте и требовал мнения Среды.

— Без этого, — писал он в письмах, — никакую свою вещь не могу считать законченной.

Скиталец не только читал, но приносил неоднажды свои знаменитые гусли и пел народные песни. Это ему очень удавалось. Он засучивал по-локоть рукава блузы — иного костюма не носил — откидывал со лба пряди волос и, проговорив негромко: «Эй, вы, гусли-мысли!», начинал петь. Голос у него был не из больших, но приятный, грудной и выразительный, и очень подходящий именно к народным песням, которые он хорошо знал и чувствовал. И неудивительно, потому что сам он сын крестьянина, и в детстве с отцом-гусляром бродил и играл по волжским ярмаркам. Это отражено в одном из его стихотворений:

Дал в наследство мне мой батюшка-гусляр:
Гусли-мысли, да веселых песен дар.
Гусляром быть доля выпала и мне —
Сеять песни по родимой стороне...

Между прочим, он пел нам из горьковского «Дна» песню «Солнце всходит и заходит» — ранее, чем мы услышали это в Художественном Театре. Пел он также впервые песню о Стеньке Разине и о персидской княжне, которую поют

теперь всюду, во всех углах и закоулках России. Это Скиталец ее так популяризировал на своих гуслях; с его легкой руки она и полетела — по крайней мере, по Москве.

Вспоминается еще одна русская песня, которую довелось мне слышать при совершенно особых условиях: ранней весною, в Черном море, на простой рыбацкой лодке. Шаляпин запевал «Вниз по матушке по Волге», а Скиталец и Горький изображали хор; единственным слушателем был я, сидевший на веслах. На десятки верст вокруг не было ни одного человека. И в то время как шаляпинский голос разносился по морскому простору и пел о «взбушевавшейся погоде», Скиталец на низких нотах, одновременно с запевалой, точно вперебой ему, призывал кого-то: — «Грянем, грянем мы, ребята!..», а затем присоединялся к общей песне, подхватывая мотив. Тут было все, что, по положению, требуется от настоящего русского пения: запевала «затягивает», голоса «пристают», подголоски «подхватывают», один «заливается», другой «выносит»... Словом, все эти надлежащие глаголы были пущены в дело...

## IV.

На Средах не всегда, или вернее — не все время в течение вечера, беседы были деловые и серьезные. Процветали у нас и шутки, и смех. Были в моде одно время всякие прозвища и куплеты. Помню, про андреевский рассказ «Бездна» кто-то пустил двустишие, и Андреев им очень утешался. Это случилось после того, как на него напали за Бездну «Новое Время» и Софья Андреевна Толстая, громившие молодого писателя. Сам же Леонид Николаевич, улыбаясь, любил повторять среди приятелей пущенный каламбур:

Будьте любезны:
Не читайте «Бездны».

Про Скитальца тоже был сложен стишок. Я не помню его целиком. В памяти удержалось только:

Юноша звал себя в мире Скитальцем,
И по трактирам скитался действительно...

Больше всех смеялся над этим сам же Скиталец, которого читатели представляли себе необычайно мрачным и страшным, так как сам о себе он писал в стихотворениях: «Я и меч и вместе — пламя», или «Коли пить — пей ковшом; бить — так бей кистенем», — или: «Я ненавижу вас всех, вы — жабы в гнилом болоте!».

Очень метко дали ему сравнение: с тигром... из мехового магазина.

«Он пугает, — а мне не страшно» — как говорил Л. Н. Толстой о творчестве Л. Андреева.

Прозвища давались только своим постоянным товарищам, и выбирать эти прозвища дозволялось только из действительных названий московских улиц, площадей и переулков. Это называлось у нас «давать адреса». Например, Златовратскому дан был сначала адрес: «Старые Триумфальные ворота», но потом переменили на «Патриаршие пруды». Гольцеву, редактору «Русской Мысли», дали адрес: «Девичье поле», но после изменили на «Бабий городок». Тимковский назывался «Зацепа», Голоушев — «Брёхов переулок», Гославский — «Большая Молчановка» — за обычное безмолвие на диспутах, а другому товарищу, наоборот, за пристрастие к речам — «Самотека». Скиталец получил адрес — «Хамовники», Шаляпин — «Разгуляй». Были у нас и «Средняя Пресня», и «Ленивка», и «Живодерка». Юлий Бунин был «Старо-Газетный переулок», Белоусов — «Пречистенка», а Леониду Андрееву дали адрес «Большой Ново-Проектированный переулок». Но это его не удовлетворило, и он просил дать ему возможность переменить адрес, или, как у нас называлось, «переехать» в другое место — например, хоть на «Ваганьково кладбище».

— Мало я вам за эти годы про покойников писал? — говорил он, бывало. У меня что ни рассказ, то два-три покойника. Дайте мне адрес «Ваганьково». Я, кажется, заслужил.

Не сразу, но просьбу его все-таки уважили, и он успокоился.

Над этими адресами хохотал и потешался Чехов, когда однажды в его ялтинском кабинете ему рассказывали о них.

— А меня как прозвали? — с интересом спрашивал Антон Павлович, готовясь смеяться над собственным «адресом».

— Вас не тронули. Вы без адреса.

— Ну, это жалко, — разочарованно говорил он. — Это очень досадно. Приедете в Москву, непременно прозовите меня. И напишите; доставите удовольствие.

Когда он узнал, что В. С. Миролюбову за его громадный рост дали адрес «Каланчевская площадь», то с улыбкой заметил:

— Это вот слабо. Глеб Успенский его великолепно окрестил; совершенно невероятным именем, но метко: — «Пирамидальный буйвол». Вот это — сказано!

Так, мешая дело с шутками и пустяки с работой, мы много лет дружно и хорошо жили. Время от времени возникали какие-нибудь инциденты. То кого-нибудь арестовывали, то высылали, как, например, из Ялты губернатор Думбадзе начал одно время изгонять административно всех приезжих писателей; то устроили большой литературно-музыкальный вечер, который начался на эстраде в Благородном Собрании и закончился в Окружном Суде на скамье подсудимых; то просто происходили персональные недоразумения и столкновения, о которых потом писали в газетах, рисовали на них карикатуры. Ничтожный сам по себе инцидент иногда раздували до события, как, например, разговор Горького с публикой на спектакле в Художественном Театре, где шла в тот вечер Чеховская «Чайка», а вовсе не «Дядя Ваня», как утверждали в газетах «свидетели и очевидцы» неприличного поведения Горького. Это неприличие заключалось вот в чем: каждый антракт к гостиной, при директорской ложе, подходила довольно значительная часть публики, заполняла весь коридор и вызывала все громче и громче Горького, который сидел в гостиной с несколькими друзьями, но дверей не отворял и никак не реагировал на эти вызовы. В третьем антракте вызовы перешли в громкий и продолжительный рев: «Горь-ко-ваа!». Дверь начали приоткрывать из коридора все смелее и чаще и, наконец, совсем распахнули. Загремели аплодисменты, заликовали поклонники, но Горький не только не раскланялся в ответ на приветствия, но быстро и решительно вышел в коридор, в толпу поклонников и резко спросил их:

— Что вам от меня нужно? Что я вам — Венера Медицейская? Или балерина? Или утопленник?.. Для чего вы пришли смотреть на меня? Нехорошо, господа: вы ставите меня в неловкое положение перед Антоном Павловичем. Ведь идет его пьеса, а не моя. И при том такая прекрасная пьеса. И сам Антон Павлович находится в театре.

Газеты подхватили этот эпизод, раздули его как схватку писателя с публикой, и года два в разных изданиях изображали Горького в карикатурах, в виде Венеры, или утопленника, а чаще всего балериной, или человеком, сидящим за столом и положившим ноги на стол.

Однажды Андрееву было поручено устроить с благотворительной целью литературный вечер; он взялся и пригласил участвовать товарищей из той же Среды. Сам он решил прочитать новый рассказ «Иностранец», Найденов отрывок из пьесы «Жильцы», Бунин — «На край света», на мою долю досталась легенда «О трех юношах» и на долю Скитальца — стихи. Интерес к группе писателей из Среды в то время только еще разрастался, и билеты брались бойко. Громадный зал Благородного Собрания был переполнен. Авторов, впервые появлявшихся перед публикой на эстраде, шумно и долго приветствовали; успех вечера ярко определился. По установившемуся обычаю, на больших вечерах все исполнители одевались парадно: певицы в бальных платьях, чтецы и музыканты — во фраках. Один только Ска-

иц, пришедший лишь к самому концу вечера, явился в неизменной блузе и лько вместо обыкновенного галстука размахнул по всей груди какой-то широкий ний бант. Ввиду опоздания, ему достался самый последний, заключительный мер.

И вот, в раскаленную уже успехом вечера атмосферу, после фраков, скрипок, ичесок и дамских декольтэ, вдруг влетает на эстраду косматый, свирепого вида узник, делает движения, как бы собираясь засучивать рукава, быстрыми шагами ходит к самому краю помоста и, вскинув голову, громким голосом, на все брание, выбрасывает слова, точно камни:

...Пусть лежит у вас на-сердце тень!
Песнь моя не понравится вам:
Зазвенит она, словно кистень
По пустым головам!..
Я к вам явился возвестить:
Жизнь казни вашей ждет!
Жизнь хочет вам нещадно мстить:
Она за мной идет!..

Когда он кончил стихотворение и замолк, то поднялся в зале не только стук, ск и гром, но буквально заревела буря. По словам газеты «Курьер», сохранивися у меня в вырезке, «буря эта превратилась в настоящий ураган, когда Скиец на бис прочел стихотворение: «Нет, я не с вами». Стены Благородного брания вероятно в первый раз слышали такие песни и никогда не видели испол-теля в столь простом костюме...».

Так сообщала газета. Так это все и было на самом деле. Но в тогдашних етах все-таки нельзя было написать обо всем, что случилось.

Я ненавижу глубоко, страстно
Всех вас: вы — жабы в гнилом болоте!..

Так выкрикивал Скиталец в публику громовым голосом, потрясая над головой ою и встряхивая волосами:

«— Мой бог — не ваш бог: ваш бог прощает... А мой бог — мститель! Мой карает! Мой бог предаст вас громам и карам. Господь мой грянет грозой над и, и — оживит вас своим ударом!».

Полицейский пристав, сидевший на дежурстве в первом ряду кресел, не доаясь конца, поднялся и резко заявил, что прекращает концерт. Публика с кри бросилась с мест, придвинулась вплотную к эстраде, а молодежь полезла даже самый помост. Крики, визг, стук и топот, восторги и возмущение — все это шало, ничего нельзя было разобрать. Полиция распорядилась гасить огни. естящий зал сразу потускнел. Одна за одной гасли огромные люстры, но народ кричал, стучал и не расходился. Становилось темно. Наконец, полиция явилась омнату артистов, где был сервирован для них чай:

— Немедленно покиньте помещение!

Когда удалили исполнителей, публика поневоле затихла и в полутьме побрела оим шубам. Но на улице, у под'езда, опять поднялись крики.

Кончилось все это тем, что Скиталец уехал на Волгу, общество помощи уча-ся женщинам заработало с вечера хорошую сумму, а Леонид Андреев, как офиьный устроитель вечера, подписавший афишу, внезапно был привлечен к отгвенности в уголовном порядке за то, что не воспрепятствовал Скитальцу проть стихотворение, где пророчилась революция и гнев народный. Нас всех выли к следователю для допроса, а затем свидетелями в Окружный суд, где нид Николаевич сидел на скамье подсудимых и чуть-чуть не пострадал немо за что.

— Писал Скиталец, читал Скиталец и прославился Скиталец, — а меня хо посадить, либо выслать, — смеялся Андреев уже в зале суда перед началом пр цесса.

Однако суд его оправдал.

V.

Вспоминается еще один инцидент — с Горьким. Его ждали в Моск проездом из Нижнего-Новгорода в Ялту. И вот мы узнаем однажды, что се Горького приехала сюда, а сам Алексей Максимович арестован на товарной ст ции, под самой Москвой: вагон, где находился Горький, отцепили от нижегоро ского поезда, поставили на курские рельсы и под надзором жандарма отправи в Подольск. Так это было или не так, почему могло случиться и надолго ли никто ничего не знал. Нужно было увидеться; если можно — выручить; во вськ случае, выяснить дело. Немедленно собрались: Андреев, Бунин и я, и с первым поездом поехали в Подольск. На вокзале к нам присоединились К. П. Пятницки заведывавший издательством «Знание», и переводчик Горького на немецкий язык Шольц, специально приехавший из Берлина, познакомиться лично с Алексе Максимовичем и своими глазами увидать, как живут в России знаменитые пис тели. И увидал.

Сюда же, на свидание с Горьким, приехал и Ф. И. Шаляпин. Здесь, на пл форме Подольска, мы все и познакомились с ним. Через минуту начальник станц с дежурным жандармом впустил нас в дамскую комнату, где, точно зверь в клет метался из угла в угол, заложив руки за спину, Алексей Максимович. Увид первых двоих, он остановился вдруг и протянул вперед руки. За перв показались двое вторых, потом третьи. Удивление и радость были в е глазах.

— Что семья? — было первым его вопросом. — Где они все?

До обратного нашего поезда было времени часа три. Сидеть в дамской ко нате было не очень удобно, и мы решили поехать со станции в город. Пришло однако, спрашивать об этом жандарма.

Ныряя в санях по ухабам среди зимних сумерек, мы добрались до какого-«первоклассного» ресторана, где нам отвели отдельный кабинет, в котором еле уместили свои шубы, навалив их одну на другую, а сесть было уже неку Тогда нам отвели второй кабинет, рядом с шубами; здесь мы и устроились, так, что дверь в коридор пришлось оставить открытой, иначе все семеро не вмещались. Пока подавали чай, пока накрывали ужин, по городу уже прош слух, что приехал Горький с писателями и с Шаляпиным, и к вокзалу потянули любопытные — ожидать, что из всего этого может воспоследовать. А у нас в перв классном ресторане происходило следующее. Только что мы устроились и да незатворявшуюся дверь занавесили скатертью, как до слуха нашего донесло приближающееся звяканье шпор: мимо нашего кабинета прошло несколько п ног. Немец забеспокоился: что это значит? Затем, через минуту, не выдержал вышел в коридор, откуда вернулся взволнованный и побледневший:

— Они роются в наших шубах, — в ужасе сообщил он.

Но ему ответили, что это у нас дело обыкновенное и что волнова не стоит: чему быть, того не миновать — как говорит пословица. А еще че несколько времени, робко приподняв нашу занавеску, появился смущенный х зяин, кланяясь и извиняясь, с домовой книгой в руках. Он положил книгу на ст и просил всех нас расписаться: кто мы такие, откуда и как нас зовут, уверяя, ч у них такой закон, чтобы все приезжие писали о себе все сведения и адрес, и в правду.

— Приезжий здесь — один я, — вдруг заявил Шаляпин серьезно и твердо. А это — мои гости. Такого закона нет, чтобы гостей переписывать. Давайте кни я один распишусь в чем следует.

Не без трепета следил хозяин за словами, которые начал вписывать в книгу ...аляпин. Увидав, наконец, что мучитель его — артист «Императорских» театров, ...легченно вздохнул и успокоился.

Когда мы вернулись на вокзал, там был, вероятно, весь город. Но нас встре...ли жандармы и хотя очень вежливо, но все-таки в определенном окружении ...овели снова в дамскую комнату, где мы и просидели безвыходно до скорого ...езда из Москвы в Севастополь, с которым ехала семья Горького и с которым ...ехал он и сам без дальнейших инцидентов. Таким образом весь смысл и вся ...мудрость подольской задержки сводилась только к тому, чтобы не впустить ...асного писателя в столичный город Москву.

Когда мы возвращались с пригородным поездом, немец всю дорогу не мог ...покоиться и все изумлялся. А впоследствии прислал нам нумер берлинской га...зы, где подробно и не стесняясь описывал нашу поездку в Подольск и свою ...пытку увидеть воочию, как живут на Руси братья-писатели.

После этого, на Среды время от времени стал приезжать Шаляпин. Иногда ... принимал участие в общей беседе, а иногда садился за рояль и, сам себе ...компанируя, начинал петь. Пел он романсы, русские народные песни, пел арии, ...л куплеты, шутки, французские шансонетки. Пел он и Марсельезу, пел Дуби...шку, пел Блоху. Марсельезу он исполнял так, что дух захватывало от востор...енного под'ема.

Однажды, я помню, был вечер, когда Шаляпин прямо, как только приехал, ...явил нам:

— Братцы, петь хочу!

Он вызвал по телефону С. В. Рахманинова и ему тоже сказал:

— Петь до смерти хочется. Возьми лихача и скачи скорей на Среду. Будем ...ю ночь петь.

Рахманинов вскоре приехал. Шаляпин не дал ему даже чаю напиться. Усадил ... рояль — и началось нечто удивительное. Это было в самый разгар шаляпин...кой славы и силы. Он был в необычайном ударе и пел, действительно, без конца. ...икаких чтений в тот вечер не было, и не могло быть. На него нашло вдохновение. ...икогда и нигде не был он так обаятелен и прекрасен, как в тот вечер. Даже ...м несколько раз говорил нам:

— Здесь меня послушайте, а не в Большом Театре.

Шаляпин поджигал Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаляпина. И эти ...а великана, увлекая один другого, буквально творили чудеса. Это было уже ... пение и не музыка — в общепринятом значении, это был какой-то припадок ...дохновения двух крупнейших артистов нашего времени.

Как сейчас вижу эту большую комнату, освещенную только одной лампой ...д столом, за которым сидят наши товарищи и глядят все в одну сторону — туда, ...де за пианино видна черная спина Рахманинова и его гладко стриженый за...ылок. Локти его быстро двигаются, тонкие длинные пальцы ударяют по кла...вишам. А у стены — лицом к нам — высокая стройная фигура Шаляпина. Он ... длинных сапогах и в легкой черной поддевке, великолепно сшитой из ...онкого сукна. Одной рукой слегка облокотился на пианино. Лицо вдохно...енное, строгое. Никакого следа только что сказанной шутки. Ждет мо...ента вступления. Преобразился в того, чью душу сейчас раскроет перед нами, ... заставит всех чувствовать то, что сам чувствует, и понимать так, как сам ...онимает.

Такого шаляпинского концерта, как был этот, экспромптный, уже никогда ...олее не услышишь.

К сожалению, правдивы слова и полны глубокой грусти, что никогда и ни...кой рассказ о том, как исполнял артист, — не воссоздаст его чарующие образы, ...ак никакой рассказ о солнце пламенного юга не поднимет температуру холод...ного дня.

VI.

Под солнцем пламенного юга, загнанный туда роковым недугом от любим подмосковных берез и тихих илистых прудов с карасями, жил больной писате А. П. Чехов, которому как ни пытались рассказать и передать об исполнени в Московском Художественном Театре его пьесы «Дядя Ваня», не могли, конечн воссоздать рассказами ни действительных образов, ни действительного впечатл ния от исполнения и постановки. Надо было видеть самому, чтоб оценить и п чувствовать. И Художественный Театр избирает местом своих гастролей имен Крым и едет в Севастополь с намерением показать «Дядю Ваню» своему люби мому писателю. Лично я не был свидетелем этого севастопольского спектакля, н слышал в Ялте от самого Антона Павловича, что он был очень доволен и тронут хотя из обычной авторской скромности и не выражал этого открыто.

После гастролей труппа поехала в Ялту на отдых, где с'ехалось и жи в это время немало писателей; помню, был Горький с семьей, Елпатьевский Мамин-Сибиряк, Куприн, Найденов, Бунин...

Между прочим, вспоминается там же, в Ялте, старик Синани, караи у которого на набережной был небольшой книжный магазин и вместе табачна торговля. Писатели и артисты ежедневно бывали у него, кто за папиросами, кт просто так, ради встречи с другими. Нередко можно было встретить и Чехов сидящим на скамье, на улице, у дверей этого магазина. У Синани была больша толстая тетрадь в хорошем переплете — альбом, где все многочисленные его зна комые из артистического мира вписывали на память об Ялте по несколько строк Книга эта очень интересна по множеству автографов известных людей, и было бы жаль, еслиб она затерялась по частным рукам. Помню, Мамин-Сибиряк написал в ней о Крыме недостаточно почтительно, и Синани с удивлением по казывал всем эту страницу: — «Ехал в Ялту с радостью. Уезжаю из Ялты с удо вольствием».

На другой же день по приезде труппы в Городском саду был устроен то варищеский обед, на котором участвовали артисты и писатели. Все перезнакоми лись, и это было началом сближения Театра с Горьким, у которого уже созрева план пьесы «На дне», но был еще не разработан, и он вчерне передавал о не Немировичу-Данченко и Станиславскому. Осенью пьеса была закончена и про читана на «Среде», а затем поставлена в Художественном Театре.

Время наше не было легким; общественность давили; в ком можно — убива мысль, в ком нельзя, тем зажимали рты. Но в воздухе парил уже Буревестник. Мало-по-малу приближался 1905 год. Среда чутко реагировала на все выдающиеся явления общественной жизни. Отсюда нередко исходила инициатива всемосков ского протеста по поводу особо возмутительных действий тогдашнего прави тельства.

«Надо заступиться за киевских студентов — писал мне в 1901 году Горький из Нижнего-Новгорода: — Надо сочинить петицию об отмене временных прави Хлопочите. Некоторые города уже начинают»... И составлялись протесты, покры вались сотнями подписей, писались петиции, читались резкие доклады. Инициато рами подобных выступлений бывали у нас обычно Вересаев, Тимковский и Горь кий. «Средою» издан был даже особый товарищеский сборник под названием «Книга рассказов и стихотворений». Издан он был «на всякий случай». И выру ченные деньги целиком были отданы в 1905 году на вспыхнувшую почтово-теле графную забастовку, проведенную героически и имевшую большое влияние на по лучение манифеста о Государственной Думе.

Кроме обычных и постоянных наших собраний, время от времени делались так называемые «Большие Среды», когда с'езжалось очень много народа. Мы не чуждались тогдашнего нового направления — декадентов, модернистов и иных и у нас можно было встретить на таких собраниях приветливо принятых Брюсо

Бальмонта, Белого, Кречетова, Сологуба... На такие вечера приезжали и актеры, как В. И. Качалов и О. Л. Книппер; адвокаты — как Муравьев, Тесленко, Малянтович; бывали врачи, художники, журналисты, издатели, профессора. Однако все они были чьи-либо, из наших, личные знакомые, в которых мы не могли сомневаться. Случайных людей, хотя бы и очень интересных, не допускали, по причинам понятным. Строгий отбор гарантировал и нас и наших гостей от недреманного ока — от разгуливавшегося в то время невероятного сыска. А недреманное око Средою интересовалось — это было известно. Эти «большие» или «выходные» Среды делались умышленно не у меня в квартире, а либо у Л. Андреева, либо у Голоушева. Все это заблаговременно обсуждалось Средою и никогда не носило случайного характера, а выполнялось в качестве постановления, для гостей наших может быть и неизвестного.

Многим, вероятно, памятны литературные «Сборники Знания», так нашумевшие в свое время и сыгравшие определенную роль в эпоху 1905 года. Эти сборники зародились все на той же Среде, и первые выпуски были составлены исключительно из произведений прочитанных авторами на Средах, за которыми приезжал лично Горький. Вот содержание первой книги: Л. Андреев — Жизнь Василия Фивейского. Ив. Бунин — Чернозем, и Стихи. В. Вересаев: Перед завесой. Н. Гарин — Деревенская драма. М. Горький — Человек. С. Гусев — В приходе. А. Серафимович — В пути. Н. Телешов — Между двух берегов.

В книге было 325 страниц и стоила она один рубль. Авторам было заплачено по 400 рублей с листа, и, несмотря на высокий по тогдашнему времени гонорар, на первой странице книги было об'явлено, что из прибыли с настоящего сборника отчисляется тысяча рублей в распоряжение Литературного Фонда; тысяча — Высшим Женским Курсам; тысяча — Женскому Медицинскому Институту; тысяча — Об-ву Учителей и Учительниц на общежитие для детей; тысяча — Об-ву Охранения Народного Здравия на постройку детского дома и 500 рублей на народную читальню в Кемь. Об'явление этих пожертвований произвело тогда потрясающее впечатление и на публику и на сферы. Во второй книжке участвовали: Куприн, Скиталец, Чириков, Юшкевич и А. П. Чехов, давший пьесу «Вишневый сад». Таких сборников вышло в общем более 30.

Когда же через несколько лет издательство «Знание» прекратилось, Среда немедленно попыталась заполнить этот пробел и организовала в Москве «Книгоиздательство Писателей», с ярко выраженной защитой авторов от издательской зависимости. Над нашей затеей смеялись, потому что мы об'явили: — «От издания книги — весь доход принадлежит автору, а не издателю». Это, может быть, было и ново и дерзко, но это было именно так, и не было смешно, потому что Среда доказывала это на деле в течение десятка лет. Частные издатели и всякие скупщики авторских рукописей — эти «любители российской словесности» — как называл их в шутку и с горя Мамин-Сибиряк — сначала подсмеивались над нами. Но потом перестали смеяться.

Личные отношения участников Среды были вполне дружеские, во всяком случае среди большинства, и очень сердечные и искренние; особенно между некоторыми из нас. Близость была не только писательская, профессиональная или товарищеская, но и чисто личная и семейная, что придавало еще большую интимность нашим взаимоотношениям.

Вот для примера, письмо ко мне Л. Андреева, через год после нашего первого знакомства. Надо сказать, что у Андреева была невеста, милая молодая девушка, курсистка, Александра Михайловна, с которой он появлялся всегда вместе на театральных новинках, в концертах, и это была заметная и красивая парочка. И вот однажды я нашел у себя на столе письмо, в котором чувствовалась радостная забота счастливого человека:

«Милый друг. Будь моим отцом! Будь моим посаженным отцом. Свадьба моя 10-го, через три дня, в воскресенье. Посторонних — никого, одни родствен[illegible]

ники — по-просту. Голоушев — шафер. Будь моим отцом! Я прошу тебя: будь моим отцом! Если таковым быть окончательно не можешь, то приезжай в качестве друга. Доставь мне радость, приезжай. И еще раз прошу тебя: будь моим отцом! Твой друг и сын Леонид Андреев. Будь моим отцом! Церковь: Никола Явленный на Арбате. Будь моим отцом!».

И через шесть лет после этого писал он мне из Берлина: «На-днях пришлю тебе «Жизнь Человека» — опыт в некотором роде нового строительства пьесы. Прошу тебя, сообщи, как отзовется Среда: ее советы и мнения всегда были мне важны, а в новом деле, в котором я сам иду ощупью, наипаче».

И через 15 лет он пишет из своей Райволы: — «Поклон Старушке Среде!.. Ах, хорошо бы собраться летом небольшой дружеской компанией в 4—5 персон и ахнуть в Соловки, на Белое море, или — куда там!..».

И другие многие относились к Среде так же, или почти так же.

А вот и слова А. П. Чехова, сказанные им накануне от'езда за границу, откуда он уже не вернулся живым: — «Умирать еду. Поклонитесь от меня товарищам вашим по Среде. Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю. Пожелайте им от меня счастья. Больше уже не встретимся».

## VII.

Начиная с 1909 г. характер Сред коренным образом изменился. Собираться стали уже не в частных квартирах, а в Литературно-Художественном Кружке, на Дмитровке, где отводилось Среде хорошее помещение. Во главе этих собраний стал Юлий Бунин. В первую же зиму число участников настолько выросло, благодаря молодым поэтам и молодым писателям, что большой запасный зал Кружка еле вмещал всех желающих. После чтений и прений устраивался обычно товарищеский ужин или чай, с тостами, стихами, остротами и любопытными стихотворными «протоколами», блестяще остроумными, которые сочинял тут же за ужином, не выходя из комнаты, экспромтом М. П. Гальперин и прочитывал всему собранию о его сегодняшнем поведении, перечисляя более выдававшиеся за вечер имена, слова и случаи — в несколько утрированном виде. Но эти веселые ужины и чаи вызвали, однако, опасение одного из старых участников и основателей Сред, который однажды сказал — тоже экспромтом — не то шутя, не то серьезно:

Говорят, грозит беда: не заела б нас среда, —<br>
Нет, боюсь иной беды: не пропить бы нам Среды.

Количество новых участников неимоверно росло; зато старые товарищи стали появляться на собраниях все реже и реже. По несколько раз в зиму они опять начали собираться или у меня, или изредка у Голоушева. Многих из прежних не стало: кто уехал за границу, кто в Петербург, или в провинцию, кое-кто перестал бывать. Но, с другой стороны, за это же время были и хорошие пополнения: сблизились с нами Ив. Ив. Попов и И. С. Шмелев, человек талантливый и яркий, и с ними быстро установились прочные товарищеские отношения.

В сущности, старой Среды больше уже не существовало. Жива была новая, или молодая Среда, многочисленная, деятельная, всем интересующаяся, в которой старые основатели Сред бывали скорее как гости, и каждый ответственным был только за себя самого. Но в отдельности «старики» оставались друг с другом товарищами. Они теперь сплотились вокруг Книгоиздательства Писателей, войдя в совет и редакцию; почти все они были также в составе дирекции Литературно-Художественного Кружка, в правлении Об-ва Деятелей Периодической Печати и в Суде Чести, работали в правлении Кассы Взаимопомощи Литераторов и Ученых. Всегда было что-нибудь такое, что связывало их и держало в каком-то единении. И даже во время войны «Среде» было поручено составить сборник на помощь жертвам мировой бойни. И Среда выделила из своего состава трех редакторов:

И. А. Бунина, В. В. Вересаева и Н. Д. Телешова, которые и составили этот сборник под названием «Клич», где участвовали лучшие современные писатели, крупные художники и знаменитые композиторы. Сборник был распродан в три дня и дал чистой прибыли, согласно опубликованному отчету, — тридцать четыре тысячи рублей, по старому, твердому курсу.

В течение четверти века не было, или почти не было, в Москве ни одного культурного начинания, ни одного общественного дела, где бы так или иначе не принимала горячего и ближайшего участия Среда, если не как коллектив, то в лице своих отдельных членов. К Среде неоднократно обращались общественные группы, когда возникали серьезные принципиальные конфликты и требовалось беспристрастное третейское решение. В таких случаях Среда указывала на одного из своих сотоварищей и его избирали в судьи. Авторитет Среды стоял высоко.

Один молодой поэт, из группы модернистов, был заподозрен в провокации, и на его голову посыпались обвинения в предательстве и продаже своих друзей. Началось все это с корреспонденции из Парижа, напечатанной в одной московской газете; впутано было сюда имя известного «всезная» по этой части, Вл. Бурцева, который признавал, что за поэтом провокация на-лицо. Обвинение было настолько определенно, а намеки настолько прозрачны, что имя заподозренного называлось уже прямо, хотя в корреспонденциях оно не фигурировало, и поэту многие перестали подавать руку, затем журналы прекратили прием и печатание его работ, затем ему было отказано в какой-то службе. С потерей доброго имени пропали и средства к жизни. Защищаться возможности не было, потому что нельзя было подать жалобу в государственный, так называемый «коронный» суд, благодаря политически-скользкой теме. Какое же правительство согласится, в самом деле, считать за преступление службу в своем политическом агентстве и работу в нем рассматривать как позор для сотрудника? И в каком положении оказались бы свидетели, как сами, так и все те люди и кружки, о которых пришлось бы показывать и выслушивать всю «подноготную»?.. Для сыска и для широкого предательства такой процесс был бы величайшим торжеством и праздником.

Из создавшегося тупика выхода не было; травля продолжалась, пока не составился «частный суд» при совершенно закрытых дверях для всех посторонних. В состав суда входило семь лиц — представителей адвокатуры, литературы и общественности; в их числе занимал место один из Среды. Председательствовал С. И. Филатов, в то время председатель Совета присяжных поверенных. Судьям вверялся вопрос о добром имени человека и, в связи с этим, несомненно, о его жизни и смерти, — настолько серьезно разыгрался и мучительно протекал этот скандал.

Процесс тянулся несколько месяцев — с осени до весны. Из показаний множества свидетелей, преимущественно из литературного и журнального мира, выяснялись ужасающие картины сыска, гнета, подкупа, торговли головами людей. По ходу дела, стало неизбежным предложить ряд существенных вопросов как автору позорящих статей, так и В. Л. Бурцеву. Но оба они жили в Париже. Посылать вопросы и получать ответы через почту было равносильно открытию дверей и даже хуже, так как все письма, несомненно, были бы тайно читаны жандармерией. И суд был вынужден послать нарочного — верного человека — с необходимыми письменными вопросами в Париж, добиться там личного свидания и привезти суду письменные же ответы. Это сложное поручение и затормозило течение процесса.

Обязанности судей были морально тяжелы и крайне ответственны: нельзя обелять виновного в гнусных предательствах, но нельзя и винить в таком деле по предположению, без доказательств. Были приняты все меры к выявлению истины. И после долгих, упорных и мучительных трудов Суд пришел к заключению, что обвинение не подтвердилось решительно ничем. Доброе имя, а с ним, вероятно,

и жизнь писателя были спасены. Но участвовать в этом суде и решать эти вопросы было сущей пыткой.

Члены Среды имели возможность влиять на самые разнообразные стороны жизни: через Литературно-Художественный Кружок они помогали писателям, артистам, художникам и просто людям интеллигентного труда, впавшим в беду или крайность; через Общество Периодической Печати, с его Судом Чести, защищали права и достоинство отдельных деятелей; через Кассу Взаимопомощи Литераторов и Ученых собирались ими по трудовым грошам товарищеские средства, и члены Кассы за четверть века работы в последние годы стали иметь возможность бесплатно учить своих детей, доживать более или менее сносно свой век на пенсии и даже лечиться и жить в Ессентуках, где было оборудовано помещение для приезжающих писателей, а в случае смерти, осиротевшая семья получала немедленно и без всяких хлопот поразрядную сумму денег.

Последнее собрание Среды состоялось в 1916 году, на котором приехавший из Петрограда Андреев знакомил нас с своей новой — последней пьесой — трагедией «Самсон», которую в присутствии автора прочитал Голоушев.

Вспоминая теперь о Среде, о ее минувшем времени, невольно хочется сказать словами Пушкинского Пимена:

Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-океан.
Теперь оно безмолвно и спокойно...

# О воспоминаниях и воспоминателях.

Письмо в редакцию.

Тов. Вегер, критикуя мои воспоминания о зарождении Народного Комиссариата Здравоохранения в № 10 «Красной Нови» прав в одном: гораздо легче писать воспоминания «сенаторам в отставке», чем активным работникам. Как показывает мемуарная литература, лучше всего пишут воспоминания белогвардейцы в часы «эмигрантского досуга».

Поэтому очень возможно и даже весьма вероятно, что во всех наших воспоминаниях, в том числе и моих, т.-е. в воспоминаниях тех, кто по горло занят работой, встретятся неточности, которые надо исправить.

Но те поправки, которые вносит тов. Вегер, право же ничего существенного не прибавляют, а лишь подтверждают основные мысли моих воспоминаний.

Эти основные мысли сводятся к следующему:

1. До Октябрьской революции серьезных попыток к объединению дела здравоохранения не было. Центральный Врачебно-Санитарный Совет Керенского собирался, помнится, два раза, но *абсолютно ничего* в смысле организации и объединения дела не внес. Опровергает это тов. Вегер? Повидимому, нет; а впрочем — пусть попробует.

2. Созданный Советской властью в этих целях Совет Врачебных Коллегий, поскольку он хотел сделать что-нибудь реальное в смысле проведения объединения и плановости в работе органов здравоохранения, неизменно наталкивался на сопротивление ведомственной медицины — путейской и особенно военной. Сопротивление военной медицины, под руководством второго Начальника Главного Военно-Санитарного Управления д-ра Цветаева, единомышленника тов. Вегера, достигло крайних пределов и выливалось в форму прямого саботажа (кстати: путь тов. Вегер разрешит мне лучше знать, был ли я в составе Совета Врачебных Коллегий).

3. Когда, при поддержке Влад. Ил., я внес в СНК проект организации НКЗ (никакого «отклонения» проекта в первом заседании СНК не было, а, наоборот, комиссии с моим участием было поручено разработать конкретные предложения по организации Комиссариата), я встретил бешеную атаку со стороны т.т. Цветаева, Вегера и некоторых других. СНК решил *против* них. Тогда, работая уже в Комиссариате, эти товарищи попытались изнутри взорвать его: тов. Вегер дошел до того, что запер помещение Венерологической Секции, где *он* работал, и унес ключ домой: пришлось ломать дверь. Естественно, что как ни «тактично» пришлось собирать медицину, но с такими работниками пришлось резко расстаться, — что я и сделал (не inde ira? Не отсюда ли и «гнев» «поправок»?).

Еще раз: писать воспоминания при работе в 24 часа — трудно, неточности возможны. Но надо, чтобы поправки поправляли, а не придирались.

**Н. А. Семашко.**

# КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

**В. Вересаев.** Пушкин в жизни. Вып. I и II. М. 1926.

> Тебя ж, как первую любовь,
> России сердце не забудет...—

писал Ф. Тютчев на смерть Пушкина. Проходят десятилетия, перекраивается жизнь до неузнаваемости, от булыжника на мостовой до сокровенных движений нашего сознания, а неумирающее солнце гения Пушкина горит над эпохами и каждой эпохе бросает удивительные лучи.

Солнце это без пятен и туманностей. Россия старая и новая в этой «первой любви» остаются постоянными.

За годы революции, когда временами замирала всякая литературная и поэтическая жизнь в стране, изучение Пушкина не приостанавливалось. Библиография, напечатанная в изданиях Пушкинского дома в Ленинграде, тому наглядное свидетельство: «Пушкиниана» увеличилась сотнями статей, книг, монографий.

Книга Вересаева «Пушкин в жизни» должна занять подобающее ей место. Она конечно же исключительна и по своему замыслу и по выполнению. Строгие литературоведы и «непогрешимые» исследователи, каждый день «открывающие» Пушкина, и старательные археологи могиломаны, топящие пушкинскую строчку в сотнях страниц своих примечаний, бесчетно повторенных другими, по большей части водянистых и пустяковых — останутся недовольны Вересаевым. Они ведь не понимают, что трудно истолковывать гениального художника без соответствующей проницательности и настроенности, не заменимой никаким ученым аппаратом и профессорскими знаками отличий, а лучше дать живые материалы биографий. «Профессорские» открывания Пушкина за редчайшими изъятиями скучны, шаблонны и текучи, как смены академических настроений. Я не говорю, конечно, о фактических, документальных открытиях «пушкинианы» — они самоочевидны. Но избавь нас, боже, как говорили в старину, от «профессорских» измышлений и домыслов по Пушкину. От них, как от школьных хрестоматий, ясное лицо Пушкина становится тусклым, засиженным мухами и оводами. Они отучают от Пушкина: великий поэт становится музейной ценностью, которую охраняют, но не читают!

Вересаев в своей работе уязвим с этой стороны. У него нет почти никаких примечаний. Вересаева нет в книге с ревнивым карандашем. Он присутствует там лишь со своей огромной и редкой любовью к поэту, с многолетней своей копилкой, куда он складывал все, так или иначе касающееся Пушкина. Вересаев не произвел никакого отбора среди большой мемуарной литературы о Пушкине. Он использовал, хотя и с осторожностью, даже воспоминания, отнесенные «пушкинианой» к разряду подозрительных. Таковы воспоминания: К. Полевого, Л. Павлищева, А. Смирновой и др. Словом, у Вересаева отсутствуют «ученые леса». Но он прав, что сошел с проторенной, замызганной дорожки. Так и надо было сделать. Все страхи, что от этого получится «кривое зеркало», отражающее Пушкина в известном искривлении, пустяшны. Прежде и раньше всего надо же когда-нибудь Пушкина «сделать» общедоступным, показать его настоящим. Пушкин в сюртуке — только монумент, такой же лосный и неприятный, как бездарная опекушинская статуя на Тверском бульваре. Такой—он — мертвец. Воспоминания современников, даже пристраст-

ные, все же несомненно имеют какое-то «видение» поэта. Воспоминания современников тем и драгоценны, что они исходят от живого факта, они всегда субъективны, противоречивы. И пусть. Образ Пушкина так сложен, так многогранен, что воспоминания должны быть неизбежно разнообразны. Каждый мемуарист неизбежно субъективен. Он может быть не точен в том или другом, но каждый из них дает свое отношение к описываемому. Сколько мемуаров, столько же образов Пушкина. Мемуарная литература несомненно своеобразный род художественной творческой работы. Мемуарист всегда художник с большим или меньшим дарованием. Какое же было основание у Вересаева дать субъективный отбор? Да и кто проработал воспоминания о Пушкине? Тут даже многие строжайшие блюстители «пушкинской» правды ходят в темноте и принимают на веру добрую часть «воспоминаний» по одной лишь степени правдоподобия.

Вересаев предвидел возможность возражений и уже оговорил их: «Многие сведения, приводимые в этой книге, конечно, не достоверны и носят все признаки слухов, сплетен, легенды. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни, — он не менее характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются, теми слухами и сплетнями, к которым он подает повод. Нет дыма без огня, и у каждого огня бывает свой дым. О Диккенсе будут рассказывать не то, что о Бодлэре, и пушкинская легенда будет сильно разниться от толстовской. В этой книге перед нами живой Пушкин, но, конечно, окутанный дымом легенд и слухов».

В мозаичной пестроте пушкинской легенды отражаются характер, привычки поэта, его наружность, одежда, обстановка временных пребываний художника в городе и деревне, отражается тот особый колорит личности, который неизгладимо запечатлевается в сознании современников. Ни дописывать, ни изменять тут ничего не надо. В мелочах жизни человек чаще выражается гораздо красноречивее, интимнее, чем в парадном и показном. Громадная мемуарная литература о Пушкине, затерянная в старых журналах, («Русский Архив», «Русская Старина») в газетах, в сотнях отдельных изданий в целых сводах, как академическое «Пушкин и его современники», доступное только пушкинистам и теснейшему кругу знатоков, благодаря драгоценнейшему труду В. Вересаева становится общим достоянием. Противоречивый образ гениального поэта встает живым и пленительным. Оторваться от вышедших двух книжек нельзя. Ими зачитываешься. Это — увлекательнейшее художественное произведение. Выписки Вересаева, сконцентрированные одна за другой, без всякой «отсебятины» составителя, как на световом экране показывают Пушкина во всей его сложности, без прикрас, непричесанного, необделанного угодливой кистью «тупейного» художника, Пушкина — поэтического гения, гонимого, колеблющегося между декабристами и царем, униженного, торжествующего, смеющегося, впадающего в уныние, чистого, грязного, влюбленного, ревнивца... Книга Вересаева именно подкупающа своей подлинностью. Лишний раз встает перед глазами жуть николаевской эпохи, в какую жил величайший наш гений. По пятам за ним, как тать, движется эта черная тень сыщика, подбирает слова, проникает на дружеские тесные беседы, нивелируя часы дня и ночи, приникает щупающими глазами к рукописи поэта, к его домашней обстановке, к белью... Дикое и «гоголевское» общество окружает гения. «Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа ничего не обещающая» — пишет А. Я. Булгаков. «Отношение» это не единично. Тут целый общественный пласт. Пушкина разглядывает как «сочинителя» придворная челядь в расшитых золотых мундирах, показывают на него пальцами, цукают, снабжают его «недреманным оком» с юношеских лет до смерти, травят, колют, злословят... Поэт вынес тяжелый крест... «Народ безмолвствует» — говорит Пушкин в «Борисе Годунове». Да, он безмолствовал в пушкинскую эпоху. Только тонкая пленка, только маленький общественный слой понимал, кто был Пушкин. Буквально несколько человек друзей Пушкина скрашивали безрадостное существование поэта. И в этом кругу он находил подлинную животворящую любовь и поддержку.

Вересаев приблизил гигантскую фигуру Пушкина к широким читательским массам. Тем самым он приблизил его искусство. Прочитавший обаятельную книгу Вересаева сам собой потянется к произведениям поэта. Много раз свергали Пушкина «с корабля современности», но его надо читать нашему молодняку, рабочему, крестьянину... С каждой высокой и совершенной строкой Пушкина увеличивается культурный багаж у читателя. Книгу Вересаева надо рекомендовать в школы, в вузы, в рабочие клубы и читальни. Это будет лучший памятник поэту, ибо нет выше награды для художника, когда его читают.

Единственным недостатком труда Вересаева является искусственное расположение материала в хронологическом порядке: цитаты из одних и тех же источников он вынужден приводить в разбросанном виде, несколько понижая убедительность, яркость и целостность источника. Лучше было бы использовать материал, давая его целиком в одном месте. Кажется, от этого образ Пушкина стал бы еще выразительней. Вересаев выбрал мозаику вместо широкой фрески.

**Иван Евдокимов.**

---

**О спорном и бесспорном.**

**А. Белый.** Московский чудак. «Круг». 1926 г. 251 стр. Москва под ударом. «Круг» 1926 г. 247 стр.

А. Белый — писатель неоспоримый, но спорный. Каждая его книга встречает восторженных почитателей и не менее ожесточенных хулителей. Гений — утверждают одни, психопат — ответствуют другие. Мы предпочитаем определения более простые и менее личные. Пусть будущее судит о степени его дарования, наше дело заниматься анализом спорного писателя не только в поисках истины, но и по прямой обязанности нашего понимания. Для начала отметим первое и бесспорное: А. Белый — писатель-экспериментатор, все время производящий некоторые, не совсем безопасные опыты над словом и подлежащим ведению этого слова жизненным материалом. Кстати, восторги учителей словесности перед удобочитаемой тургеневской прозой сводились, в сущности, к недалекой формуле: «Учитесь у классиков, все остальное от лукавого. Пишите, не мудрствуя лукаво!». Мы знаем истинную цену этих призывов — ими оправдывалась самая обычная косность. Искусство любит лукавую мудрость, и часто рискованный опыт открывает путь далекому будущему.

Это соображения предварительные. Здесь же необходимо предупреждение: апологию книг А. Белого писать мы вовсе не собираемся. Это не нужно и бесполезно — опыты его рискованные и не доведены до полного совершенства. Вот на этой странице хочется воскликнуть — великолепно! На следующей зевнешь и промямлишь: косноязычие, скука... А в целом признаешь этот сумасшедший словесный эксперимент, где художник вполне свободен и не боится брюзгливых окриков: «Назад к Пушкину, к Тургеневу!».

Второй части «Москвы» предпослано разъясняющее предисловие: «В первом томе, состоящем из двух частей, показано разложение устоев дореволюционного быта и индивидуальных сознаний, — в буржуазном, мелкобуржуазном и интеллигенческом кругу». Такие предисловия всегда подозрительны. Зачем объяснять то, что ясно само собой? Очевидно, понадобилось для чего-то или для кого-то ткнуть пальцем и объяснить. Скажем прямо: никакой Москвы, к которой мы когда-то привыкли повседневно, вовсе не «показано». В этом и сила и слабость А. Белого, в этом и трудность его задачи. Сюжет, между тем, в достаточной степени прост. В одном из московских переулков (назван Табачинский, на самом деле, может быть, Мертвый или Штатный) жил-был профессор математики Коробкин, предиковинный чудак. Его окружал всякий московский вздор — переулки, домишки, букинисты, домашняя рухлядь. Коробкин сделал открытие, имеющее значение для военной техники. Немецкий шпион пытается выкрасть его, и вторая часть кончается ужаснейшей сценой мучений Коробкина, коему шпион выжигает глаз, допытываясь о спрятанном открытии.

Такова основная линия сюжета — в ней нетрудно увидеть дань нынешним иска-

ниям авантюрности в романе. От основной линии ветвями отходят профессор литературы Задопятов, сожительствующий с женой Коробкина, дом Мандро и сам Мандро, немецкий шпион, сатанист, персонаж до конца выдуманный и как бы не существующий, по мнению самого автора. Все это, конечно, могло быть, в действительности было вовсе не так. Раз-на-всегда предупреждаем читателей — никакой действительности, к которой вас приучил А. П. Чехов, в романах А. Белого не ищите. Ее там нет, есть субъективнейшая и произвольнейшая интерпретация этой действительности, реальной в плане художественном, в плане словесного построения. Ищите действительности художественного восприятия и художественной переработки — такая действительность откроет вам больше, чем добросовестное фотографирование усидчивого соседа. А в целом роман — удивительный сплав вымысла, прямой фантастики и какой-то убедительной реальности. Чтобы понять все это, следует перестроить сознание по типу творческой работы автора, т.-е. из всей роящейся тучи впечатлений, оседавших и накапливавшихся годами, нужно воспроизвести некоторый цельный образ. Этот образ прежде всего окрашен в известной чувственный тон удивления, отвращения, ужаса, отрицания и т. п. Способ создания подобного образа можно разгадать, постепенно воспроизводя все слагающие его величины в их некотором естественном, почти физиологическом или бессознательном тлении. Этот путь прямого и обратного разложения образа (в техническом смысле пока) и проделан А. Белым. Каждая деталь поэтому у него живет, как деталь бесконечно-малая, но тем не менее чрезвычайно значительная для построения основного цельного образа, самая цельность является результатом всех данных деталей. Лучше, однако, предоставим по этому поводу слово самому автору: «Киерко хвастал вниманием к безделицам: мелочи он наблюдал; и потом соблюдал воедино; и так соблюденные людям бросал прямо в лоб: выходило же и интересно и ярко; а память его походила на кульскопидома: оттуда все сыпались разные черточки, полуштришки, мелочишки, сказали б, что — отбросы; но — из них Киерко строил свои непреложные выводы». Так прочными и отвратительно дряблыми словами изображена пошлейшая обстановочка профессорского быта, из дряэг повседневности, рассмотренных в лупу, создано то, что в теме определяется словом «разложение». Ощущение зыбкого студня, каких-то осклизлостей достигнуто описанием всякой дряни и кислотных настроений, заваливающих улицы Москвы, университет, профессорские квартиры. Вот это есть «действительность» романа, невероятная, фантастическая, но отмеченная всеми признаками подлинного существования.

Не напоминает ли все это творчества Гоголя. О, мы знаем, Гоголь удерживался, хотя и не всегда, в границах словотворчества эстетического, А. Белый за эти границы вылетает непрерывно, в каком-то смысле он вообще вне эстетики, но в основном, в художественном методе его учителем был Гоголь: фантастика и сатира — так определяется качество дарования автора «Москвы». Он деформирует явления, нарушает все перспективы, выдумывает небылицы и таким способом передает то, что другие не заметили, что, может быть, заметят при чтении романа в первый раз. Незабываема сцена юбилея профессора Коробкина, великолепен Задопятов, потрясающа последняя глава второй части. Никуда не годится Лизаша, плохо придумана Мандро и, наконец, только стихийным влечением к безобразию можем объяснить некоего карлика, неизвестно для чего введенного в роман. Боимся вообще, что в лице Мандро и карлика автор изображал личины или маски, увлекаясь в данном случае некоторыми отвлеченными теориями.

Итак, много спорного, многое не удалось, но о романе должно судить не по отдельным частностям — вырванная цитата, отдельное окарикатуренное слово звучат нелепостью, детали композиции сами по себе безобразны, пожалуй, нет даже ни одного лица, которое могло бы выдержать историческую критику, и, несмотря на все это — цель достигнута: зрелище воспринятой автором эпохи, отраженной каким-то особо устроенным глазом, восстает во всем своем плачевном безобразии.

Думается, наибольшие возражения встретят чисто стилистические приемы автора. Они построены на звуковом соответствии слова описываемому или на подчеркивании его корневого, образного значения. Слово деформируется во всех возможных смыслах, часто нарушены границы допустимого в данном случае произвола. В свое оправдание автор может сказать только одно: тема, разработанная именно так, требовала соответствующих стилистических средств. Вообще ни поправлять, ни выглаживать в романе ничего нельзя — он останется одним из редких и интереснейших словесных опытов.

**К. Локс.**

---

**Владимир Маяковский.** Испания, океан, Гавана, Мексика, Америка. М. — Л. ГИЗ. 1926. 93 стр.

В сущности, агитстихи, и вообще «агитка», сейчас наиболее чистое «искусство для искусства». Признано, что на девятом году революции агитационные лозунги нами не воспринимаются, и вообще время «голой агитации» давно прошло. Если лозунги не задевают нашего внимания и как бы вовсе не существуют, то естественно, что в агитстихах мы следим за тем, как преподносят нам лозунг. Пропуская мимо лозунговое содержание стихотворения, мы все наше внимание сосредоточиваем на форме. Не что, а как становится основным и важнейшим в нашем восприятии. И мы возвращаемся к переживаниям «искусства для искусства».

Дело, впрочем, не только в том, что лозунг надоел от многочисленных повторений в одной и той же окаменевшей формуле. Окаменелость формулы — это не случайный, а существенный признак лозунга, самая его суть. Использование лозунга — это использование его «каменной» природы. Назначение лозунга, как метода воздействия — надоедать. Лозунг, плакат — он всегда один, — важно, где его повесить. Сила воздействия лозунга не столько в содержании самой формулы, сколько в моменте, который выбран для его провозглашения. Плакат должен висеть на видном месте, висеть «удачно».

Путешествуя по заграницам, Маяковский всюду поразвесил советские агитплакаты — и на далеко видных местах: на Бруклинском мосту, на Вульворте, на мачтах колумбова корабля...

Но это еще не все. Ибо:

Что такое мост?
Приспособленье для простуд!

Каждый, развешивающий плакаты в Нью-Йорке, догадается прежде всего использовать Статую свободы или Бруклинский мост. Но Маяковский сначала превратит небоскреб в огромнейший утюг, сначала против витрины Вульворта разыграет превосходный «диалог непонимания», — сначала выстроит «приспособленье для плаката», — а уж потом повесит на него плакат. Отсюда и начинается искусство агитации.

Заграничные диковинки можно воспринимать двояко: можно перед ними «обалдевать» от удивления и можно — ничему не удивляться. Скучно жить без удивления. Маяковский из тех, кто ничему не удивляется. На протяжении всего своего «поэтического дневника» он восторгается только два раза: над океаном и на Бруклинском мосту. В остальном он работает на «снижение» заграничной экзотики. Вот как, например, снижается экзотическая Испания:

Ты — я думал —
райский сад,
ложь
подпивших бардов.
Нет —
живьем я вижу склад
«Леопольдо Пардо»...
...Стал
простецкий
«телефон»
гордым
«телефонос»...
...Сотня с лишним
синьорит
машет веерами...
...Визги
пенье...
Страсти!

Разумеется, «синьориты» и «страсти» — туда им и дорога. Но вот Нью-Йорк:

Ну, американец...
тоже...
чем гордится.

Втер очки Нью-Иорком.
Видели его.
Сотня этажишек
в небо городится.
Этажи и крыши
только и всего.

Снижение экзотики, особенно американской, стало почти модой в наши дни. В данном случае мода эта совпала с темпераментом Маяковского. Но выигрыш ли это?

**Н. Юргин.**

---

**Вл. Лидин.** Корабли идут. Роман. Гиз. 1926 г. Стр. 221.

Конструкция этого романа задумана довольно смело. Он сложен из 4 новелл, ни в чем фабульно между собой не связанных: 1) о партийце Кострове, герое гражданской войны, восстановителе завода, умирающем в Италии от туберкулеза; 2) об англичанах-молодоженах, объезжающих Европу в качестве туристов; 3) о кассире завода Глотове, совершившем растрату ради бегового азарта, и 4) о молодом немецком геологе Борне, отправившемся в экспедицию к северным берегам Сибири.

Эти 4 новеллы сплетены наподобие прядей в косе и объединены лишь... эпиграфом из Лонгфелло: «Корабли, проходящие ночью, говорят друг с другом огнями». О чем же говорят эти проходящие на значительном отдалении друг от друга корабли? О том, что только два начала, две основы движут жизнью — «труд и любовь. Будь же они благословенны вовек». Перед нами, таким образом, не роман в собственном смысле слова (поскольку не на повествовательном моменте делает ударение автор), а скорее поэма в прозе, славословящая зиждительные силы жизни, вечное влечение человека строить культуру, расширять ее завоевания, с одной стороны, и производить себе подобных, с другой.

Лирический замысел освободил Вл. Лидина от изрядной доли обязательств, лежащих на рассказчике, повествователе. С точки зрения эпической, четыре его новеллы неравноценны. Только повесть о растрате Глотова действенна, насыщена фактами внутренними и внешними, которые раскрываются в характеристической лепке подробностей и обостренном драматизме столкновений. Путешествие Борна уже гораздо беднее повествовательным элементом, который сводится здесь к лирически-взволнованным описаниям приполярных земель, ожидающих завоевания их человеком, да к двум несчастным случаям с участниками экспедиции, лишенным к тому же внутренней обязательности (укус бешеной собаки и временное ослепление Борна, вследствие отдачи выстрела на охоте). Недостаток действия возмещается восторженными разговорами участников экспедиции о значении для человечества исследовательского пафоса в деле строительства культуры. Смерть учителя Борна, старого романтика и гениального геолога Науге оттеняет эту лирическую тему. Что же касается новелл о Кострове и об англичанах, то это чистая лирика в прозе, разработанная в тонах Тургенева. Нечего и говорить, что в плане повествовательном переплетение этих четырех новелл не может быть ничем оправдано: переход от одной фабулы к другой представляется совершенно произвольным; единая развязка отсутствует.

Но роман этот производит довольно сильное впечатление, как поэма или как произведение музыкальное, построенное на контрапункте. Это своего рода «Песня к радости», восторженный гимн победоносному труду и зарождающейся жизни. С этой стороны, — как лирик, — автор, в общем, достигает нужной ему силы внушения, удачно сопоставляя контрастные моменты 4 основных мелодий.

К сожалению, нельзя обойти молчанием один недостаток романа: небрежность языка. Такие выражения как: «над людьми уже осознанно нависла цынга», «мы очень измучены и охотно помечтываем об отдыхе», «а раз это так, мог ли хотеть иначе я, который знает все ваше дружество», «какой был этот край земли, снившейся в русских невеселых просторах?», щедро рассеянные по страницам книги, заставляют вспоминать о лучших перлах нашей переводной литературы. Попадаются и досадные недосмотры: «вот что писал Петр в 1724 году, в начале семнадцатого века».

За вычетом всех этих недостатков, книга Вл. Лидина интересна заражающим своей искренностью лиризмом и повествовательными достижениями новеллы о Глотове.

**Д. Горбов.**

**Новый Мариенгоф.**— Изд. «Современная Россия».

Нет имени в стане русских певцов и лириков, которое вызывало бы столько разноречивых толков и полярных оценок, как имя Мариенгофа. Страх и пугало для русской эмиграции («мясник революции»), он вызывает пренебрежительную усмешку у поэтов Октября. Тонкий лирик, чьи образы и думы светят осенней мягкой позолотой, он чужой и чуждый в среде «любителей русской лирики». Прекрасный образник, непревзойденный искусник в ритмике (ритмика Мариенгофа — предмет изучения для поэтов), он до сих пор не имеет своей читательской массы. В чем разгадка этой странной поэтической судьбы? Разгадка — в той причудливой, несомненно поэтико-патологической идеологии, которой наделила его насмешливая муза: Мариенгоф — т и ш а й ш и й п о л и т и ч е с к и й л и р и к. В условиях Октябрьской революции — это «nonsens», это так же внутренне противоречиво, как понятие квадратуры круга...

Если за первыми шумными, вернее суетливыми, днями поэтической молодости Мариенгофа признаки этой редкой патологии не вполне явственно обозначились, то «Новый Мариенгоф» — собрание стихов 1921—1926 г.г. — не оставляет в этом никакого сомнения. «Новый Мариенгоф» — осеннее Октябрьское раздумье... Много ли читательских душ созвучны этому странному политическому отголоску?

Я считаю весьма характерным эпиграф к книге, избранный самим Мариенгофом:

Кто разберет — чорт ногу сломит
В смешной поэтовой душе.

И в самом деле: сыновья преданность Руси и рядом —

Что родина? —
Воспоминаний дым.
Что Русь! —
Плевал я в бороду твою.

И еще далее:

Мила ли
Пенза толстопятая
И косопузая Рязань?

Если Есенин, если Орешин, если Клычков без Р у с и дышать не могут, это понятно: они — п о ч в е н н и к и. Но Мариенгоф... М а р и е н г о ф!..

Кто разберет — чорт ногу сломит
В с м е ш н о й поэтовой душе...

* * *

Мариенгоф — и Октябрь... Та же душевная неразбериха. Нужен Октябрь Мариенгофу? — Но вы разве забыли:

Я счастливый игрок,
Что поставил все на Октябрь.
О, Октябрь, Октябрь, Октябрь!

Ведь Мариенгоф почти первый выступил с этим торжественным и радостным, правда Монте-Карловского оттенка, гимном Октябрю. И теперь еще эта привязанность к «счастливому нумеру» не исчезла: поэт политически тоскует оттого, что

Не нашим именем волнуются народы,
Не наши песни улица поет.

Но скорбь Мариенгофа утешна. Философская мудрость поэта гласит:

Что юность, слава и почет? —
В стакане комнатной воды
Шипенье кислоты и соды.

Нет сомнения — как ни сильна любовь Мариенгофа к Октябрю, она не сильнее его любви к «юности, славе и почету». Отсюда несколько неутешительный вывод о политических симпатиях поэта. Но как его примирить с радостным Монте-Карловским гимном?

Тот же ответ:

Кто разберет — чорт ногу сломит
В смешной поэтовой душе...

* * *

Разобрать, конечно, можно: Мариенгоф — романтик, —

Зачем же строить жизнь по чертежу,
Как дом.

Крестьянская изба
И та тяжеловесна!
Вот почему до полдня я лежу
И до утра сижу над песней.

И в другом месте:

Не нам построить жизнь
С суровостью прямолинейной.
Нам чужды люди Рейна
С презреньем к праздности, к нелепице,
К мечте.

Военный период русской революции представлялся Мариенгофу азартной игрой ва-банк, «нелепицей, мечтой». Миновала эпоха военного коммунизма — и для Мариенгофа Русь облеклась в траур осени:

Здесь клен топорщит багровеющие уши,
Там хлопает осина
В желтые ладоши.

А ведь совсем недавно —

Она ли
Золотопенным пенилась бесчинством!

Если прежний Мариенгоф в романтике бурь искал покоя, то «Новый Мариенгоф» весь в тишине и покое увядания, ибо для него Октябрь, Октябрь «азарта и нелепицы», уже не существует:

О жизнь, ты словно пруд заросший...

---

Мы в городе нашли свою пустыню...

И заканчивает:

На площадях и в сердце снегу по колени...

Отсюда та трагическая разрозненность между «смешной поэтовой душой» и широкими читательскими массами, для которых и поныне Великий Октябрь жив и ярко рдеет.

* * *

В книге 5 отделов: «Парижские стихи», «После грозы», «Сергею Есенину», «Шуточные» и «Поэмы четырех глав». Они не равноценны. Останавливают внимание 2-й и 5-й. Они насыщены мотивами серьезного политического раздумья. Поэт ясно видит, что «вдохновение опочило», и объясняет это тем, что «опочило волнение народа». Эстетический нигилизм автора, «содово-кислотное» мировоззрение его в этих главах несколько затушеваны, и размышления о политических буднях находят некоторый отклик в читательской душе. Остальные интерес представляют меньший, за исключением отдела «Сергею Есенину». Но отношение Мариенгофа к Есенину — это предмет особого разговора и в другом, конечно, месте.

В формальном отношении книга представляет художественно-зрелую работу. Образы органически связаны с темой, ритм строки своеобразен и певуч, слово строго расчетливо и верно подобрано.

Политически подготовленному и поэтически воспитанному читателю «Новый Мариенгоф» дает обильный материал для размышлений. Мастерство автора, своеобразие его образа и ритма невольно приковывают внимание к «смешной поэтовой душе», полной романтической «нелепицы, праздности и мечты», социологический же анализ книги раскрывает перед нами страницы болезненной психики русского интеллигента, застигнутого на пути потоками внезапно хлынувшего Октября и ныне выброшенного им на безотрадную мель националистической романтики и типично интеллигентского безволия.

**Лев Повицкий.**

---

**Ольга Форш.** Современники. Роман. М. — Л. Гиз. 1926 г. 260 стр.

Роман «Современники» занят проблемой творческой личности художника. В числе его главных героев — художник Александр Иванов с его «Явлением Христа народу» и Гоголь со вторым томом «Мертвых Душ» — две трагических фигуры в истории русского искусства, два гения, не случайно соединенные узами личной привязанности друг к другу. Они были одного роста — во всяком случае в период, захваченный романом. Для того и для другого творчество не было радостью, было трагедией. Для обоих одинаково мучительно было противоречие между художественным гением и моральной (религиозной) личностью художника. Человеческая личность художника должна быть подчинена его гению, или гений должен

служить человеку в осуществлении избранных им идеалов. В последнем смысле решал вопрос Гоголь в римский период своей жизни, и его трагедией было — безуспешные попытки подчинить свой гений своему христианскому идеалу. В противоположном направлении развивалась трагедия Иванова: «Гений должен подчинить себе всего человека» — к такому выводу, разрушающему дело его жизни, пришел он после ряда лет работы над прекрасной картиной «Явление Христа народу». Неизвестно, смог ли бы Иванов осуществить новый свой замысел в соответствии с новыми своими взглядами, но Гоголь второго тома «Мертвых душ» написать не мог. Но недаром Гоголь и Иванов — современники. То, что хотел и не сделал Гоголь, не создано ли (хотя и не закончено) Ивановым (разумеется, в пределах круга идей и ощущений, в который они сами себя заключили)? Не есть ли «Явление Христа народу» как бы продолжение «Мертвых душ» — их второй том, каким хотел его создать Гоголь, с теми художественными совершенствами, каких не хватило Гоголю?

Впрочем, Ольга Форш избегает всяких выводов. Она не решает, а как бы только вникает в проблему, как бы только воспроизводит творческую трагедию двух гениев, не внося ничего особенно нового в трактовку их личности (если не считать довольно легкомысленного разрешения проблемы гоголевского ауто-да-фе в XIII главе романа).

Зато, надо сказать, ее очень объективное воспроизведение трагедии двух гениев, и вообще всей этой эпохи, осуществлено с большим искусством, с хорошим вкусом, уверенным мастерством и любовным отношением к своему предмету.

Прежде всего Форш воспроизводит язык той эпохи. Она пишет так же, как написал Гоголь свой «Портрет» и «Рим», как Иванов писал свои письма, как говорили люди сороковых годов (и, пожалуй, даже раньше). Она хорошо вчиталась в тексты того времени, и в ее стилизации не чувствуется никакой напруженности, изложение течет свободно и везде одинаково ровно.

С такой же объективностью и с тем же искусством О. Форш воспроизводит атмосферу эпохи: главным образом, быт русской колонии в Риме, скрытую атмосферу клерикального гнета и первые волны национального освободительного движения Италии. Отдельные моменты: «высочайший приезд» в Рим Николая I, сцена на вилле «северной Коринны» и др.

Наконец — отдельные фигуры. Прекрасно изображен «взлохмаченный гений» Александр Иванов и почти так же хорошо Гоголь, о котором мы уже говорили. Чрезвычайно удачна фигура Пашки-химика — умного и язвительного бездельника, добровольно избравшего роль шута при людях искусства, «царица муз и красоты» — княгиня Зинаида, подпавшая в эти годы под влияние отцов иезуитов; менее рельефно очерчены — натурщица и революционерка Бенедетта и ее брат, также Герцен и др.

Мы еще не упомянули о самом главном действующем лице романа — это не Иванов и не Гоголь, которые сюжетно введены в роман, как лица эпизодические, хотя, несомненно, прежде всего они придают роману его вес. Главное лицо — Глеб Иванович Багрецов. Он тоже был художником, но его трагедия — не трагедия творчества, а трагедия байронического самолюбия. Он отравил свою жену ради денег и свободы, принялся пользоваться тем и другим в горделивом сознании, что он — романтический убийца, с тем и приехал в Рим. Но это еще не трагедия — она начинается тогда, когда он узнает, что яд, данный им жене, был вовсе не яд, а «старинный пюргатив» (слабительное). Пожалуй, эпигонический демонизм Багрецова был бы достоин сатирической зарисовки. (Не в этом функция «пюргатива»). Но роман в целом — строгая, серьезная и патетическая стилизация, и нельзя не признать, что в этом плане Багрецов — фигура очень ловко стилизованная.

Объективность и стилизация, так высоко поднимающие роман в смысле эстетическом, наличие лишь постановки проблемы творчества, а не разрешение ее, — заставляют отнести роман в общем итоге к ценностям только музейного порядка. Но поскольку автор, повидимому, ничего иного и сам не хотел, постольку это не может быть ему поставлено в упрек.

**Н. Юргин.**

**М. Марич.** Северное сияние. Роман из эпохи декабристов. Гиз. 1926 г. М. — Л. Стр. 382.

Книга названа романом. Нужно наперед оговориться, что такое наименование ею не заслужено. В книге нет героя, что особенно заметно при обилии персонажей, равнозначущих в фабульном отношении, композиция ее крайне растрепана и при многопланности изложения неравномерна в частях... Словом, наиболее типичных признаков романа мы здесь не находим, и «Северное сияние» скорее всего может быть определено как хроника или как ряд очерков, связанных между собою.

Однако, несмотря ни на что, книга читается с интересом.

При отсутствии хоть сколько-нибудь развитой интриги — качества, ставшего почти необходимым для исторической вещи, — причины этого приходятся в ином: в самом материале, показанном в книге, и в том, как преподносит Марич свой материал читателю.

Материал этот не блещет новизной, оригинальностью, да и вообще Марич не проявляет такого глубокого, тщательного знания эпохи, как делает это, например, Чапыгин в «Разине Степане». Но, быть может, как раз в таком, несколько поверхностном знании эпохи и кроется секрет интересности «Северного сияния». Марич показывает свою хронику не в быте, не в густой обстановке, а в динамике, в действии. Помимо того, она, умело компанируя уже известные сведения, связывает их воедино и придает им этим самым большую живость и свежесть.

В общем в своем изображении декабризма Марич исходит не от сюжета, а от материала. Материал — повторяем, умело и интересно показанный — довлеет над формой; ради того или иного факта, ради той или иной подробности пишутся целые страницы, а порою и главы. Иногда такая нарочитость бывает заметна, равно как и излишняя биографичность многих персонажей. В частности, это бросается в глаза по отношению к Пушкину, биография которого достаточно широко известна: здесь нетрудно заметить, как насильно спрессовываются всяческие, порою анекдотические подробности, как заставляют говорить о них окружающих и т. п.

Боязнь отойти от биографической точности многих персонажей лишает должной яркости. Большинство их обрисовано вяло, бесхарактерно; многие их поступки — биографически правильные — не мотивированы тем их обликом, какой мы находим в романе. Оригинального, новаторски смелого толкования декабристов нет. Несколько полней и несколько более вольно истолкован Александр I, но и это не может быть признано достижением, поскольку образ императора Марич как-то романтизирован... Многие толкования событий, происшедших более 100 лет назад, носят на себе следы явно современных особенностей, почти не мыслимых в то время по объективным причинам. Так, например, карьера Фотия прямо-таки портретно похожа на Распутинскую.

Вольно оценено и самое движение. Сосредоточивая главные свои художественные усилия на показ восстания, организованного Северным обществом (Северное сияние), Марич явно недооценивает южан, мятеж которых представлял собою во всяком случае не меньшую ценность — как большей решительностью руководителей, так и степенью активности масс... Кроме этой «вольной» оценки есть, быть может, немало мелких погрешностей, которые можно вскрыть только иным, чисто историческим исследованием. Но это не входит в наши задачи, да и нет для этого места.

В заключение отметим очень досадное обстоятельство, имеющее связь с остальными, оговоренными выше, нарочитостями, но ощутимое более остро. Речь идет о фоне, который должен бы придать особое ударение всему движению, вскрывая участие в нем народных кадров. Фоном для дворян-бунтовщиков служат солдаты, крестьяне, дворня. Отдельные сценки из их жизни разбросаны по всей книге. Но все их «контрастные» беды и унижения настолько преднамеренно вставлены, что они теряют свою силу параллелизма и оставляют читателя холодным... Это хорошее предостережение! Марич следует запомнить, что только оправданные всем контекстом, только органически связанные между собою эпизоды могут создать долж-

ное впечатление... В ее же ошибках нетрудно усмотреть ту волну, пусть ненамеренного, неосознанного, схематизма, которая затопила нынче почти всю нашу литературу.

**Борис Губер.**

---

**Илья Эренбург.** Лето 1925 года. Артель писателей «Круг». 1926 г. 205 стр.

Было бы слишком несправедливо считать эту новую книгу Эренбурга серьезной, правдивой и т. п. Если бы мы судили так, нам оставалось бы только пожалеть о нем и написать небольшой некролог. Но этого делать не следует. Перед нами очередная выдумка и неудачная попытка написать книгу в каком-то пикантном и занимательном стиле. Этот стиль Эренбургу не удался. Чтобы овладеть им, не следует злоупотреблять правом дарования писать как будто о чем попало, как будто не выбирая, на самом деле нужно это делать с более строгим выбором, чем в остальных случаях. Афористика и болтовня на бумаге — трудное дело. Эренбург думал, что его праздные размышления и обывательская путаница с девчонками выйдут такими же интересными в книге, как это ему казалось в кафе или мансарде. Получилось, как говорят, совсем наоборот. Вяло, скучно, прежде всего скучно.

Краткие примеры стиля и афоризмов: «Тот, из «Либерте» подарил мне шесть шиллингов и триппер». «Маршал этот всю ночь глядел на меня кобальтовыми глазами, полными вечности и старого сала». «К концу второго дня, остановившись возле престарелой торговки овощами, которая жалко водила полуистлевшим уже задом в такт фокстроту, я закрыл глаза и застонал».

Примеров, полагаем, достаточно.

**К. Локс.**

---

**Виктор Шкловский.** Третья фабрика. Изд. «Круг». 140 стр. 1926 г.

Глубоко прав в своем утверждении Шкловский, что: «Мы сейчас переживаем эпоху неощутимости сюжетной формы, которая так ушла из светлого поля сознания, как в языке перестала ощущаться грамматическая форма».

Прав несмотря на то, что большинство наших литераторов одержимо каким-то эпопейным психозом — творить кирпичи в три пуда каждый.

Положение Шкловского по существу не ново, оно неоднократно высказывалось и корнями своими уходит в факты, имевшие место задолго до революции. После грандиозных своих произведений Толстого потянуло к примитивной художественной форме и к перевороту в области беллетристических традиций. Гольденвейзеру он говорил:

— Нельзя теперь уж писать — «было прекрасное утро, когда...». Надо писать по-новому —

И посмертными своими произведениями подтвердил возможность и нужность опрощения художественной формы.

Чехов уверял своих друзей: «Будь я богатым человеком, я стал бы писать маленькие рассказы в несколько строк». В «Котике Летаеве» Андрей Белый пытается выбраться из-под вгоняющего в пот ватного одеяла усложненной своей формы романа.

Разложение всех жанров художественной прозы, оплодотворенных философией и публицистикой, и смешение их в новых сочетаниях нашло свое оригинальное выражение в «Уединенном» и «Опавших листьях» Розанова. Не вдаваясь в оценку его блудливых политических воззрений и душка карамазовщины, которым несет почти от всех его произведений, надо сказать, что, в смысле формальном, Розанов начинает новую страницу в нашей литературе.

И Виктор Шкловский, в построении своих вещей, целиком от него «Сантиментатальное путешествие», «Письма не о любви» — от Розанова. «Третья фабрика» — также.

Розановские халат и туфли, розановская домовитость и лиричность в использовании неприкрытого дневникового материала, отрывочность и бессвязность тематики, — все эти черты роднят «Третью фабрику» с книгами Розанова. Разница меж ними та, что Шкловский, как человек, мельче своего учителя. Отсутствие какой бы то ни было этичности, равнодушие к сложным узлам жизни, которые так упорно хотелось развязать Розанову, делают книжку Шклов-

ского менее глубокой и напряженной. Как шахматным фигурам без свинца, его страницам недостает массивной устойчивости.

Недостает мужественности прицела воли к покорению читателя. Почерк Шкловского скользит по бумаге без нажима и мысли, наблюдения его колышутся на тонких стеблях фельетона и непринужденной беседы. Но если черты эти раздражали и возмущали, когда Шкловский писал о революции, событиях большого трагического охвата,—в «Третьей фабрике» они сыграли положительную роль.

Его сентенции о формальном методе (мысли, неоднократно им высказывавшиеся), характеристика Бриков, описание своей квартиры, письма к Эйхенбауму, Якубинскому, Тынянову и Роману Якобсону, наброски своих впечатлений от полета, гимназические, студенческие воспоминания и многое другое в этом роде от легкости стиля выигрывают в своей непосредственности. Местами книга написана подлинным художником.

Разве это не отлично сказано:

> «Я стал другом Якубинскому. Он многому научил меня. У самого Якубинского робкий шаг, как у циркуля, боящегося согнуть вывеpенные свои ноги»?!.

Или:

> «Война жевала меня невнимательно, как сытая лошадь солому, и роняла изо рта».

Таких примеров можно привести сотни.

Его зарисовка пейзажа, его бытовые наблюдения свидетельствуют о колоссальном житейском любопытстве, которого так недостает нашим беллетристам. На самые обыкновенные вещи Шкловский умеет взглянуть с необычной, незатоптанной стороны.

Не обходится книга и без очередной дозы самовлюбленности, свойственной Шкловскому.

Формальный метод, существовавший задолго до формалистов, он готов целиком приписать себе и своим приятелям.

Претензии эти смешны и мальчишески нелепы.

А в целом — любопытный человек Шкловский.

**Федор Жиц.**

Редакционная коллегия: А. Воронский.
В. Сорин.
Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

# СОДЕРЖАНИЕ

2 руб.

